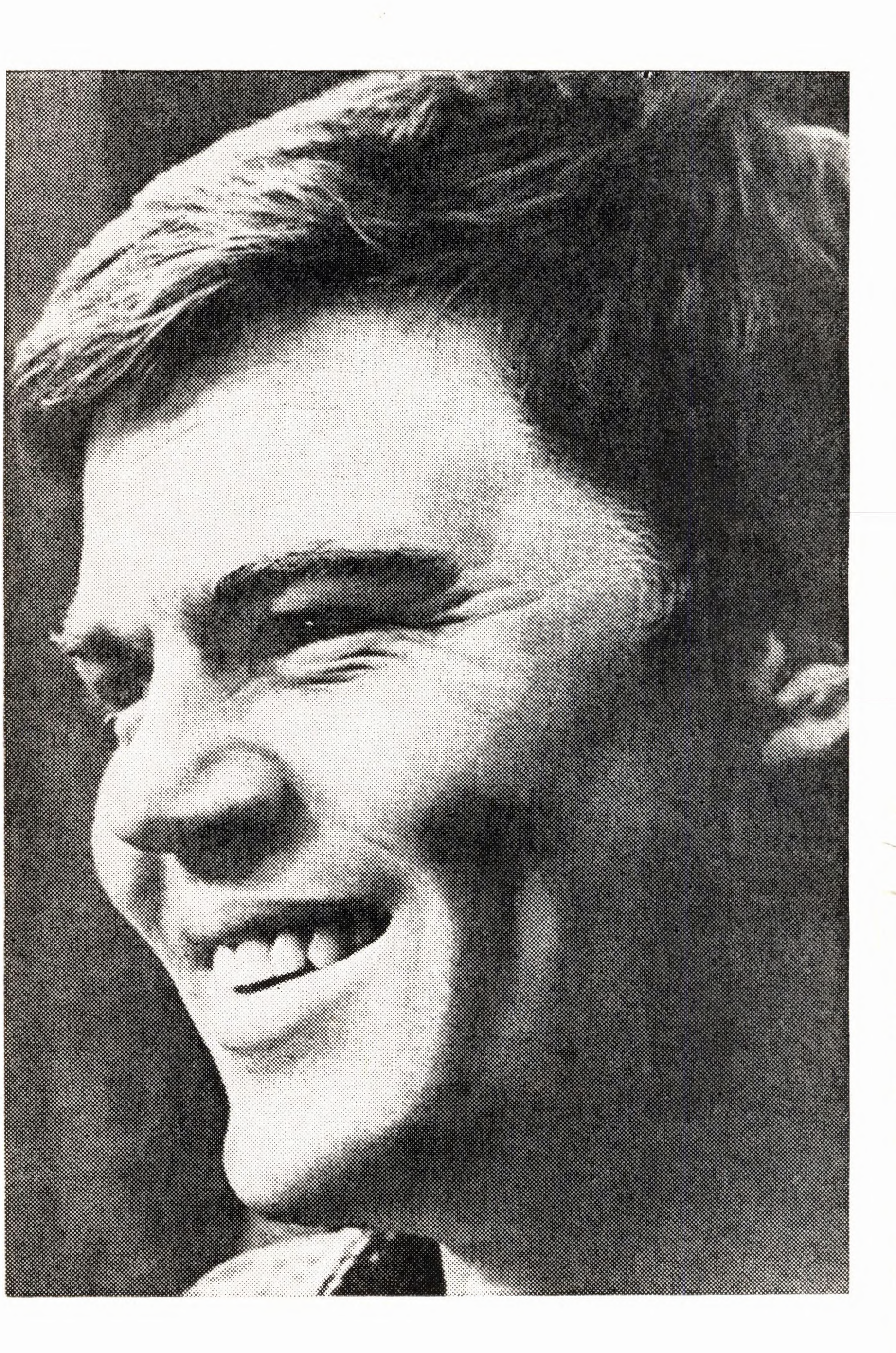




АНДРЕЙ
СКАЛОН

РОВНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ НА ТОМ БЕРЕГУ





АНДРЕЙ СКАЛОН

РОВНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ НА ТОМ БЕРЕГУ

РОМАН И РАССКАЗЫ

МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1983

Р 2
С 42

В книгу известного советского писателя Андрея Скалона «Ровный и зеленый луг на том берегу» вошли роман «Панфилыч и Данилыч» и рассказы разных лет, многие из которых увидели свет в самое последнее время. Сборник объединяет четкость позиции, широта взгляда, ясность нравственных установок писателя.

Художник Юрий ГЕРШКОВИЧ

С $\frac{4702010200-170}{083(02)-83}$ 145—83



РАССКАЗЫ

РОВНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ НА ТОМ БЕРЕГУ

Садясь в электричку, он поймал себя на том, что где-то внутри, в самой глубине, возникло ощущение тревожного начала. Он прошел меж рядами и сел в углу у окна, напротив старухи с большой корзиной, и сразу же пожалел об этом, потому что старуха внимательно уставилась на него немигающими, старчески мутными глазами. Старуха качалась и смотрела на него так внимательно, что ему показалось, будто она испытывает какое-то материнское чувство к нему, будто сейчас она заговорит с ним, обратится к нему с каким-нибудь вопросом, а ему не хотелось участия, он любой ценой хотел бы избежать этого участия, ему не хотелось даже встречаться с кем-нибудь глазами, а отворачиваться от старухи ему было неловко, потому что это могло ее обидеть. Поэтому он встал и прошел в тамбур и курил там три перегона, пока поезд не остановился и не выпустил его из своих дверей вместе с толпой горожан, наезжавших по случаю воскресенья на природу.

Свободное, негородское солнце, мелкая и яркая, весенняя, еще не полная зелень удивили его.

Осень, зиму и почти всю весну он прожил одиноко, без любви и без веселья и только теперь почувствовал, как ему тяжело, сравнив прошлое это грустное время со свободой весенней зелени и забытой уже яркостью негородского солнца, солнца без окон, без домов, без гула и шума пыльного, пропахшего бензином цеха.

Он специально отстал от толпы, приехавшей вместе с ним, спустился по косогору, нашел известную ему тропинку и побрел в тишине, острым непривычным глазом замечая везде и всюду весну, ее жизненность и великолепие, ее самостоятельное, не зависящее от него существование.

Очень тяжело был прожит этот год, и теперь наступил такой период, когда надо было предпринимать что-то избавляющее, резкое, перевертывающее жизнь и все ее обстоятельства, или поступать с жизнью по-иному: постепенно, настойчиво возвращать утраченные позиции веселого, сильного человека, управляющего собой и обстоятельствами.

Осенью, когда они расстались, все прошло как будто бы не очень заметно. Он тосковал, неумеренно выпивал, шатался с приятелями и чувствовал себя сносно, разве что постоянно помнил, что все прошло.

Зимой стало ясно, что это была обманчивая незаметность, сломалось где-то так глубоко в тайниках существа, что разрушительные результаты сказались очень поздно.

В компании друзей он рассказывал об этом с некоторой усмешкой, даже вполне искренне, ведь смешно было бы рыдать и биться головой о стену, когда ничего особенного не произошло. Ну, расстались, потому что она хотела ходить по седьмому небу, по его нежным облакам босиком, мечтала о сильной страсти, а не о домашности и мещанском уюте, к которому, как она понимала, вел ее он. И он смирился. Да и смешно было бы доказывать ей, что его любовь — это вовсе не какие-то «отношения», в которых можно «расстаться», тем более что в то время и он сам не знал всей силы своей любви.

Они встретились потом два раза — один раз в трамвае, второй — в военкомате. Она была там с мужем, который оформлял документы. Его задело, что так быстро нашелся у нее попутчик на седьмое небо, что при муже она была так приятельски дружелюбна с ним; даже тени тайны не скользнули между ними. Она сказала, что уезжают они куда-то на Север, где очень трудно служить.

Муж — красивый и добрый парень в погонах лейтенанта — приветливо улыбался ему, видимо зная все, что нужно знать мужу порядочной женщины про ее бывшего любовника. Не мог же Виктор сказать ей в военкомате, что она ошиблась, что не было никаких «отношений», а есть тяжелая, ужасная, убивающая, безысходная любовь, есть неодолимая память, разрушающая каждый его день, каждую его ночь, такая любовь, по сравнению с которой служба на Севере — курортное житье. Вместо этого он зашел в дегустаторскую и хлопнул тупую рюмку водки, хлопнул рюмку армянского коньяка и пошел на завод.

Продолжалась зима, на поверхности шли будни, работа, рабочие радости и рабочие огорчения, премии и план, ругань, выпивки, дни рождений, была легкая интрижка с девицей из счетного бюро, потом зима перешла в весну, а дни слипались друг с другом как штампованные пластинки в сердечнике трансформатора, и только внутри бежали и бежали разряды, утомляя, разрушая, заставляя сердце работать вразнос. Он жил, и жил, и жил, хотя ему в бессонницы хотелось умереть, жил без любви и без веселья, чувствуя иногда, что у него появляются уже какие-то заскоки и странности, как противоестественно белые ростки на картошке, зиму пролежавшей в темном подполье. Он сохранил способность смеяться, но абсолютно потерял всякую иронию.

И он стремился предпринять что-нибудь, что-то перевернуть, переделать, избавиться, потому что так жить дальше было нельзя. Сам не понимая зачем и почему, он поехал нынешним воскресеньем за город, на обычное место их летних пикников, но поехал один, без друзей, тайком, будто ожидая от поездки чудесного и тайного излечения.

Река была недалеко, впереди, за последними деревьями. Он вышел на поляну, там сидела компания средних лет, в кустах стояла «Победа». Ему стало неприятно, что на его поляне кто-то веселится, поставив в его кусты плоскозадую «Победу», и он пошел дальше и сел на пенек, загородившись от компании кустами.

Река здесь была шире, чем в городе; она шевелилась тонким живым слоем по плесу внизу, под обрывчиком, текла мутно, медленно, непрерывно.

Он старался сдержать подступавшее волнение. Где-то играл транзисторный магнитофон со сплошь знакомыми записями, он уловил ритм и притопывал ногой, а когда почувствовал, что вот сейчас он уставится на тот берег, на противоположную сторону реки, где должен быть ровный и зеленый луг, то не выдержал и повернулся к реке спиной. После сигареты он подумал уверенно и спокойно, что черт с ним, с этим ровным и зеленым лугом на том берегу. Черт с ними, со всеми этими недостижимыми лугами, пропади они все пропадом, потому что, так или иначе, все это пройдет. На минуту ему показалось все в ироническом свете, когда он подумал о том, что так или иначе, но до старости-то это должно пройти, и не такой уж большой

срок отделяет его от старости, логически рассудить — и вовсе ничтожный. Так неужели он не сможет прожить без какого-то ровного и зеленого луга на том берегу! Черт с ним, не повезло — и черт с ним! Можно жениться, родить детей и ездить на машине на пикники и поплевывать в реку с обрыва, спокойно глядя на ровный и зеленый луг на том берегу. Можно завести моторную лодку и запросто плавать на тот луг, жарить там шашлыки, не нося на плечах никаких оленей, усмехаться потихоньку над глупостями молодости. Ему стало жалко, что тут, на этом плохом и замусоренном берегу, так мало полян, пригодных для отдыха, и всякий обязательно, волей или неволей, выберет эту поляну для себя, потому что полян тут не так много, а сухие места очень далеко от воды, на косогоре. Это была отличная поляна, они очень часто выезжали сюда всей компанией, и этим летом ребята опять будут выезжать сюда с гитарами и с выпивкой, и будет славно всем, кроме него. Его будут гонять за дровами на косогор, да и самому будет неловко мешаться под ногами у приятелей и их девушек. Лучше уж ездить сюда одному, и тосковать, и вспоминать счастливые прошедшие времена.

Тот берег был ровным и зеленым лугом. Река плоским текучим слоем отделяла, делала недостижимым противоположный берег. За тем лугом, у горизонта, неровной полосой тянулся лес. Он казался первобытно нетронутым и таинственным.

Она фантазировала, говорила, что там полно непуганых зверей, что можно жить в том лесу охотой, как жили раньше первобытные люди. «Я бы выделывала шкуры и поддерживала огонь в очаге, а ты ходил бы на охоту и возвращался с оленем на плечах. Ты стал бы таким сильным от первобытной жизни, что свободно носил бы на плечах целого оленя. А ты видишь, какой ровный луг, не то что здесь, тут сплошные ямы с водой, болота, кочки и комары, а там все ровно как остриженный газон. Я там ни одного человека ни разу не видела. Там нет железной дороги, и поэтому там никто не ходит и не оставляет после себя этот мерзкий мусор».

Не было тогда лодки, а переплыть эту реку ему было не под силу. Да и никто, насколько было известно, реку эту никогда не переплывал, и в голову не приходило бы переплывать такую широкую реку, да и кому это надо? Заплы-

вали на сотню, на полторы сотни метров, выходили из воды далеко внизу, по течению, и возвращались компанией, проходя мимо бесконечного табора полуголых загорающих людей... Табор начинался на много километров ниже по течению и кончался намного выше, тут отдыхал весь город. И никто не переплывал реку, и никому эта дикость не приходила в голову, потому что река славилась опасными водоворотами, коварными омутами, какими-то засасывающими воронками, топляками, идущими под водой. На этой реке ни одно воскресенье не обходилось без несчастных случаев.

Среди утонувших, наверное, были и те, кто предпринимал сумасшедшую попытку переплыть эту огромную, широкую, страшную реку...

Во время этих пикников на нее находила меланхолия, она начинала не отрываясь смотреть в огонь, стараясь разгадать свою судьбу, или просила разжечь маленький костерок у самого берега, чтобы подавать знаки на ту сторону. Загораживая и открывая огонь, она ждала, что на той стороне поймут ее и тоже зажгут сигнальный огонь.

Но никто не отвечал.

И сейчас луг был удивительно зеленый, а лес синел за ним недоступно и манящe.

Он встал и пошел вдоль берега, чувствуя волнение от зелени луга и синевы леса.

Здешний берег был весь, насколько хватал глаз, неровен, кочковат, в куртинах тальника, черемухи, ольхи; везде — и вверх по течению и вниз — видны были люди, автомобили, мотоциклы, недалеко играли в волейбол, кто-то осторожно — вода еще была холодной — плескался возле берега.

Отовсюду неслась музыка, и особенно громок был соседний магнитофон.

Он вернулся на свой пенек, поближе к поляне: идти куда-то было бессмысленно, везде были люди, и отовсюду был виден ровный и зеленый луг на том берегу.

Он долго сидел на пеньке, куря сигарету за сигаретой.

Мимо прошла компания, поискала место получше, не нашла и расположилась прямо возле него. Загремела гитара, запели...

Он снял пиджак, потому что солнце начинало припекать, и сидел в рубашке, кожа чувствовала рубашку и ветерок.

Потом он выкурил еще одну сигарету, придавил ее ногой и стал раздеваться, как попало бросая одежду, сам в точности не понимая, что делает, потом стал забредать в воду, стесняясь своих не пляжных трусов типа «полупальто». Ему не приходило в голову, что он не сможет доплыть туда, он просто чувствовал, что это единственное средство избавиться от наваждения. И еще ему хотелось туда, где не должно быть мусора: пустых банок и бутылок, бумаги, скотских и рыбьих костей, дерьма под черемухами и бесконечных окурков, окурков, окурков...

Он забредал в воду и щупал ногами дно, а нищий разум вел свою арифметику и примеривался, где можно будет начать вставать на обратном пути. Разум был мелок — ведь он-то всей душой верил, что если переплыть на ту сторону, то не захочется возвращаться, все будет уже как-то особенно, по-другому.

Он долго брел по дну, пока вода не дошла ему до плеч, и его стало сносить широким неодолимым течением, и оттолкнулся, и поплыл, как будто его заставляли, с неохотой и возникшим страхом, потому что луг уже приближался и приблизился, пока он брел, метров на двадцать.

Первые взмахи его рук были вялыми и нерешительными, еще можно было остаться в неведении, но потом он придал телу горизонтальное положение, до этого ноги сильно провисали под водой, и, соблюдая размеренный темп, автоматически стал преодолевать течение.

Река была очень широкой, и мутная вода двигалась медленно только на первый взгляд; впереди, на фарватере, течение было сильное, это можно было определить по бурунам, которые расходились там.

Он тратил много сил, стараясь держать прямо на луг и не считаясь с течением. Если бы он плыл разумно, он сам не стал бы этого делать; выгоднее было бы держаться под таким углом, чтобы течение мешало как можно меньше, но он не думал об этом. И он не был особенным пловцом, но таково было его стремление.

На этом берегу отдыхало много народу, и некоторые плескались, и он уже проплыл ту зону, где они плескались, и дальше его в реке никого не было, а на том берегу сов-

сем не было ни души. Сзади слышно было всю музыку и весь шум отдыхающего берега.

Сначала никто не обратил на него внимания, но когда его голова стала маячить уже у самой середины реки и стало понятно, что это что-то необычное, люди заметили его и стали беспокоиться и спорить — человек это или что-то другое, что может нести широкая весенняя река.

Он уже перестал делать взмахи и перешел на вульгарный экономный брасс. Он подумал, что зря так забросил спорт и за всю зиму ни разу не сходил на лыжах, хоть и имел раньше такое обыкновение, а отдыхал только за рюмкой, много курил и нервничал на заводе, и мышцы стали дряблыми, ослабевшими, и что вообще тело после такого небрежного к нему отношения может и подвести.

С берега, который он покинул, донесся настойчивый автомобильный гудок. Он не подумал, что это ему, и не обернулся.

Луг неотступно маячил впереди.

Река становилась шире и шире, он несколько раз обернулся, и оказалось — сзади уже очень много воды, но впереди было еще больше, и он греб и греб, чувствуя всем телом сопротивляющуюся, препятствующую ему силу течения, и все время старался, чтобы луг был прямо по курсу, ему было очень важно, чтобы прямо по курсу был луг, а не березняк, который теперь стал виден ниже луга на том берегу, и он тратил на это последние силы.

Потом он устал и не смотрел вперед, не видел луга, который так манил его мягкой зеленью; теперь он не приподнимался на гребке над волной, а закрывал глаза и лицом раздавливал водяной бурун, потом спадала вода, и он открывал на мгновение глаза, и глаза чувствовали, как мимо лица стремительно несутся вода и время...

Его спасла мель. Он уже терял сознание, когда нога коснулась чего-то твердого. Он ступил обеими ногами и, не выпрямляясь, лежал туловищем на воде, теряя онемевшие руки. Он сунулся лицом в воду и, с трудом подняв руку, помял загривок, потому что шею ломило острой, ноющей болью.

Под ногами была скользкая галька, и дно все приближалось и приближалось к поверхности, и над мелью вода рябила впереди, но до того берега было еще очень далеко. На самом мелком месте, где вода уже стала ниже колен,

он обессиленно опустился на корточки, а потом вовсе сел в воду, и рябая от мелких волн струя течения обмывала его двумя крыльями. Ног не было слышно. Он сидел и плескал в лицо водой, стараясь прийти в себя. Он боялся замерзнуть и ослабеть и, через силу поднявшись, побрел, держа курс на зеленый луг, — луг стал еще зеленее и казался остриженным, как газон, до того ровная и густая трава на нем; шелковистая и мягкая, она манила, обещая пышное несмятое ложе для счастливого сна под солнцем.

И он настолько пришел в себя, что стал забредать вверх, экономя силы.

Сосняк — лес на горизонте был сосняком — стал виден так хорошо, что можно было различить отдельные деревья.

И опять стало уходить под ногами дно, и опять он поплыл, еле-еле отрывая у реки метр за метром, и опять в плечах сразу же появилась усталость. Усталость все крепче и крепче усаживалась верхом, сдавливала шею и наваливалась тяжестью, мешая не только плыть, но и держаться на поверхности. Он проплыл только первый десяток метров, дальше почти стоял, только держался против течения. И луг перестал приближаться и тоже стоял на том, близком уже, но все еще недостижимом берегу.

Грудь устала дышать в воде, вздохи были прерывисты и хриплы. И, чтобы как-то сдвинуться с мертвой точки, чтобы не дать снести себя реке, он применил последнее: выкинул правую руку из воды и, преодолев дряблое бессилие, растекавшееся по всему телу, повалился на левый бок, заставляя ноги делать стригущие, рубящие взмахи кроля, и опустил лицо, и выдохнул в воду, с силой выбросил левую руку, опираясь и поднимая воду правой, стал валиться на правый бок, и снова, и еще раз, и другой — и почувствовал движение к цели, и когда уже совсем не стало сил идти этим судорожным кролем, он перешел на брасс и почувствовал облегчение и уверенность.

Обнимая его, скользко и непрерывно сплывали вниз вода и время... но он одеревенел и потерял ощущение и того и другого; в сознании уже не было причины, заставлявшей его стремиться к цели, остались стремление как действие и сама цель.

В носу, во рту была отвратительная безвкусная вода, и он лениво в каждом рывке выплевывал ее и выдувал с силой.

Потом он уже не видел луга, только знал, что луг — впереди, и плыл к нему, плыл, плыл, плыл...

Впереди было еще несколько метров воды, когда он уперся ногами в дно и выволок свое согнутое, изношенное тело на песчаную косу, которую с того берега не было видно, и упал на нее...

Он чувствовал, что замерзает и солнечные лучи не дают ему тепла. Кисти рук стали синими и покрылись пятнами, локти и колени судорожно прыгали на песке, двигались сами собой, не подчиняясь его воле; он слышал, как стучат его зубы, смотрел на свое изуродованное тело, скорченное, покрытое гусиной кожей, в синих и фиолетовых пятнах. Тогда он заставил себя встать и выпрямиться, чтобы вступить в обладание обетованной землей.

Трудно было поднять голову, мышцы шеи и спины не могли удерживать такую тяжесть, и он брел, цепляясь ногами за песок, глядя себе под ноги. Когда песок кончился, он прямо под ногами увидел большую скучную жабу. Она с трудом отпрыгнула в сторону и опять окоченела, она тоже мерзла и тусклыми глазами смотрела мимо него, на воду и на противоположный берег.

Но он не поверил жабе и не поверил жесткой, острой и негнущейся осоке, росшей под ногами в теплой болотной воде. Он шел вперед, разрезая ноги, слыша гнилой запах огромного болота. Он мог бы автоматически, не веря, тупо идти до бесконечности, если бы вдруг не наткнулся на два ряда тонкой колючей проволоки... И только тогда он остановился и поднял голову. Впереди, насколько хватал глаз, тянулось кочковатое осоковое болото, и только недостижимо далеко стоял плотной стеной сосновый лес с различимым золотом стволов.

Сознание вернулось к нему вместе с животворящей иронией, а ирония помогла усмехнуться и повернуть назад с болота, вернуться на чистый, хоть и холодный песок, о прибрежной полосе которого нельзя было и подозревать, глядя на этот берег с той стороны. Потом ирония убила слабую мысль о том, что этот берег мог бы оказаться совсем другим, если бы с ним была здесь она.

Он сел на песок и забылся, устав от иронии, а потом встал и начал забредать в воду, уступая течению реки, а когда поплыл, спасая себя от топившей его воды, уже не сознавал, что делает, как не осознает своих действий всякий утопающий...

Подобрал его моторный катерок. Бакенщик долго не

мог понять, в чем дело. Он плавал вдоль берега, населенного людьми, и искал какого-нибудь пьяницу, который бы свалился в воду, но потом увидел мелькающую в волнах голову и, круто развернувшись на осевшей корме, на полном газу, распуская буруны, рванулся, как мотоциклист на кроссе, прямо к утопающему.

Он не мог поднять его через высокий борт и потому перехватил утопавшего под мышки раздирающей кожу якорной веревкой, и потянул его вверх, и дал ему отдышаться, сплывая с заглушенным мотором вниз; потом, когда утопавший немного пришел в себя и слабо стал шевелить руками, пытаясь освободиться от жесткой хватки веревки, бакенщик похлестал его по щекам, потер ему уши и, рискуя перевернуться, втащил в лодку.

На берегу суетились люди — тревожно, радостно и стадно — и долго спорили, что влить пострадавшему в глотку, чтобы он согрелся, остановились на стакане «Столичной», а человек, предлагавший коньяк, выпил его сам за счастливое спасение на водах.

1967

РИО-РИТА

I

Так прозвали ее в честь знаменитого фокстрота. С девчонок работала она на море: сначала раздельщицей; потом, за красоту, свежесть щек и счастливую улыбку, — официанткой (в крахмальном кокошнике, крепдешиновой кофточке, через которую светилось молодое крепкое белое тело, она была и сама в себя влюблена); потом звезда ее выкатилась из зенита: снова раздельщица на краболовной базе; прачка; а вот уже третий рейс ходила она на нашем СРТ 77-77 — «четыре семерки» буфетчицей, как принято называть эту должность, то есть мыла посуду, палубу, подавала на стол, стирала белье — для команды постельно-судовое, капитану все, в том числе и личное.

Это была полнотелая, крикливая до истерики, но, в сущности, безответная женщина, никогда в жизни не имевшая постоянного мужа, детей, а вот уже лет пять как не делавшая и абортов. По характеру, который она привыкла яв-

лять миру, всего этого ей и не требовалось. «Больно надо!» Мужчин она предлагала кастрировать, «чтобы привес был, чтобы лишнего не жрали, чтобы не портили бабам жизнь». Про себя с черным юмором она говорила: «Отплавает старая кляча свою норму, запаяют в цинку, так в трюме рейс и добухает».

Моторист Петро был старше Риты лет на пять, он был узок в плечах, мал, сухощав и длиннорук, как бы самой природой приспособлен к изгибистой работе в узлах судовой машины, в огромных дизелях. Работал он хорошо, машину знал в тонкости и по-своему одушевлял, а машина отвечала ему взаимностью — чем-то она его успокаивала, ритмичностью ли своей, понятностью ли, может, надежностью... Не было семьи и у Петра, остались кое-какие воспоминания о фактах прошлой жизни, при расчетах привычно брал поправку на алименты на двух детей, которых он и забывать стал, но вот и алименты прекратились. По случаю окончания семейных платежей Петро поставил выпивку. Мне повод показался не очень подходящим, и я вскользь заметил это мотористу.

«А сколько я с детьми прожил, ты знаешь или нет? Года два в общей сложности. Не наберется и двух. Я както считал, почем мне семейный день обошелся. Море одно. На берегу пьяный да второпях. И невесту нашел второпях, пьяный и женился. Вот уж, думали, денег накопим, поживем как следует. А и с деньгами все море да море. Жили, да и все, как сбежимся. Вот и сделай семью. На потом все, на потом, дескать, само собой. Потом развелись. Я с селедки, помню, пришел — вот тебе и на! Нету жены! За латыша вышла, живет в Риге, они там, говорят, больше трех месяцев в море не бывают. Будто я радуюсь. Я не радуюсь, мне деньги не жалко. Старая жизнь кончилась!»

Он повернул к иллюминатору свою маленькую сухую голову с маленькими острыми хрящеватыми ушами; на свету стало подробно видно самую кожу, поры, редкие глубокие и бесконечные мелкие морщины, пересекающие небольшое узкое нездоровое лицо во всех направлениях, напоминавшие не столько геометрию паутины, как принято считать, сколько прихотливость тропинок и дорожных колей в пустынной осенней степи. Бритый затылок производил отталкивающее впечатление белыми голыми рубцами старых шрамов, обилием рытвин, заполненных сивой и ржавой щетиной, выпиранием до блеска пробитых бугров. В корот-

ких и, по-видимому, жестких волосах седина пробивалась пятнами; носил он короткую челку и стригся под бокс с бритьем всего затылка по старинным образцам еще тех лет, когда танцевали фокстроты. Интересно заметить, что прихотливость моториста встречала полное понимание со стороны нашего парикмахера боцмана Глоткина. Петро занимал выборно-общественную должность баталерщика, не пользующуюся симпатией рыбаков; обычно команда выталкивает на этот пост именно таких людей, как Петро, — был он скуповат, да к тому же значительно старше и опытнее молодой команды. (Старше Петра и Риты был только капитан.) Недоразумений в нашей баталерке не происходило, списанными вспученными консервами Петро не торговал, с отчетностью, продуктами, деньгами все было всегда в полном порядке, а слухи о том, что Петро за долгую рыбацкую жизнь разумностью и бережливостью поднакопил солидный пресс денег, как бы подчеркивали абсолютное доверие к нему, так что при всяких трениях экономического свойства взгляды шумной команды обращались к тихому скромному мотористу, надежно стоявшему на страже товарищеского благополучия.

Похоже, что между Петром и Ритой было что-то раньше, возможно, закончившееся неудачно: они все время были заняты друг другом, довольно болезненно переругивались, подначивали друг друга на глазах молодой безжалостной команды, воспринимавшей это как клоунаду. Обычно подначки сводились к своеобразному конферансу на тему «мужчина-женщина». Петро играл мужчину с определенными взглядами на женщину, а Рита — настолько же определенную женщину.

— Это такой народ! — похохатывает Петро. — Такой народ! Просто зверь, и все! Заведет себе бабу человек и становится как зюзя!

— Как кто? — смеясь переспрашивает Рита, принимая компот из кухни. Петру Рита старается подать, когда он менее всего ожидает: или совсем последнему, или самому первому, раньше капитана, или как-нибудь необычно, со спины, через голову, чем вызывает у команды одобрительный смех.

— Как зюзя, — повторяет Петро, следя за ловкими и приятными движениями Риты, балансирующей в качку с подносом компотов.

Петро трактует, что баба стоящему человеку не нужна совсем, и сам он будет опрятен и чист, и все у него будет

постиранное всегда: и носки, и нижнее белье, и рубаха; постельное же белье выдается чистое, роба тоже. Суп сварить на берегу не сможет? Вот это да! А рестораны закрывать? Нет, женщина, а полновеснее и страшнее — баба, настоящему мужчине не нужна. Правда, Петро учитывал, что кроме рыбаков изредка встречаются и другие разновидности мужчин, например слесаря в Дальзаводе, механики, но там ведь мало народу, сравнительно с плавсоставом.

Петро отличался чистоплотностью, все у него было действительно и простирано, и зашито, и даже заштопано. Когда пожилой моторист орудовал иглой, надев очки, картина была презабавная — бабушка с бритым затылком. Всяческой нечистоты, кроме машинной, Петро терпеть не мог. Не переносил общесудовых работ, когда надо было выбираться из геометрически упорядоченного, двигавшего железными углами, сочленениями и валами машинного отделения. К сырой рыбе на палубе он испытывал какое-то особенное, комическое, почти болезненное отвращение. Если на лицо ему попадала рыбья слизь, он бросал работу и бежал отмываться. Но, разумеется, на авралах он волей-неволей вынужден был заниматься гнусной, скользкой и холодной рыбой вместо успокоительно чистой и теплой машины. Он даже есть предпочитал рыбу, облагороженную машинным запахом, — сам коптил в выхлопной трубе. Селедка его копчения резко и сладостно отдавала соляркой.

— Кто бы о женщине рассуждал, только не ты! — отвечает Петру Рита. — Посмотри на себя в зеркало! Волосан!

— Сама-то красавица! — Петро оглядывается на хохочущих рыбаков и показывает руками перед грудью. — По ведру!

Рита грозно оборачивается от окна кухни.

— Нет, я согласен, Рио-Рита баба ничего! Но все ж таки!..

Петро изображает комический испуг.

— Дурак контуженый! — несется вдогонку выходящему из столовой мотористу.

Рита была тактичней, тоньше, нежнее, а у Петра в однообразных угловатых и неловких шутках-нападениях сильно просвечивало вынужденное, вымученное; было заметно, что часто он хохмит через силу, не находя иной формы для передачи истинных чувств: шутки его иногда выходили за рамки всяких приличий. Рита от этого даже

плакала, но потом все опять приходило в норму, пока не произошла история, приведшая отношения Петра и Риты к полному краху.

В банный день Петро исключительно ловко и точно рассчитал время, когда Рита постиралась, начала мыться и намылилась, и перекрыл воду. Это законное развлечение вахтенного в машине. Рита и сама регулярно солила компот Петру. Она и ждала спокойно, даже что-то веселое покрикивала на потеху из душевой — моторист имел право насладиться властью над паром и водой. Вода все не шла и не шла, вентиль угрожающе шипел перегретым паром и фыркал кипятком. Рита кричала через дверь, посылала ребят в машину, потом стала грохотать в переборку тазом, потом впала в истерику и уже колотила в стальную дверь голыми пятками и ужасно ругалась, потом слышно стало, что она затихла и плачет навзрыд, вскрикивая не своим, жалобно-детским, тонким голоском. Толпа, собравшаяся посмеяться, разошлась, на Петра прикрикнули и велели открыть воду. Моторист и так чувствовал, что далеко зашел, открыл воду и сам задраился в машине, предчувствуя осложнения в игре, и сидел там до конца вахты, а после вахты не явился на ужин, где-то прятался по пароходу. Лицо у него было встревоженное, взгляд бегал, подхихикивания выходили особенно фальшивыми, но для виду он бодрился и искал поддержки у публики.

В толпе, молодой и веселой, никто особенно не вникал в существо отношений Петра и Риты, ну, передержал слегка Петро, а так все нормально, коза да коза. Стармех сказал второму штурману за шахматами:

— Дурачатся как молодые. Все равно ведь не женится, прошлое у нее богатое. Останавливает.

— Морячка, — быстро согласился второй штурман и двинул вперед черного слона. — А с другой стороны, чем не пара? Одному-то лучше, что ли? Одному, голубеночек мой, не сахар. Вот теперь, кажется, все! — Второй штурман почувствовал, что черный слон очень хорошо встал на диагонали, и страдания человечества теперь были понятнее ему, чем пять минут назад, когда ферзь стармеха угрожал королевскому флангу.

После бани Рита не вышла на ужин. Добросердечный кондей организовал самообслуживание и сам подавал капитану. Рита долго ревела у себя за занавеской в шестиместке, где, за неимением отдельной каюты, жила она рядом с мужчинами. У нее был там свой запростынный

мирок, все было устроено в том мирке по-женски, и валялись редкостные сугубо женские вещи, что, в общем, не вязалось с моряцкими замашками той Риты, которая весь день была перед глазами.

При встречах совершенно напрасно изображал Петро ожидание кары; он был бы рад опрокинутому на колени горячему борщу, разрешившему бы ситуацию, выпил бы не моргнув глазом стакан чая, густо сдобренного горчицей. Но произошло нечто более страшное: Рита перестала замечать его, не давала затрещин, не махала ему в лицо шваброй, смотрела мимо потухшим, замкнутым взглядом.

Так и закончилось бы все, если бы судьба не сделала в этой партии неожиданный ход, запасенный ею, вероятно, на самый крайний случай.

II

В одно прекрасное штормовое утро, когда ветер был с правого борта и пустой СРТ 77-77 сильно качало, Петро стоял на вахте, а Рита делала уборку. Надо сказать, и особенно это важно при ветре справа, что по конструкции судов такого типа наветренную дверь на палубу нельзя открывать безнаказанно даже при небольшом шторме. Вода, скатываясь со всей площади палубы в узкие проходы слева и справа от надстройки, на наветренной стороне не успевает выйти в море по ватервейсам, потому что выход этот подпирается другой волной извне. Вода в проходе взбухает и поднимается выше фальшборта, чтобы перевалить через планшир и вернуться в море. Если в это время открыть дверь, вода, действующая на палубе под давлением своих буйных внутренних сил, слепо ищущая выхода, вкатывается по ногам через порог-комингс, а если дверь правая, как раз рядом с трапом, ведущим в машину, то начинает шарахаться и последними судорожными рывками плескать в машину через еще один маленький комингс. Из машины, из-под решеток трапа внимательно следили за мельканием ног наверху — стоило кому-нибудь по забывчивости повернуть к правому выходу, раздавался визгливый, если на вахте был Петро, голос: «Куда тянешь, гнида? Ветер не чуешь?» Ноги останавливались, послушно поворачивались к другим дверям, кла-

цали задрайки, еще клацали задрайки, и все успокаивалось, а моторист зло и удовлетворенно кидал тряпку в железный ящик для ветоши.

Так вот, Рита делала приборку, вымыла палубу в столовой и пошла сбросить воду и прополоскать тряпку. Воду можно было слить в унитаз, а свежую взять в душевой или на кухне, но, разумеется, так чисто, как в море, тряпку не прополощешь нигде, и, разумеется, знала она, кто стоит на вахте и стережет наветренную дверь недреманным оком, именно потому она и повернула направо, забыв про шторм. При всем умении ходить по пароходу, открывать и закрывать двери, Рита замешкалась: с тяжелым-то ведром в качку! Пропустив большую порцию воды во внутренности парохода, Рита все-таки вышла на палубу, назло мотористу и прорвавшейся волне. Счастливо взбешенный Петро, определив по мелькнувшей юбке и бесстыдно выставленным в машину трусам, что на палубу вышла Рита, хотел тут же выскочить наверх, но был отозван телеграфом на место. Он приготовил целую речь к встрече Риты. Она долго не возвращалась: особо старательно прополаскивала свою тряпку, специально играя на нервах моториста. Это предположение показалось Петру весьма заманчивым. Тут Петра отвлек гаечный ключ пятнадцать на семнадцать, завалившийся под пайолы; он некоторое время безуспешно вылавливал его специальным проволочным крюком. Но терпение все-таки кончилось, и, пренебрегши ключом и вахтой, Петро выскочил быстренько наверх, чтобы на месте преступления поймать и как следует оттянуть Риту, пока на языке горело красноречие.

А прошло между тем минут пятнадцать!

Дверь на палубу была задраена на одну задрайку. Петро выглянул наружу, поймав нужный момент: по палубе гуляла волна.

Не было буфетчицы ни на кухне, ни в столовой.

Петро стукнулся в туалет. Ворчанием отозвался стармех.

И тут Петро испугался.

Он крикнул сидевшему с журналами в чисто вымытой столовой матросу Спицыну:

— Рио-Риты нету! Вышла — и нету!

Сначала в рубке подумали, что Петро устраивает излишне монументальный розыгрыш, когда, прогремев по всем переходам, трапам, перехлопав дверями всех кают,

влетел в рубку с безумными глазами и криком: «Рио-Рита, братцы! Рио-Рита!»

— Рожает! — гаркнул кто-то из угла.

Моторист пытался сначала оттолкнуть вахтенного матроса, чтобы вертеть колесо на полный обратный курс, но тут его схватил в железные объятия вахтенный штурман Ваня Шаров. На гигантской груди Шарова Петро затих, съежился и прошептал: «Рио-Рита за бортом!»

Тут до всех дошло. Посыпали на мостик, забухали по потолку рубки сапоги. С мостика ничего не было видно.

Океан угрюмо и бесцельно перекатывал цепи волн, как монах четки.

Мелкие волны сбегали по склонам больших — так стада барашков мирно спускаются с гор, только горы эти на глазах возникали гряда за грядой, громоздились, росли и оседали, исчезая в бездне. Происходило что-то вроде землетрясения.

Видимость при всем изобилии солнца затруднялась ветром, расплескивавшим, раздувавшим и развеивавшим тонкие острия стекловидных волновых вершин.

Над самой водой носилась густая пыль мелких брызг, пыль эту задувало между волнами, мело как поземку, скручивало в смерчи; и только чтобы сугробами стать, брызгам этим нужно было бы замерзнуть, а так, по всему, они были как снег.

Судно глубоко заваливалось на повороте; многотонные волны с размаху ударяли через нос в лебедку и в рубку и наконец прямо в борт. Судно, казалось, вот-вот развалится, как избенка, сметаемая бульдозером, но не разваливалось, переносило и эти удары, отдававшиеся в самом нутре каким-то содроганием и покряхтыванием. Испытывалась сокровенная сущностная прочность плавсредства СРТ 77-77, подвергавшегося одновременно всем видам качки, сжатия и скручивания.

В кухне у повара полетел на палубу обед: борщ, похожий из-за обилия огурцов (огурцы портились, надо было успеть реализовать) на рассольник, посудина с подливой и компот; в этой мешанине скользили под ногами разоренного кондея толстым слоем обломки двадцати пяти мелких тарелок, летучей стайкой выпорхнувших из шкафа.

Мгновенно вымокнув, через палубу, оседавшую под рушившимися на нее без ритма и порядка водяными оползнями, перебежал сгорбленный тралмейстер и прыгнул в момент, когда внеочередная волна вот-вот могла

смыть его, подхватить и швырнуть о лебедку, вцепился в ванты, болтаясь по-цирковому, полез на мачту. Так наудачу мог бы невредимым пробежать по наковальне между ударами парового молота панцирно-согбенный черный жук, но мог бы и не поспеть за ритмом удачи. Тралмейстер оказался прав, что сразу полез на мачту, — пока остальные бестолково шумели, шарили глазами по морю, возможно, прошло бы судно и раз, и другой, и третий и не нашли бы Риту, она качалась бы в это время на закрытых склонах соседних холмов. Он далеко увидел с мачты точку, мелькнувшую, поднявшуюся и скрывшуюся одинединственный раз среди зыбей.

Это была Рита.

В суматохе все, конечно, было перепутано. Действия, предначертанные по тревоге «человек за бортом», не следовали в строгой последовательности; шлюпку успели пока что сбросить на палубу, вместо того чтобы вынести ее на талях над водой, и она каталась теперь по ботдэку. Да и не нужна при таком шторме шлюпка. Капитан спросонья сперва плохо понимал, в чем дело, и почему-то забрел на кухню, где над погибшим обедом безумствовал кондей, и принялся пострадавшего же и распекать, пока до него не дошел смысл докладываемых вахтенным событий. Рио-Рита? Капитан, грузно переваливаясь, носорогом пронесся по узким для крупного тела переходам в рубку и присутствовал уже при том, как Ваня Шаров, бледный от волнения, с курсантской лихостью подваливал к «плавающему предмету».

Шаров делал все правильно, и капитан молчал, не ввязывался.

Предмет плавал в декабрьских тихоокеанских волнах совершенно безжизненно.

На палубе — теперь волна шла с кормы — суетились мокрые с головы до ног спасатели, кто в чем, но с баграми.

Из вод морских Рита пришла ногами вперед. Шаров подвалил так точно, что океан как на ладони подал Риту под багры — одним зацепили за телогрейку, другим за сапог, немножко поцарапав кожу на ноге. Из воды за Ритой тянулся линек; тут же, когда доставали, отхватили линек с тряпкой и ведром на конце, линек затянут был тугой петлей на разбухшем рукаве телогрейки. Когда отхватили линек от руки — белая кисть безвольно повисла. Было что-то смертное в этой повисшей руке, будто матросы перепутали и в спешке отрубили руку, а не веревку.

Капитан вмешался, когда Шаров допустил заминку с утопленницей на лебедке. Дорога была каждая секунда, и капитан приказал втащить буфетчицу в рубку прямо через окно.

— Ногами! Ногами подавай! — свирепо зарычал капитан, сбросив раму и высунувшись по пояс, чтобы схватить за ноги буфетчицу. В этом нашло выражение свойство капитана действовать кратчайшим путем к цели. Пока мы суетились стадно, согласно привычкам, или, как теперь принято говорить, стереотипу, надо было двигаться к двери, а под волной, с грузной женщиной на руках, и в узостях вчетвером не разминешься, капитан, укрепленный, но и подстегиваемый сознанием единоначальной власти, а равно и единоличной ответственности, мыслил прямолинейно к спасению. Благодаря тому, что утопленницу подавали вверх ногами, еще при подъеме, когда она переломилась и повисла животом на раме окна, из нее хлынула первая вода.

Откачивали ее в рубке. Капитан разогнал любопытных, руководил искусственным дыханием, показывая мотористу, куда нужно надавливать, и командовал: «И раз, и раз!..» — как на яле гребцам.

Рита застонала. Ее прикрыли и снесли в каюту, чтобы согреть одеялами. Петро оттирал ей руки и плечи спиртом, который принес старпом.

Не очень скоро, но все-таки согрелась Рита, и пришла в себя, и осознала, что Петро растирает ей плечи. По лицу Петра бежали видимые миру слезы счастья. Рита медленно, бессильно, но настойчиво оттолкнула его рукой в грудь и попыталась приподняться.

— Гад! Смерти моей хотел! Чтобы я утонула! Гад!

— Что ты, дура! Тю!

— О, дает Рио-Рита!

— Он же тревогу поднял! Тебя же заметил! Если бы не Петро, пропала бы! К рыбам ушла!

Ослабев от порыва ненависти, Рита разрыдалась и, обливаясь слезами и соленой водой, упала на диван.

— Я же назло ему вышла! Я же вышла, когда он видел! Гад! Ждал, чтобы утонула! Он же видел!

— Я к машине отбежал, Рита! Истинный Христос! Время не заметил. Потом, думаю, вернулась! Выскочил посмотреть, ага, нету. Там нету, тут нету! Торкнулся в туалет! Дед, скажи, а? Нету ее там! Тогда я понял, ага! Тревогу поднял! Нет же, кореша, ну как же так! Да я же

как раз все обдумал, жениться. А ты такие слова! Истинный Христос! Рита! Слышишь, ну!

После такого саморазоблачения все стало ясно. Тревога сменилась хорошим настроением. Ели кашу, плававшую в масле, подавал сам кондей, пили чай и обсуждали происшествие. Петро в десятый раз пересказывал все события в мельчайших подробностях. «Ага! Пятнадцать на семнадцать ключ — кувырк и в щелочку. Беру крюк, пошарил, сорвался, еще пошарил, опять сорвался! Ну, думаю, его, что-то долго она там! Ладно, думаю, полоскай, полоскай свои тряпки! Думаю, она нарочно там время тянет, на моих нервах, а сам ключ ловлю! А она вон что придумала, вредная баба, купается!»

Рита ни с кем не разговаривала, время от времени отворачивалась лицом к стене, начинала плакать от пережитого ужаса.

Только на другой день окончательно разобрались и выяснили в деталях, как Рита вылетела за борт и как она все-таки не пошла на дно, ведь плавать на «четырех семерках» умели далеко не все, не умела плавать и Рита.

Дело было в телогрейке! До такого лоска была заношена и замаслена жиром тысяч ошкуренных для кухни рыб телогрейка, что стала непромокаемой и выполнила роль спасательного пояса. А за борт старая морячка попала из-за жадности. Она кинула воду в море, но волна поднялась и, наполнив, рванула ведро из рук! Через дужку ведра был продет сезалевый линек, на конце у которого уже полоскалась в море тряпка — прекрасный новый крапивный мешок! Ведро скользнуло по линьку и всем своим весом, умноженным на расходящиеся скорости волны и судна, дернуло! Рита не хотела отдать океану прекрасную новую тряпку и хорошее, почти новое ведро! Она и уперлась, не обратив внимания на заходившую под нее с тылу, с судна, волну, — ведь она уже вымокла и беречься было уже поздно. Она бы и не отдала свое имущество, но вода приподняла ее, привычно полагавшуюся на свою силу и вес, а ведро и тряпка дернули, и тяжелая, толстая женщина, как рыбка, скользнула по волне за борт. В это время она была так зла на моториста, ведь именно из-за него вышла она в шторм на палубу и вымокла, и вот даже попала за борт — нате пожалуйста вам! — что сначала назло ему даже не крикнула. Она кричала потом, но за штормом голос ее терялся, и кричать она перестала.

Тонуть, собственно захлебываться, она начала уже зна-

чительно позже, когда СРТ 77-77 перевалил огромный водяной хребет и исчез за ним, до самого мостика провалился! Какой огромной кажется волна, если смотреть на нее не с мостика и даже не с палубы, а с ее собственного ската! Обнажилось заляпанное буро-зелеными пятнами водорослей днище кормы; будто в сухом доке, немыслимо высоко откачнулся мостик с рубкой, стал валиться, падать на нее, а ее куда-то понесло, потянуло, охватило холодом по груди, по горлу...

III

В конце рейса быстро окреп слушок, что Рио-Рита и Петро сошлись и собираются пожениться прямо на пароходе. Капитан и профком помудрили и выделили по всеобщему согласию двухместку под образовавшуюся семью.

При новых условиях жизни ни Петро, ни Рита особенно не изменились. То есть, конечно, в личной жизни все у них стало меняться счастливо и бесповоротно, но для окружающих это было очень мало заметно. Так же посмеивалась над пожилой любовью молодая команда, полагавшая, видимо, что и сошлись-то Петро и Рита для всеобщей потехи, чтобы отмочить козу покапитальнее; так же разгорались баталии между мужем и женой,— возможно, эта форма развлечения напоминала им пору жениховства; так же замахивалась Рита мокрой тряпкой на пробегавших по мытой палубе рыбаков; так же смертельным визгливым матом наносило от Петра из машины; но уже в каюте у них возникли скатерки и занавески, хранившиеся долгие годы в чемоданах Риты, вышились какие-то подушечки, у Петра появились прекрасные самовязаные шерстяные носки,— наглядный залог противоревматичного семейного счастья. Слышны стали новые нотки в разговорах Петра, негромких, не на публику: поговаривать он стал о том, что вот как славно молотить семейно, какое это полное счастье, когда при дизелях жена рядом! Это чего же еще может желать самый мечтательный человек? Ведь таких счастливцев едва ли один на тысячу, какое там, на десять тысяч! Где-нибудь на большущих пароходах, на китобазах, может, на краболовах, на рыболовных фабриках! Сначала регистрироваться они не стали, рассчитывали походить в моря до пенсии, а женатым парам трудно устроиться на один пароход — не при-

нято. Но штамп в паспорте. Нежно хранимая девичья мечта! Поднакопленных денег у Петра и Риты хватило на выполнение кое-каких мещанских мечтаний. На двадцать восьмом километре, не доезжая Океанской, ждал теперь возвращения Петра из последних предпенсионных рейсов небольшой, в две с половиной комнаты, дом с крыжовниковым садом, где упорно, хоть и неумело хозяйничала Рита.

Самые морские из морских птицы, какие-нибудь гигантские альбатросы, летавшие еще над мезозойским океаном вперемешку с ящерами, какие-нибудь королевские краснозобые фрегаты, которые и всю-то жизнь проводят в поисках корма на воде и над водой, даже если и умирают в море, — гнездятся все-таки на земле, находя для этого необитаемые прекрасные острова в его безбрежности.

Берег есть нечто особенное, если смотреть с моря. Замечено, что некоторых моряков охватывает какой-то особый страх берега. На море все на месте, раз навсегда заведено и пущено, человек всегда при деле. А на берегу? Вот, например, что говорит об этом Ваня Шаров, наш бывший третий штурман: он лежит в каюте, на пароходе хозяйничают чужие люди, межрейсовый ремонт, в гостинице плавсостава места для Шарова не оказалось, да и чем там лучше; Ваню уже два раза перегоняли из каюты в каюту, теперь он спит в бывшей «женатке», где когда-то жили Петро с Ритой.

— Ты что лежишь, Третий?

— А чего там делать?

— В кабак сходи.

— Был. Позавчера.

— Да вылезай из каюты, пройдись, подыши! Берег же! Ну, волосан! Бабы шустрят по городу, полным-полно!

— Не видал я баб! Кожи портовые!

— Ну уж! Есть и порядочные, кому что. Посмотришь — идет! Сердце в груди бух-бух!

— В море хочу, — в голосе штурмана звучит глухая обида, — не могу я тут! — И он снова берется за Новикова-Прибоя.

— Да что ты в море потерял?

— В море я человек.

Да, в море Ваня человек, да еще какой! В шторм на спор в столовую на руках пришел. На берегу же пробира-

ется вдоль стеночки, если трезвый. Отсюда и происходят морские мифы и легенды, необыкновенности с ресторанными кутежами при участии работников милиции. Видел я, как Ваня давал на чай угодливо, но и панибратски приобнявшему его официанту. Зачем? Лучше матери-пенсионерке в Благовещенск отослал бы. Но что такое десятка, если тебя за нее уважают. Сходная цена.

У Петра и Риты берег предвиделся совершенно и абсолютно счастливым, чем-то вроде роскошного лайнера, увозящего героев позабытого кинофильма в далекий-далекий рейс под звуки музыки.

Заканчивая эту морскую сказку типичным хэппи-эндом, я не могу не сознаться, что сам вижу, и даже несколько ущемлен этим, мещанство, в которое погружаются мои герои; океан и тот на глазах превращается из романтичнейшего, даже я бы сказал — абсолютнейшего романтизма стихии, в болотистый залив всеобщего моря житейского! Но уж больно отчетливо стоит у меня в глазах этот в две с половиной комнаты домишко (не доезжая Океанской, через шоссе к сопкам, говорил Петро, минут десять ходу от станции, не больше, да пусть и двадцать, куда пенсионерам торопиться), и наносит на меня муссонным дыханием ритм фокстрота.

Пар-р-рам, Рио-Рита...

И успокаивает, и примиряет меня эта картинка. Если бы я был — ну кем? богом? — раздавал бы такие домишки с крыжовником (или смородиной, если севернее Владивостока), никому бы, разумеется, насильно не навязывал, исключительно на добровольных началах. И жизнь бы за это спрашивал полегче немного, чем была она у Петра и Риты. Божественно стойко сносил бы я презрение к своим мещанским взглядам, набрался бы духу и сносил молча.

А если серьезно, есть одно обстоятельство, омрачающее нарисованную картину, умолчать о котором реалисту нельзя. Случается, что списанный на берег закоренелый моряк через год-полтора умирает. Что-то в нем пресекается, обламывается, будто садятся батарейки. Есть, конечно, и такие, что живут на берегу еще долго и счастливо. Это те, я предполагаю, кто сумел сохранить морской завод, ритм моря...

Может, сохранят морской завод и Рита с Петром, два-то закаленных морских сердца?

И пусть айсберг неизбежный подождет, пусть он еще даже не откалывается, не сползает с затерянных в туманах потусторонних берегов!

1968

НА БУГРЕ

Мы с Никодимом дошли до болота, и он свернул по первой дамбе, обходя лужи и лошадей, в деревню — проведать в больнице жену, понес ей яблочков и парного молока, а я направился краем болота к следующей дамбе, оставляя болото на зорю. За три дня охоты я неплохо освоил это болото, успел приметить несколько подходящих мест и теперь собирался обшарить крепкие уголки, где могли быть утки, а потом уже сесть на дальней дамбе и ждать начала вечернего лёта. Отойдя несколько шагов и оставшись один, я зарядил оба ствола и приготовился слушать, смотреть и стрелять, подступило блаженное охотничье ощущение настороженной легкости. Я почему-то еще думал про Никодима, и его было видно еще, если обернуться, он мелькал за кустами, потом наконец скрылся. Это мешало охоте.

Слева от болота по краю леса тянулись бурты старого, не вывезенного после закрытия карьеров торфа, они напоминали египетские пирамиды. С одной пирамиды слетела горлинка, я остановился, но она далеко облетела меня. Вся живность, как я успел уже заметить, была здесь крепко обстреляна, даже горлинки.

Никодим жил в двух километрах от Самопьянихи, в бывшей конторе торфоразработок, на бугре. Торф на здешнем болоте был нерентабельный, и разрабатывали его от топливного голода военных лет и, по инерции, еще несколько лет после войны, тогда-то и работал Никодим на болоте, а теперь давно уже был экспедитором, возил по ближним деревням продтовары и хлеб; хотя можно было много другой работы найти, Никодим предпочитал работать «ближе к пище». Никодим был «дальний человек», отличал себя от местных крестьян твердо, на Самопьяниху смотрел презрительно, и хоть прожил здесь лет пятнадцать, но не «прилепился», потому что был «не этим курам голубь», — колхоз за болотом действительно бедный.

А при последующих разговорах выяснилось, что хоть и явился сюда Никодим из лагерей Хабаровского края, «от хозяина», но все-таки родом-то он чуть не здешний, из Московской области, из Пеньков, а в Хабаровский край, откуда он теперь вел свою родословную, попал сначала в армию, на третьем году войны, но там же через две недели службы и сел — оттрубил пару лет за глупость.

«Нас со старослужащим одним, земелей, послали грузить продукты в столовую штаба. Одна бочка — то ли сама лопнула, то ли попользовался кто раньше — открытая оказалась. Селедка была хорошая, жировая. Теперь такой селедки не увидишь — как масло. Старослужащий этот, Валера, говорит: а почему бы нам пару селедок не того? Это, мол, порядок такой, если попал на пищу, то имеешь право сам пожрать и корешам принести. Земеля этот старослужащий до армии на мясокомбинате работал. Там за ворота не выноси, а на территории — твое право, хоть чистой колбасой питайся. Вот этим-то он меня и смутил. Парень он был веселый, товарищеский. Мы, значит, пяток селедок кинули ребятам на «губу», решетка ихняя возле склада прямо была... Грузим, а они смотрят — как не подкинуть, продукты же. Еще буханка там попалась, измятая меж лотков. Мы ее тоже ребятам сунули. Валера соображает: селедок-то в штаны. Наложили их в штаны. Молодой я был, ведь это же военное преступление! Офицеры собрались: а ну, вынимай! Что там у тебя в штанах? Покажи! Я перепугался, селедки достаю из штанов, а слезы бегут, бегут. Все смеются. Валера делает признание, меня, как молодого, выгораживает, я, мол, старослужащий и сомустил молодого и глупого деревенского парнишку. Видите, он плачет, а я смеюсь! И судят нас за разложение. Вот, чтобы другим неповадно было, нас и приговорили. И правильно. Потому что худая овца все стадо испортить может. Ему, как виноватому, на полную катушку, мне, как невиновному, ровно половину».

Эту историю Никодим рассказал мне в первый же вечер, когда мы выпили за знакомство при моем поселении на бугре. Мне приятно было выпить на природе, обозначить истинное начало отпуска, прибытие в новые для меня места, где, по слухам, была еще кое-какая охота на уток и тетеревов. Никодим денег за квартиру брать не стал, и нужно было как-то утрясти это дело, и я сам сходил в магазин за водкой; у меня было праздничное настроение, когда я возвращался из деревни к одиноко и красиво

стоявшему на бугре среди болота дому. Пока я ходил за водкой, Никодим, видимо, настроился выпить, быстро выпил и сильно опьянел. Выяснилось, что он давно уже не пьет из-за какой-то болезни. Он заговорил, заговорил, стал все рассказывать про себя, как будто не только не пил, но и молчал все время, до моего случайного приезда, и молчал бы и дальше еще, если бы именно я к нему не заехал, стал называть меня «сынком», что уже ни в какие рамки не лезло.

— Сынок, — говорил он доверительно и непонятно, — я теперь уже никого не боюсь, теперь никто мне ничего, и я ничего никому. А был я счастливым человеком, пока торфушка моя не заболела.

Много историй рассказал он из своей жизни, и выходило все так, что ему везде и регулярно подваливало счастье, и он жил там сравнительно хорошо, потому что работал в пекарне и потому что был тихий и молчун, только вот дружок его там помер, и он два-три раза всхлипнул и поскрипел небритой щетиной, собирая под глазами слезы.

Потом стал рассказывать, как ему и дальше везло, как потом он попал вот сюда, на бугор, на торф. «Тут раньше и бараки жилые были, и работали в ближних карьерах, тех еще не было, дальних, и все уже заросло, бараки рассыпались, только видно, где фундаменты были. Контора одна стоит, говорят, был купеческий флигель охотничий. На торфе, надо сказать, работа была потруднее, чем в пекарне. А кругом кто работал? Знаешь кто? Сказать? Одни бабы! Поголовные солдатки. Среди них — хоть голодный, а все-таки мужик, в серединке спасался. Это что же делалось, запах-то ихний! Да что я тебе рассказываю, вот печку буду топить, ты листья-то почитай: ведомости старые. Сплошь бабы. Торфушки. И моя тоже. Торф лопатой резать цельный день — эх-хе-хе — вот оно здоровьице-то где. И ничего не осталось. Это где же теперь народушко-то весь тот-то? Калеки-то перехожие! Пусто! Чистое поле осталось, только мы с тобой сидим и водку пьем!»

За окном действительно было чистое поле — болото в зарастающих карьерах, в густых ровных полосах ольховников. Далеко, на самом конце болота, у подножия мягкополого холма, стояла, похожая на избу, станина торфяной машины. Казалось, будто шла, шла машина, а потом стала на краю земли, потому что дальше идти было некуда. Станину эту я осматривал, сделал ради нее крюк

километра полтора. Странная была машина, неуклюжая, паровая еще, какая-то древнекаменная, двигалась она, видимо, не сама, а тащили ее по болоту вручную. Я так и не мог понять, что она механизировала: и волокли ее вручную, и торф резали вручную, и подавали торф на транспортер вручную; скорее всего, на долю машины приходилось сжать торф в брикет, выдавить из него жижу. Я осматривал ее как ископаемое чудовище, представлял себе, как на комарах, стоя по колено в воде, торфушки-бабы режут и подают в машину длинные, неимоверно тяжелые, сочащиеся водой и жижей ломти болотной дерновины. А Никодим рассказывал о прошлом с удовольствием, его можно было понять, приехал он сюда прямо из Хабаровского края. Ну и бабы тоже фактор немаловажный. Он и сам все это обосновывал в таком же смысле: «А где я другое-то счастье видал? А? Я ведь женился тут. Торфушку свою нашел, она молоденькая была. А я? Самому себя жалко было, кости да жилы. Тебе, может, и сейчас тут не больно глянется, а по мне — только бы жена не помирала, а больше мне ничего уж не надо». Он снова начинал расписывать свою жизнь и хвалить все вокруг, а следом начинал ругать все что ни попадя, главным образом председателей Самопьянихи. Особенно доставалось последнему, которому даны такие возможности, каких у предыдущих председателей не было. Последний председатель предпринимал какие-то «происки», чтобы флигель с бугра свезти и что-то на бугре сделать, приспособить эту пустующую среди болота территорию, «а сам и свой-то курятник — Самопьяниху — оборудовать не может и никому не предоставляет хороших условий, хоть теперь это и можно вполне свободно».

Когда Никодим выводил председателя на «чистую воду» и доказывал, что жить стало невмоготу, я спросил его, чего же он не уедет отсюда, найдутся места и получше этого болота.

— Что есть места, то есть, — ответил Никодим. — Сейчас молодежь вон какая! Ты вот посмотри, зимой тут будто вымерло, а летом наезжают — тут тебе и монтажники, и моряки, и строек строители, и кадровые рабочие со столичных коллективов. Все нашли жизнь другую, а я повидавши, и мне Самопьяниха что твой курорт. Только вот торфушка моя заболела. И помрет — не освободит, куда я теперь. Колька в техникум собирается, экзамены сдал — зачислили, и квартиру нашел в городе, в Рязани то есть.

Он у меня тоже немного трусоват. Я ему говорю: ехай, Колька, широко, я тебе везде помогу. А он нет. Тихий больно. Да и ладно. Только бы не воровал.

— Почему он воровать-то будет?

— А почему воруют? Тихие они, тихие, а вдруг — раз тебе, и на преступление. А за преступление — вон что...

— Это вы зря, Никодим,— сказал я ему, но он, оказывается, уже спал, только покачивал корявой рукой. Рука, толстая, с оббитыми синими ногтями, налитая кровью, тяжело свисала со стола, исполняя при тщедушном сложении Никодима роль противовеса.

Размышляя о Никодиме, я добрался до второй дамбы, где намечал проверить крепкие места, и спустил предохранитель, как только приблизился к двум карьерам, на каждом из которых было по зеркалу чистой воды. Чирки присаживались там, и я уже два раза спугивал их по неосторожности и не смог выстрелить ни разу — они взлетали невысоко, стремительно заворачивали в кусты над самой водой, и для выстрела оставался миг один, когда, светло распахнув чистые подкрылья, чирки очень легко и сразу, без разгона и крика, как это делают тяжелые утки, слетали с воды, словно сдутые резким ветром, и исчезали за нависшими над водой кустами густых ольховников.

Утка в этих местах была так нахлестана, что стала вместе и предельно осторожной, и предельно смелой, прямо наглой. Осторожность ее сказывалась в том, что зоревой лёт она начинала очень поздно, летала с двойным запасом высоты, да и туда пуделяли охотники, или, наоборот, летала на «бреющем полете», вихляя меж вершин кустов наподобие какого-нибудь дрозда, а сидя на воде в хорошем месте — не крякала, а кормилась себе молчком. К наглости местную утку вынуждала бедность кормовой базы, съестного на полях оставалось мало, болотные карьеры быстро зарастали ольхой и всякими другими кустами, так что в пригодных для жизни местах утка сидела крепко и подпускала человека вплотную, надеясь на свою истерическую резкость; еще сказывалась на ее поведении привычка к большому числу народа, проходившего и проезжавшего через дамбы по болоту за лето. Охота на такую тренированную утку требовала настойчивости, терпения и постоянной готовности стрелять на расстояния, для стрельбы в принципе не пригодные: или на пять — десять метров, или на шестьдесят — семьдесят.

И вот, тоскуя по хорошему выстрелу, шел я неслышными шагами по дамбе, открыв рот, чтобы лучше и тоньше слушать, держа на изготовку ружье и пригибаясь за кустами.

Я чувствовал, что на воде небольшими кругами плавают плоские, очерченные зарей в сумерках чирки. Я просто видел сквозь плотные заросли оба окошка чистой воды и уток на них, подкрадывался, стараясь проплывать между кустами, а не мелькать, стараясь ступать только на мягкую, глухую на бугорках осоку. По нервам быстрыми тенями мельком ударили два дрозда, я вскинул ружье, а убедившись в своей ошибке, снова стал подкрадываться, услышал, как плеснула и булькнула ондатра — звук ее движений отличен от утиного, — и потом еще что-то очень тихо прошуршало, я не обратил внимания, потому что так тихо шуршать осокой могло только что-нибудь очень маленькое, какая-нибудь водяная крыса или даже мышь.

Наконец я подобрался к первому зеркалу, выглянул из-за куста одним глазом и медлил, постепенно разворачиваясь плечом и внимательно просматривая открывавшуюся по радиусу чистоту водяного зеркала с отражением зари на нем. Пучки водорослей перестали казаться утками, и я двинулся дальше, затаив дыхание, к следующему зеркалу, и тут-то услышал на другой стороне шорох, напоминавший свободный шаг ищущей собаки. Разочарованно — значит, кто-то уже обшарил эти зеркала — я опустил ружье и взял на предохранитель. Я ждал, когда в кустах появится собака, занятая своим делом. Интересно было, что за собака. Шорох то затихал, то становился чуть сильнее, живее, ближе, а собаки все не было, а потом я увидел, что шуршит невысокая осока шагах в десяти от меня. Осока раздвигалась, легким ручьем колыхался в ее вершинках пролагавшийся след. Я мягко спустил предохранитель, подумав, что это бредет, не слыша меня, водяная курочка, бредет своим женственным шагом среди острых осоковых стеблей.

Стрелять курочку на таком близком расстоянии — значило разбить ее вдребезги усиленным зарядом пятерки, и я решил отпустить ее шагов на двадцать по дамбе. Я ждал курочку и потому не сразу понял, когда мелькнуло что-то совершенно однотонное с пепельно-коричневой, рыжей и серой осокой. Я увидел острое лисье ухо и вместе с ним различил бурую лисью спинку, от шевельнувшегося

хвоста протек движущийся след в осоке. Лиса прыгнула. Я выстрелил и промазал, дробь на таком расстоянии не успела развернуться даже в шапку, а прошла комком с кулак и срезала осоку. Лиса еще несколько раз прыгнула из стороны в сторону зигзагами, и я, отпустив ее до кустов, ударил из второго ствола.

Осока остановилась, легкое облачко бездымного выстрела мгновенно рассеялось, оставив резкий приятный запах, за моей спиной ахнули и, зашлепав крыльями по вязкой илистой воде, засвистев остро, режуще, поднялись, развернулись и сразу оказались высоко над кустами, полетели по крутой дуге две крупные утки. Я только на мгновение отвел глаза от того места, где остановилась осока, — успел рассмотреть уток — и опять стал глядеть на осоку, стараясь определить, что с лисицей: лежит ли она на том же месте убитая, или бьется раненная, или, не задетая выстрелом, мелькает в дальних кустах. Мне казалось, что вторым выстрелом я попал точно по лисице, но твердой уверенности не было.

Я достал из рюкзака еще три патрона, двумя зарядил, третий сунул в карман рубашки и, разувшись, в одних носках, заранее подрагивая от неприятного вида пронизанной водорослями грязи, полез по лисьему следу в болото, оставив рюкзак на дамбе и держа ружье на изготовку на случай, если придется добивать лисицу. Я делал ногами какие-то бездонные дыры в тысячелетней трясине болота, и оно отвечало, чутко шевелилось под ногами какими-то животными, волнообразными движениями; угрожающе шипели и урчали пузыри вокруг ног, плотно охваченных вязким холодом.

Я едва удержался, чтобы не поддаться стихийному страху бездны, чтобы не упасть и не поползти, чтобы не кинуться звериными прыжками к надежной прочности дамбы, только усилием воли заставил себя идти туда, где должна была лежать нечестно, бессмысленно убитая мною лисица. Я еще и еще раз обшарил все болото в этом месте, прозевал еще пару налетевших чирков, чуть не севших возле меня на воду, не до них мне было — я стоял почти по пояс в ледяной жиже и медленно погружался, испытывая бездонный страх, зыбко, студенисто поднимавшийся по ногам. Лисицу я не нашел.

На дамбе у меня некоторое время еще дрожали ноги, но я сумел рассмеяться над собой, ведь болото за-

долго до меня было пройдено карьерами, ведь оно держало многотонную эту египетскую машину, прессовавшую торф, а бабы-торфушки изрезали болото вручную, лопатами, сделали на нем крепкие, длинные от края до края, дамбы.

Штаны и носки пропитались какой-то удивительно неприятной грязью, и ноги в ступнях сильно остыли, лицо, шею и руки кусали комары, но я сидел под ольхой, лицом на зарю, и терпеливо караулил уток. Где-то в болоте была то ли раненая, то ли невредимая лисица. Это была молодая лисица, но она уже поняла, что в болоте самое кормное — искать убитых и потерянных или подраненных уток. Поэтому она и не боялась, а даже шла к охотникам и вертелась, искала возле них. Пожалуй, этим она и занималась, когда я скрадывал чирков. Утки летали далеко, на другой стороне болота, там стреляли по ним деревенские охотники, и на меня несколько раз налетали, все почему-то сбоку, я мазал, но все еще надеялся. Утка летит на заре иногда глупо, будто рассматривая что-то внизу, летит прямо грудью вперед, как ковшик. Но на этом болоте такого увидеть было нельзя; тут они рассекают воздух — как обрезок жести, косо запущенный по ветру; они здесь летали по каким-то нервным, неожиданным траекториям, от нормального утиного полета у них осталось только то, что, как и нормальные утки, они поваливались на лету с крыла на крыло.

Обратно я шел лугом и спотыкался о невидимые кочки. Полная красивая луна в радужном круге почему-то не освещала пространство, по которому я шел, хорошо было видно только то, что впереди, подальше и повыше, на просвет зари, на отсветы ушедшего дня; а лунный свет холодно и бесполезно падал с высоты, на которую луна незаметно для глаз забралась, и смешивался, и спорил на земле со светом длившейся зари. Луна всплывала и всплывала вверх, прозрачная, как медуза, и светила сквозь какую-то поволоку, которую нагонял на небо, затмевая слабые звезды, теплый темный ветер. Неожиданно возникавшие в тумане торфяные бугры уже не казались фараонскими пирамидами, были мягче, теплее, то ли как скифские курганы, то ли как братские могилы. Лошадь, встретившая меня добрым ржанием у самой конторы на бугре, была похожа на человека.

В доме тускло и жарко горела керосиновая лампа, Никодим что-то шил, едва находя иголкой предмет работы. Я рассказал ему про лисицу, что мне совестно и жалко несезонную зверюшку.

— А чо же, она же курей жрет. Так ей и надо,— сказал Никодим, вздыхая на свои мысли.

— Да эта маленькая была еще, никаких курей.

— Ну, а выросла бы, стала жрать?

За ужином Никодим ел равнодушно и медленно, не пил молоко, я же, проголодавшись, ел скоро и особенно много выпил великолепного молока с черствым черным хлебом. Шил Никодим Колькины штаны, парня надо было собирать в техникум, и мать начала переделывать ему для моды штаны, и распороть-то распорола, даже заузила одну штанину, но вторую не успела заузить, и не успела их сшить, и слегла, сам Колька уехал от колхоза за лесом — заработать для техникума на первое время, а Никодиму штаны не давали покоя, и вот он сам сел портняжить.

Я лежал в своем углу за занавеской, и мы разговаривали кое-как, кто про что, у меня чесались ноги, хоть я и помыл их у колодца. Никодим время от времени запевал песню: «Все васильти, васильти, сколько их много на поли-и, помнишь, у самой рети-и я собирал их для Оли-и». Мотив он выводил неверно, но старательно, жалобным, немужским голосом. на голос этот, как я заметил, он как бы настраивался специально и глухо, равнодушно матерился, потому что тыкал иглой в пальцы.

— Вот помрет жена, — сказал он, положив руки на шитье.

— Ну что вы! — сразу откликнулся я, будто меня кто-то спрашивал.

— Помрет, это ж по ней видно. Вози не вози, хоть в Москву, хоть в раз-Москву. Один вывод.

Неудобно было говорить что-нибудь после того, как я так неловко выскочил, и я помалкивал.

— Ну вот, куда мы теперь с Колькой? Да ему что, теперь ему техникум, потом дале. А я тут. На бугру. — Он понурился, но потом, как вспомнив что-то, вдруг оживился и обратился уже прямо ко мне, чем меня и обрадовал, уж больно тоскливо было сидеть вот так в темноте, зная его мысли: — Зимой тут будет очень просто лисицу-то. Она хоть и в лес жить уйдет, а пастись все на кальеры будет гулять или эвон на поле. На кальерах капканы

расставь. А в лес, он же небольшой лесок, три километра шнура, и все. Да и болото флажками обложить можно, если следа обратного нет, если она там залегла. Взяться по-настоящему, ее всю за зиму повыдавить можно.

До этого Никодим об охоте вообще не заговаривал, и я невольно воскликнул:

— Так вы охотник!

— Я-то нет. Тут зимой приезжали одни. Я и наслушался. — Он засмеялся. — Разговаривать-то разговаривали, а двух на пятерых за неделю поймали. Только и всего. Тут языком не возьмешь, она зверь умная.

— Да, зимой тут другое дело. Я бы с удовольствием к вам приехал. Зимой лисица — красный зверь, гордость охотничья. А что, правда, Никодим, приеду-ка я к вам зимой. Честное слово. Прекрасная охота. Белый маскировочный халат, белые штаны, на шапку белый капюшон. Можно парус на полозьях. На лыжах можно из края в край! Но обязательно нужен оптический прицел. Лучше всего «Барс», вы не слышали? Это прекрасный малокалиберный карабин. Новый. Мышкующая лиса далеко видна на пелене снега. Подвигаться, учитывая ветер. Двести метров, элементарно. А летом — это совсем нехорошо. Ну как это сегодня получилось, жалость такая. Убил не убил — мучайся. Убил не убил — следа не найти в осоке. Неприятно думать.

— А чего мучиться-то. Убил да убил.

— Не честно, перед совестью согрешил.

Никодим быстро повернулся у стола. Теперь он сидел так, что лампа освещала только его жидкие космы и ухо; ухо было розовое, светилось, а лицо было целиком в тени. Голос у него стал желчный, злой.

— Больно грехи у тебя счастливые, товарищ! — Никодим укоризненно качнул головой, углубляя значение своих слов, тень его головы шевельнулась на стене, как в телевизоре. — Хорошо тебе, в общем, с этим баловством.

Мне стало обидно, что он ловко так угадал слабое место и ткнул: мне действительно было хорошо сознавать раскаяние, я и в болото из-за него лез. Но ведь и не мешал же я, во всяком случае, никому этим раскаянием; и не следовало оправдываться, а я стал говорить еще и еще: про лисицу, про уток, которым приходит конец на болоте, про то, сколько красоты потеряет земля, когда придет конец уткам и лисицам, и про то, что нельзя, чтобы ему,

Никодиму, не было бы до этого дела. Но и тут Никодим высказался с какой-то едкой злостью:

— Утку тебе жалко? А ты ее, падлу, бей, не жалей! Тут ее все и так бьют милосердно. И правильно! Конечно, выбьют всю без остатка, раз такая дура. Где это есть, даже мышь прихлопнуть нельзя? Заповедник? Вот и летела бы она туда, раз там такие условия предоставлены!

На этом, разумеется, разговор был окончен.

Никодим бросил штаны на лавку, отнес лампу на подоконник и стал укладываться. Я долго слушал, как он сопит на своей перине. От него пахло салицилкой. У меня с собой было свое одеяло, и я спал на нем поверх Колькиной постели. Я постепенно успокоился, раздражение от разговора прошло, я стал думать о том, как завтра встану пораньше Никодима и пойду по росе, по траве на болото и обязательно сослежу тех чирков, и начал было засыпать и проснулся от жжения в ногах.

Когда я мыл ноги из бадьи у колодца, я ничего такого не заметил. Я сходил за лампой и взял ее очень тихо, но Никодим все-таки проснулся. Любой бы проснулся, если ночью чужой человек молча стал бы ходить по его дому.

Я зажег лампу и стал у себя за занавеской осматривать ноги: кожа была красной, в точках и назревающих гнойничках. Меня это как-то вдруг испугало, почему-то сразу вспомнилось все известное о кожных напастях, вплоть до проказы. Я механически дунул в ладонь, и в мгновенно наступившей удивительной тьме к потолку всплыл столб теплого, отработанного керосинового газа. Обратно я пробирался ощупью и споткнулся... и вместо ожидавшейся спинки кровати под рукой своей с ужасом ощутил небритое лицо Никодима. Он поддержал меня за локоть. Глупо было извиняться перед человеком, если схватил его вдруг пятерней за лицо. Я поставил лампу на подоконник и молча стал пробираться обратно, натыкаясь, как крот, на стол, лавку, ведро.

— Фигус на табуретке. Не повали, — сказал Никодим. Он, кажется, улыбался в темноте, слыша, как я пробираюсь по избе, стукаясь обо все углы.

— На ногах что-то такое, — сказал я, укладываясь и упираясь головой в тонкие железные прутья малой мне Колькиной кровати.

— Бродил, значит, — удовлетворенно сказал Никодим. — Это наша болота такая. Теперь, брат, заболеешь.

Я сдерживал себя и молчал.

— Хорошо, если не помрешь, — Никодим тихо засмеялся. — Это у тебя сурьезная болезнь.

— Ну а чего же вы смеетесь? — вырвалось у меня.

— А вот лечиться от нее знаешь как?

— Не знаю, не знаю! — Меня душила бессильная злоба. — Не знаю, так что же?

— То-то и оно. Это, брат, штука! Если хочешь вылечиться да не помереть, так тебе надо на ноги теперь неделю мочиться.

— Бред какой-то!

— Когда на ноги поливать будешь, тогда скажешь. Бред. У меня, брат, все ляжки сгнили, ране-то работал.

— Ну, а женщины? Как они работали?

— А чем они лучше? Так и работали.

Мы помолчали, потом он сказал уже не мне, а просто в темноту своих воспоминаний:

— Надо было. Война.

Ноги мои чесались, но я решил, что лучше пусть вообще ноги отрежут, чем я буду лечиться таким средством; потом я думал, что в средстве этом нет ничего особенно страшного, если оно единственное для спасения жизни, еще и пытался думать об охоте, но не получалось и не помогало.

Проснулся я с головной болью, сразу вспомнил про ноги и откинул одеяло. В окно с тупым пластмассовым стуком бились ожившие в солнечной духоте дома мухи. Я стал быстро одеваться с твердым намерением сейчас же ехать в город к врачу. В сенях послышалась возня, и вошел Никодим, свежевымытый и причесанный на пробор.

— Проспал охоту-то свою? Вот молочка попей. А я в деревню пошел, к жене зайду да на работу. Вставай, что ли, похлебаем!

— Спасибо, не хочу, — сухо ответил я.

— Эх ты, я же шутю! — засмеялся Никодим.

— Шутю, ноги-то распухли!

— Это мы наготовили уже лекарства тебе. Да-а! И поллитры не возьмем, и чирикать будешь.— Он взял со стола чумазую бутылку, заткнутую масленой тряпочкой. — Вот она и вся! Намажем сейчас керосином и все пройдет! — Он взболтал бутылку, щедро смочил тряпку в горсти и ждал, пока я открою ноги. — Ну, давай-ка, покажь, мы ее сейчас!

— Да я сам.

— Ты больной, давай, что ли! — Он поставил бутылку на пол и, скинув с меня одеяло, стал сильно тереть тряпкой красные пятна на ногах, приговаривая: — Вот так-то! Намажем керосином, и все пройдет. Это мы новеньких торфушек учили. Если на это дело да еще помочиться, беда-а! Разъест.

— Хороши шутки! — сказал я.

От керосина зуд чудесным образом успокаивался.

— Вот намажем сейчас, и хоть в болото снова лезь, хоть куда. Керосин везде спасает, от любой заразы. Его пьют, есть некоторые...

— А что, точно шутили как-то?

— Да было...

— Ничего себе шуточка!

— Это когда было, мы еще молодые были. Вот, брат. А ты не сердись. Сердятся одни только дураки.

Никодим отнес бутылку в сени, чтобы не пахло, сказал, что поставил ее под лавку, что если я опять забреду в болото, то намазаться посильнее. Веселье, с которым он лечил меня, уже исчезло, он опять нахмурился, собрал узелок для жены и сел со мной завтракать. Ел он молча, некрасиво, гнулся к столу, глотал одновременно все: и молоко, и картошку с укропом, и печенье, которое я купил в магазине «Армения».

Потом мы вместе с ним дошли до болота, я решил побродить за вчерашними чирками — в силу керосина уже уверовал, — а днем зайти в лесок и проверить, как там поживают тетеревиные выводки. По дороге больше разговаривал я, настроение у меня поднялось, и утро радовало меня без всякой меры. Никодим все молчал и вздыхал про себя. Я случайно заметил, что он кособок и припадает, поныривает на ходу на правую ногу, что он старообразен, несмотря на молодые свои синие глаза. Мне хотелось показать, что я понимаю его заботу и горе. Я от души сказал ему, когда мы расходились у края болота, — у него опять был узелок с яблоками и салом и теплое еще молоко в литровой консервной банке.

— Ничего, Никодим, поверьте мне, как-нибудь утрясется.

— Чего, брат, утрясется. Помрет, вот и все.

— Сейчас и кроме керосина лекарства есть, — попытался я, иронизируя над собой, развеселить Никодима.

— Есть-то есть... — сказал Никодим, глядя в сторону. Он так и пошел дальше на дамбу, а я свернул и взял

краем болота. Со спины было особенно заметно, что Никодим припадает на правую ногу; странно, что я не заметил этого вчера.

1969

ХОЗЯЙКА

1

Домом приезжих заведовала женщина в плаще, в резиновых сапогах, крепко обнимавших голые смуглые икры. При одном взгляде на эти свежие забрызганные икры было ясно, что холодные осенние дожди идут уже не первый день. Она забежала рано утром, безжалостно разбудила единственного постояльца, свернувшегося по-собачьи под тонким для сибирской ночи, истершимся от времени одеялом, получила полтинник и оставила под графином на большом стеклянном блюде квитанцию.

Она уже уходила, когда постоялец встряхнулся ото сна и предъявил законную претензию:

— Белье-то менять надо! Иначе это черт знает что получается!

У него были худая длинная шея, худые костистые плечи под синей обвислой майкой, очки на столе, на стуле — пиджак с университетским ромбиком. На перекладине того же стула безвольно и скромно висели сморщенные носки, но в глаза они не бросались, тушевались под гордо оседлавшим стул пиджаком.

— Менять мне нечем, а вот вы бы ноги вытирали! Эвон у вашей койки ошметьев-то! — Глаза хозяйки сверкнули гневом и женским презрением к студенческой худобе постояльца.

— Неладно что-то в сфере обслуживания на селе, — подумал вслух постоялец, — ночлежка какая-то! Черт побери!

— Уходить будете, крюк накиньте, тут щелочка имеется, снаружи... Щепочку возьмете, щепочкой накинете, ладно?

— Нет, вы мне лучше скажите, где у вас жалобная книга? — прорычал негустым голосом молодой человек в занавеску, за которой скрылась хозяйка.

На беду, его услышали. Хозяйка широко откинула занавеску, засаленную от пола до потолка и оттого тяжелую, как златотканый театральный занавес.

— Тут она у меня! — сказала хозяйка и два раза хлопнула себя по плащу сзади.

После этого хозяйка окончательно исчезла и больше не появлялась...

2

Автобус сломался, и молодой человек был вынужден вернуться в Дом приезжих. С ним вместе с автобусной остановки пришли туда еще трое — два, как сразу выяснилось, заготовителя и третий — усталый, с набрякшими подглазьями толстяк, которого молодой человек сразу определил в районные работники средней руки.

Молодой человек поторопился и первым достиг гостиницы, чтобы захватить те простыни, на которых уже ночевал. Это ему удалось, он удовлетворенно развернул «Неделю» и сел в угол к свету.

Заготовители достали по бутылке водки и развернули другую газету, самобранку с колбасой, постной ветчиной домашнего изготовления, сыром, чесноком, огурцами, одним большим помидором драгоценного среднеазиатского происхождения, луком (нежно-лиловые удлиненные чищеные головки) и холодными, даже на взгляд от застывшего на них жира, котлетами.

— С народом теперь разговаривать не придется до завтрашнего полдня, значит, и выпить можно, авторитету не уронишь, — сказал один заготовитель другому.

Районный работник тоже достал кое-какую закуску магазинного характера и потому победнее заготовительской и, по приглашению состыковаться, состыковался с заготовителями. Молодой человек с ромбом на груди был непьющий и остался сидеть со своей «Неделей» в теперь уже темном углу, где читать приходилось напрягая зрение.

В одиннадцать часов свет погас, и, не успев оживиться, все разошлись по своим кроватям, но только улеглись, как свет сам собой зажегся. Тогда решено было его выключить, настроение сдвинулось уже в сторону храповицкого. Выключили. Молодой человек в темноте остро слышал запах водки и вкусной дорожной еды, он совершенно

случайно, по небольшой временной гордости, отказался, когда его пригласили, а второго приглашения не последовало, и засыпал теперь голодным.

Затопали на крыльце, обивая с сапогов грязь. Пришел еще один постоялец, бесцеремонно посветил фонариком по койкам, высветил свободную, разулся, спросил желающих выпить. Молодой человек в ответ саркастически ухмыльнулся в темноте, остальные просто промолчали.

Немного погодя булькнуло, на слух, из чекушки, захрустел малосольный огурчик, потом еще булькнуло, почавкало колбасой, вспыхнула спичка. В пятнах света и глубоких теней возникло странное лицо, будто волшебник на миг вызвал его из привычного небытия или, на худой конец, ловкий фокусник-гастролер, работающий с какой-нибудь говорящей головой, хитроумно высветил в щелястой темноте плохонькой провинциальной сцены лицо своего помощника, поразил, удивил и снова спрятал его от зрителей.

Успокоительно потянуло колеблющейся плоскостью по самой середине комнаты запахом «Беломора».

Еще немного, и создавшаяся, кем-то подготовленная ситуация могла бы погибнуть в самом зародыше, недосоздавшись, не созревши и не разрешившись, задохлась бы во всеобщем храпении — даже нервный молодой человек уже успокаивался и начинал подремывать, — если бы новый ночлежник не заговорил вдруг в темноте, как потусторонний дух, и не рассказал бы неведомо кому, неведомо зачем детективную историю, прервавшись, однако, в самом ее начале риторическим вопросом: «Извиняюсь, спать никому не мешаю?»

Молодой человек тут же ответил за всех с ноткой противоречия, каковую от рождения, видно, имел дар подпускать ко всякому слову своему и ко всякому своему дыханию:

— Нет, почему же, пожалуйста!

3

«В Задуваеве вдова жила, без мужа. Это двести пятьдесят километров по Сибирскому тракту. Звали вдову Суетиха. Муж ее, Кондрат Степанович, перевернулся с трактором, лесом его жмякнуло, он и помер, поболевши. Кондрат помер, и пошла Суетиха по рукам. Без мужика,

понятно, сорвалась с цепи, закрутилась. Дом у них был просторный, новый, высокий, с подклетью на российский манер, потому что сам Суетихин был из России, и у них там, в области, если кто бывал, такие дома ставят, двор обязательно крытый. В Задуваеве у нас много народу сборного, сибиряков даже меньше. Все удивлялись: зачем так строишь, Кондрат? Работы сколько, и лесу пропасть! Корове, говорит, лучше, тепло, снегу во дворе не лежать, не чистить снег-то. А сырости летом не будет, если закрыто? Летом и чистить надо, зато и мух не будет, слепня, паута, овода. Чистота — залог здоровья. Соглашаться с ним соглашались, но сами не перенимали. Сеновал к дому пристроил вместе со стайкой, прямо корове сваливать, торнул вилами, и все, не то что у нас, каждый навильничек через весь двор переть надо. Он смеялся все: Сибирь, мол, ле́са — как грязи, можно сказать, и что же вы, товарищи, с таким лесом и такие избенки ставите? Просто грех вам, товарищи, или вы вербованные какие? Как у Сеньки Семенчика, немного лучше! Семенчик — он все лето дровишки пилит с бензопилой, чурки городит круг огорода, круг дома, аж до бани баррикаду возвел! Вот его Кондрат и зудил: «Почо, мол, Семенчик, столько лесу переводишь, поту проливаешь, денег переплачиваешь? Ведь изба у тебя объему в десять раз меньше, чем ты дров напроворил, листвягу!» А Семенчик на западный свой язык отвечает, поскребши в затылке, и, между прочим, молодой человек, а уж летом в зимней шапке ходит, как дедуся:

— Да кто его знает, замерзну...

— Как замерзнешь?

— Да хату, — говорит, — скрозь продувает. Улицу топим.

— Хату и ремонтируй!

— Нет, — отвечает.

— А что нет?

— Да кто его знает, поедем в другую область, заработки там есть.

— Четвертое лето в балагане живешь, а на спор, так и еще лет пять просидишь! Отремонтировать — разве на дорогу деньги брошены, больше за хату возьмешь при эвакуации.

— Да кто его знает, попиляем...

Вот, значит, как жили. Стыдно сказать, есть которые хайрюза на воде жарили, масло экономили. Это свиньям

лучше отдать, чем такую рыбу поганить. Семенчик тот же. Да что говорить! Но вот Кондрат был не то. Мужик! Он бы сто лет прожил, но непредвиденный роковой случай его подкосил, бревнами задавило. Тут хоть Кондрат, хоть кто. Суетиха же пела в клубе, все слышали. «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов...» Голос у нее разгульный, похабный, но действовала, змея! Прелести в ней много. Кондрат там и шоферил. «Когда АМО Форда перегонит, тогда Раечка будет твоя!» Ее и звали Райкой, все сходится, совпадает. Про себя, значит, пела. Бесстыжая баба. Кондрат и страшный мужик был, да мышь копны не боится. Для нее у нас хладнокровное житье было после тракта этого Чуйского. Наших баб в глаза презирала: утки, мол, и все. Пела, танцевала хорошо, пила. Купалась исключительно нагишом. Кондратом хвасталась перед бабами. Откровенно, дескать, не перепашешь его. Дар у него, значит, был на это дело. А за что же, мол, бьет тебя? Неверная ты ему? А, говорит, он много хочет, а у меня еще больше остается! На руку дерзкая была, дралась с бабами за всяко, и вдовой стала — не присмирела. Но тут не то, бабы коллективом против нее. То в очереди поколотят, то на улице. Белье полоскала в речке — и ее избили, и все стираное в грязи изваляли. Она белье грязное в таз сложила, идет потрепанная, блатные песни назло поет. «Если увидишь вора молодого, то передай, что в тюрьме умерла. Значит, он воровал, воровала и я». Гладкая баба, подобранная, живот как у девки, будто не она рожала, а тетя. Наши-то бабы, что правда, то правда; чулки какие-то старушечьи наденут, штаны из-под подола видны, а еще губы накрасит иная! Вот она я! Новое опять же наденут на гулянку, так коробом и стоит.

Кондрат за нее человека убил. Бежавшего зэка. Зэк этот затем и бежал, чтобы Райку зарезать. Приехал, нашел ее, за измену резать, значит. А у нее Кондрат в это время ночевал, она уже жила с ним, как с прочими, конечно. Зэк говорит: уйди, дескать, мужик, я вор в законе, твоя жизнь мне не нужна, но одно твое сопение — и пар из тебя выпущу. Ну, начали драться. Зэк был с ножом, да что тут нож, человек, видимо, закурившийся, исколовшийся, и жизни в нем было вот на эту драку. Но терять ему было нечего, а это и есть самое опасное. Он пришел за попутчицей на тот свет и, конечно, не ожидал, что кто-нибудь ему встречь пойдет. Особенно если крестьянин,

так сказать, простой человек, «мужик». Это у них специальное для нас слово. Но Кондрат! Он как был в белье, так и вступил в драку, да не на жизнь, а на смерть. Выпинал вора в коридор, изрезался. Всем бил, что в комнате под руки попадало. Она же не крикнула, а другую взять? Другую бабу? Что было бы? Первое дело — кричать и за руки хватать! В коридоре висел огнетушитель. Кондрат и поймался за него. В больнице он долго лежал, порезанный был сильно, едва спасли. Дали ему для соблюдения порядка пять условных. Надо было за милицией бежать, а не убивать насмерть огнетушителем. Ну ладно. Долго ли, коротко, только приезжают к нам студенты из ветеринарного института. Студент, значит, и студентка. Давай они друг к другу ходить, опытом делиться или другой какой предлог, как это делается у нынешней золотой молодежи, только гуляли они так, гуляли, и все через нашу Задуваеву. Ну, студент ее водил с намерением, понятно, лесочек там, то да се, надеялся, уступит. Это уж становится понятным все на выездной сессии. Прихватила их непогода да темень, ночевать надо после кино. Они к заведующему фермой, тот направил их к Суетихе. У Суетихи студент выпил, ничего у него с подружкой не получилось, и он уходит на сеновал спать. Это, разумеется, Суетиха приспособила. С целью. Студентку положила на свою кровать, а сама ушла — под видом к соседям поболтать. В доме остается итого: детей трое, маленькому два годика, и старуха, Кондратова мать, глухая, старая, обычная древняя старушка. Суетиха, правду сказать, старушку содержала. И с ними эта девочка-студентка. И что же получается, как ведет себя эта девочка, когда жизнь поворачивается? Просыпается она в минуту опасности! От дыма задыхается! Кинулась в двери, на дворе — он же крытый — сеновал, там все в огне! Море разливанное; в дверь дохнуло, челка, ресницы, брови — все сгорело, лицо полопалось. Огонь гудет! Другая бы в окно и на волю, а она? В спальне табуреткой окна начисто вынесла. Двоих детишек вытолкнула в окно, изрезалась вся. Третьего искала еще, пока нашла. Детей, значит, спасла, и ладно. Нет, ей старуху надо спасать! Старуха-то древняя, никудышная совсем, а топорщится сдуру, за сундучок свой хватается. Тут проваливается балка и часть потолка. Девушка выкинулась в окно. Старуха, между прочим, невредимая, вылезла с сундучком своим, откуда что взялось, непонятно. Целехонька! Только зря трудилась бабушка, через десять

ден и померла. Девушка пришла в себя на руках у людей, обвела это всех глазами, как спящая царевна, и спрашивает: «А где Володя?» Студент-то! Нету студента! Тут-то и закричала Суетиха: «Сгорел парень!» За Суетиху: ты игде была? Дурочкой прикидывается, спала крепко! Да где же, спрашивают, ты спала-то, где спала? Молчит. Но тут становится все ясно. Иннокентий Косой, конюх-то, жену свою тащит. Она и есть виновница. Не нашла она Кешку дома, сознается, пошла следить. Куда? Известно, к Суетихиному дому. Слышит, на сеновале сопят, играют. «Не стерпела, — говорит, — я в уме от ревности помешалась и пошла домой». И что утворяет? Угольков из печки нагребла в ведерко детское, поднесла и запалила. Домой вернулась, и спать легла, и заснула, ангелица! Сено у Суетихи было хорошее, как шваркнуло! Свидетели успоряли, дескать, дыма не было видно. Это потом дым, пламя. Сначала невидимо полыхало под крышами, наполняло жаром. Пока сено горело, дом с виду как стоял, так и стоял. Ну, а на сеновале-то оказался не Кеха, а студент. Вот каверза какая! Пока поджигательница за угольками ходила, Суетиха к ее Кешке убежала от студента. Ну, а вы как же, Суетиху спрашивают, не провели и трех часов - они время-то высчитали, да под одной кровлей! Как вы объясните свое поведение? Суетиха тут и замочила: «Полюбила, и все!» Все тут на Суетиху поднялись, чего только бабы не кричали ей, проститутка, кричат, мокрогубая! Просто озверели женщины. Мужики сидят молчат. Суетиха оказывается перед судом ничем не виноватая, а Иннокентиеву жену судят и срок дают. Суетихе же дом возместить, погорелица. Иннокентий к ней — принимаю с детьми. Она ему отказывает и переезжает сюда. Она же натворила, и ее же как щуку в море. Иннокентий-то Косой тоже Задуваево бросил, в Нижнетавдинск переехал, в свиносовхозе работает, опять конюхом. Жену его выпустили, пересмотрели что-то. Мы вот как-то недавно с Семенчиком в лес ездили. Уж до чего верткая баба! Семенчик-то мне признается, говорит, имел с Суетихой! Между прочим, опять дрова заготовил, всю деревню вытопить можно, вот уж трудолюбивый! А я у ней все же спрошу, неуж и Семенчика допускала? Вполне может быть, такая уж баба, ни стыда и ни совести! Когда ее на доску Почета повесили за хорошую работу, такую прическу навела, артистка. Но ей бабы все глаза повыкалывали на портрете. Колдовство на колдовство. Гвоздиком».

4

— Настоящая вендетта! — горячо откликнулся, изготовившись к спору, молодой человек, с университетским образованием.

Гостиница молчала.

Потом на койках дошло, заворочались, заскрипели пружины, и кто-то сказал:

— Время позднее.

Судя по голосу, исходившему от грузного, с одышкой тела, сказал это районный работник.

— Что же, разве у нас не может быть вендетты? Разве только южные народы обладают горячими чувствами? И мы не уступим какой-нибудь Сицилии!

Районный работник, уловив явно к нему относившуюся ноту протеста, звучавшую в словах молодого человека, сказал неожиданно властным, без хрипоты и одышки голосом:

— Давайте-ка баиньки, товарищи. Время позднее. Завтра всем на работу.

— Странные окрики в общественном месте, — ядовито сказал молодой человек. — Может быть, нам поспорить хочется, подискутировать. Верно, товарищи? Ведь правда же? Как так, рот затыкать? Не пойдет! Предлагаю высказаться, кто имеет слово!

Тогда все окончательно замолчали.

Через некоторое время в темноте раздался сдерживаемый смех рассказчика, придержавшего эффектный поворот, как принято у мастеров детективного жанра, до эпилога:

— И этот дом непременно сгорит. Не сегодня, так завтра. Помяните мое слово, кто из нашего района или области. Тут на ночь не раздевайся, а разувшись — клади сапоги под голову!

— Это почему? — возразил молодой человек, потирая зудевшее после очков переносье.

— А посудите сами, если она — заведующая этим самым домом приезжих и живет вон за стенкой!

Молчание стало осмысленным.

— Что ж ты, скотина, треплешься о человеке? Может, слышно там? — сказал огорченным голосом районный работник, — видно сон ему сбили, и он приготовился к бессоннице. — Вот ведь попадется болван!

— Мы не болваннее некоторых, — без обиды откликнулся рассказчик, — а только по делам коту и кара!

— Дураки, дураки, — нежно вздохнул заготовитель, привычно имея в виду народы и массы, с которыми ему предстояло назавтра работать, соблюдая начальственный авторитет и скрывая похмелье.

— Дураки не дураки, спокойной ночи, приятного сна, желаю вам видеть осла и козла!

— Видно, и ты там вертелся, да не тебе козыри шли, — высказался второй заготовитель. — Вот и позоришь.

— Народец,— возразил молодой человек,— народец! Тут, можно сказать, трагедия!

— Трагедия, чистая трагедия, — живо подсунулся, соглашаясь с умными словами, тот заготовитель, который был понежнее.

— А все-таки нет. Нет тут никакой трагедии ровным счетом! — снова возразил, на этот раз уж сам себе, молодой человек, размахивавший в темноте руками. — Вот простыни в этой конюшне грязные и заведующая хамка, это трагедия. А что у нее любовная драма, это пустяки. Главная наша беда — ни чистоты, ни порядка! Взять такую же сельскую гостиницу где-нибудь на Западе, да тут бы! Белье как снег, ванны, удобства. А у нас? В туалет идти через весь двор, а там лужи... Приходи кто попало, спи как попало, с сапожищами, с водкой, с фонарями...

— Это мы-то кто попало? — спросил рассказчик.

— Вы-то, вы-то! — съязвил молодой человек.

— Э, нет, нас, задуваевских, она уважает! Боиитца!

Молодой человек почувствовал, что его снова и снова не понимают, и гордо замолчал.

5

Слышно было танцы с улицы. Кто-то пробежал по шоссе, еще кто-то пробежал, наверное догоняя. Донесся чей-то радостный смех, особенный смех, ночной, счастливый. Близко запел магнитофон. «Ши воз май вумэн...» Потом стало тише, тише, потом окончательно все стихло, — значит, было уже поздно.

Ночь была облачная, темная, окна чуть светились в черных стенах. Рассказчик оказался храпящим. От этого храпа молодой человек долго не мог заснуть, мучительно вглядывался в черноту стен между окнами, слышал, как

пахнет чьими-то ногами. Он так и заснул, не догадавшись, что пахли его собственные носки, которые он аккуратно, но слишком близко к постели повесил под пиджаком на перекладине стула.

6

Завтракали вчетвером. Рассказчика уже не было. Если бы не вещественные доказательства — по-солдатски и криво заправленная койка, водочная чекушка под кроватью, окурки и огуречные корки на стеклянном блюде, — можно было бы подумать, что пятого человека вовсе не было. Если не считать светотеневой маски, которую рассказчик показал из ладони и собрал в ладонь ночью, его и не видел никто. Был фонарик, был голос, была эта самая маска рассказчика с серным запахом, был дым «Беломора», а человека не было. Имелся явно субъективный, личный оттенок в рассказанной истории, так сказать, характер искажения объективной картины. Отношение автора к истории ловко и грубо было угадано одним из заготовителей; у других слушателей не было и охоты доискиваться — шли рассказчику козыри в игре с Суетихой или нет. Да и имеет ли это значение для общего итога? Не так ли и вся-то объективная картина бытия создается сама собой и непреднамеренно из суммы случайных и субъективных эскизов к ней, подмалевок? Для нас ли она — объективная картина вечно, беспрерывно стремящегося бытия? Есть ли такое сознание, такая панорама, что-то способное объективную картину вместить?

Пытаясь доискаться истины, силимся мы уловить ее в потоке мелькающей жизни, подобно тому, как вычитываем надписи на вагонах мимо с ревом и ошеломляющим гулом летящего тяжеловесного поезда, сотрясающего землю. И чем ближе мы стоим, тем труднее уловить смысл в мелькании отдельных букв, и вихри песка и шлака летят в глаза, и непонятная тревога всеобщего неудержимого движения сжимает сердце. Тут буквы еще мелькают, вот-вот, кажется, произойдет чудесное сложение и расшифруется надпись. А ведь совсем безнадежно вычитывать загадочную истину, если наблюдатель тоже летит в поезде, навстречу. Мелькнет и поезд-то весь, железные волны накатят друг на друга, сшибутся, гром сольется, умчится и смолкнет...

У заготовителей оказалась еще одна бутылка водки, выпили, сопроводив ее оговорками, касавшимися руководительского авторитета в глазах масс. На этот раз районный работник, с бессонной ночи совсем хмурый и опухший, опохмелившись предложенной водкой, глотнув какую-то таблетку, хрипло и отрывисто спросил нежного заготовителя, особо обеспокоенного проблемой авторитета:

— Ты кто такой?

— Варежкин. Заготовитель. Нижнеталдинцы мы, Шунгулешский коопзверпромхоз, а вас вроде видел в личность, а вроде и нет...

— Вот ты кто! Значит, высоко поднялся над народом!

И тут оба заготовителя медленно смутились, всматриваясь в свете пасмурного утра в районного работника. Молодой человек, оказавшийся у закуски (потому что чайная откроется еще не скоро, и вообще, то есть проголодался чертовски, надо же!), с уважением за братское слово посмотрел в спину тяжело поднявшегося районного работника, обдумывая тем временем что-нибудь столь же резкое в защиту заготовителей, чтобы только возразить, не упуская случая и непременно.

Районный работник буркнул что-то вроде благодарности за компанию и, взяв свой портфель с торчавшими из него газетами, потянулся за плащом старого офицерского покроя с косыми прорезями для рук.

7

— Гоните полтинники! — весело крикнул неожиданно появившийся в комнате кудрявый мальчик лет двенадцати. Выкладывая на стол из школьной сумки квитанционную книжку, копирку и карандаш, он пересчитал население и обрадованно сказал: — Получите квитанции! Как фамилие?!

Квитанции мальчик заполнял быстро, умело.

Солидный заготовитель оказался Трубенских, нежный так и остался Варежкиным, зато молодой человек с университетским образованием оказался Семипядкиным, а этого, разумеется, никто предполагать не мог. Веселый мальчик улыбнулся. Молодой человек сурово поглядел на него и повторил:

— Семипядкин! От слова пядь! Понял? Баранчик! Б-э-э-э!

Мальчик, веселый, притих, примолк.

Мальчик просто любил узнавать чужие фамилии.

— Ничего, годящая фамилия, жить можно,— сказал Варежкин,— вот у нас в четвертой роте мотопехотного полка, как сейчас помню, солдат был один. Не поверите! Принц! Старшина его иначе не выкликал — Шпринц! А мой второй номер, шутник был, добавляет: «Чуть-чуть не клизма!» Четыре года хохотали, потеха!

— А ваше как фамилие? — тихо спросил пристыженный мальчик.

Районный работник назвал себя нехотя, некуда было деться в ясных и светлых глазах кудрявого мальчика, и оказался не районным работником, а облисполкомовским, и не просто облисполкомовским, а самим, ни много и ни мало, Потаповым Александром Николаевичем. И всем стало удивительно, как они сразу не догадались, конечно же товарищ Потапов! Так подумали все, кроме кудрявого мальчика, тот написал квитанцию, подал ее товарищу Потапову и стал укладывать свои служебные вещички в школьную сумку.

Варежкин разволновался и всем видом выражал испуганную невинность и оглядывался, будто хотел убедиться, что Трубенских его не покинул в такой тяжелый момент жизни; Трубенских, принявший разоблачение товарища Потапова с тяжеловесным внешним равнодушием, в действительности медленно и грубо соображал, что и как можно и нужно сделать или сказать, чтобы из этого получилось хорошо ему, Трубенских, чтобы не дать маху, как этот лапоть Варежкин с его массами и авторитетом. Трубенских проехался по всем возможным средневысоким и средним должностям района, пока не докатился, не дошел до жизни такой, до заготовительского своего состояния; Трубенских и не то еще видывал за свою долгую жизнь! И не такие превращения!

Но больше всех разнервничался, как это ни покажется странным, молодой человек Семипядкин, ему даже приходилось сдерживать себя, чтобы не выскочить с каким-нибудь взволнованным и дерзким монологом, а монолог подразумевался обязательно дерзким уж от самой близости столь крупного человека. В голове вихрем, вихрем летели какие-то дерзкие реплики дискуссионного порядка, что-то такое необыкновенное, смелое и государственно важное. Но чтобы потом обязательно на плаху! И плаха уже совсем близко и манящe сияла впереди.

Все неловко молчали.

Мальчик вышел. За мальчиком вышел и товарищ Потапов.

— А как твоя фамилия? — спросил товарищ Потапов у мальчика на крыльце.

— Федосов,— быстро ответил мальчик и взглянул из-под ресниц прямо и ясно.

— Федосов? А матери как?

— У нас мачеха, Рая.

— А как у нее?

— У нее и братьев Суетихины.

— Мачеха вас любит?

— Любит,— ответил мальчик и насторожился.

— Скажи ей, пусть белье меняет и на работу ходит. Понял?

— Понял,— тихо ответил мальчик.— Она приберется. Нас у нее семеро, папаша инвалид. Мама Рая на всех разрывается, в двух местах работает. Надо одеть, обуть, накормить, да огород еще,— бормотал мальчик заученные слова.

— А учишься хорошо? — спросил Потапов.

— Мы все отличники,— гордо ответил мальчик и опять окинул все вокруг детским взглядом, радующим душу.

— Вот так молодцы! — громко воскликнул Потапов.

— Хе-хе-хе,— засмеялся Варежкин.— Вот так молодцы!

— Ого-го-го! — засмеялся Трубенских.— Вот так молодцы!

8

Молодой человек тем временем, волнуясь, но ловко накинув щепочкой внутренний крюк, догнал заготовителей. Недалеко впереди товарищ Потапов спускался с мальчиком Федосовым по косогору среди осенней полыни, похожей на плохо сгоревшие джунгли.

— Странный человек! Все-таки «Волгу» можно бы иметь, время, в конечном счете, дороже денег,— сказал молодой человек с добрым чувством к товарищу Потапову, вместе с ним ночевавшему в этом ужасном Доме приезжих.

— Вы ему «Москвича» посоветуйте,— засмеялся Варежкин,— спасибо скажет, однако!

Трубенских что-то соображал, но Варежкина услышал и сказал:

— У него же «Чайка»! «ЗИС» раньше был старый, как новый! Я видел.

Товарищ Потапов о чем-то разговаривал с мальчиком Федосовым, они встали на середине косогора и беседовали. Ничего не оставалось и их спутникам, они тоже остановились невдалеке и тоже стали беседовать.

— Его не узнаешь, в костюмишке, в плащике, с портфельчиком. А он везде явиться может. Бах! Я Потапов! Все лежат! — возбужденно шептал Варежкин.

Молодой человек с тоской чувствовал, что минута ушла и теперь уже не скажет он, а надо было, хотелось, тянуло сказать важное что-то! Минута ушла — и ни дерзости, ни государственной важности по предложению товарища Семипядкина...

Варежкин шепотом распевал:

— Директора «Луча» кто снял? Три тысячи рабочих. Приехал на собрание, послушал, что работяги говорят, проверил — бах! Все лежат. А Сухарева? Из Нижнеталдинского раймага? Шел мимо — видит очередь. Встал, стоит. Очередь волнуется, с задней двери, конечно, мешками прут. Скандал сделался. Сухарев выходит к народу: чего орете? Все, конечно, заткнулись. Счас магазин закрою и никому не отпущу. Потом начала все же очередь двигаться. Товар кончился. Разошлись. А он стоит у прилавка, вроде очередь его дошла. Раз товару нету, ты мне директора позови, милая. Она говорит: чего в магазине скандалишь? Сухарев услышал, выходит. Он же грубый мужчина был, Тимофей-то Викентич. Это кто, говорит, здесь вылупился? У него же в районе Николаев был, судьба и выручка, охамел, конечно, с таким прикрытием. Да я, отвечает сам-то, здравствуй! А не припомнит Сухарев-то, с кем говорит. В окно глянул — машины нету, значит, человек с автобуса. Знать тебя, говорит, не знаю, выдь из магазина! А сам-то ему и говорит: зачем ты, Сухарев, с покупателями грубишь, товар налево пускаешь? Не на своем ты месте работаешь, вот что! Поздно Сухарев-то сообразил. Туда-сюда, что вы, говорит, рази можно в вашем положении в простой очереди стоять? Так вы все нарушаете. А сам ему говорит: грустно видеть мне, Сухарев, твой образ мышления. Вот что такое поведение-то настоящего авторитетного человека. Он все время с народом и в народе. Не видать, не слыхать, бах, все лежат!



— Вот это лишнее,— сказал Трубенских.— Как хочешь, а я считаю — лишнее. Проверить — проверь. А так шататься нечего. У каждого свое положение — есть у тебя личная машина, ну и не ходи пешком, не мешай работать.

— Это почему же так? — возразил молодой человек, внутренне одобряя Потапова.

— А только нервировать людей! Разве виноват тот же Сухарев, если он его в лицо не признал? Откуда ему было знать? Ему положено знать районное начальство — он его знает! То-то и оно! Тем более нельзя относиться ко всем сразу, как к нему! Ведь работаешь-то не с единицами, а с народом! Нет, я другой стороны держусь! Жизнь прожил, слава аллаху!

9

С двенадцатичасовым опозданием к остановке под горой подъехал автобус, за рулем сидел, ожидая пассажиров, шофер — тот самый потусторонний дух, который ночью рассказывал историю Раисы Суетихиной, но его никто не узнал, да никто, собственно, и не думал о вчерашней истории. Не думал и молодой человек с университетским образованием, с ромбиком на пиджаке, мысли его были где-то очень далеко. Кстати, ромбика теперь не было видно, потому что молодой человек надел плащ — опять накрапывал мелкий, надоевший за три дня дождик.

1973

ИДИ, СНЕГ, ИДИ...

I

Люди бывают двух сортов: которые чтобы приезжали, охотились, водку пили. С ними хорошо, весело. И другие, которые не ездили бы никуда, воняли бы себе дома и сами бы нюхали. Так рассуждал про себя, притворяясь спящим, Глебыч, смотритель водного поста номер семнадцать. Есть же люди... Ездит, и неудобно ему сказать: не ездил бы ты ко мне, товарищ, а? Глебыч еще какое-то время притворяется спящим, потому что гость прокрался к столу, бесшум-

но налил и сглотнул полстакана и теперь закусывает — залез пальцами в капусту. Глебыч поворочался, покряхтел. Водка — она что, похмелья требует, с ней не поспоришь. В крови нет жадности на нее, падлу, не то что рюмки хватать, как этот позорник, тайком. Есть — хорошо, нету — еще лучше. Это с кем пить. Всю ее не переглотаешь, пропади она пропадом. Анна, уходя на работу, расталкивала, наказывала на охоту не ходить, а чурки колоть. Зима скоро. Чурок на дворе — гора до неба. По дому болтается совсем незнакомый тощий мужик в трусах. Глебыч вспомнил, что зовут мужика Николаем Сергеевичем, а работает он в городе, в сельхозинституте, страшенным начальником. Студентами командует. Рассердится — может из института вышибить.

Гость уже явно повеселел, притопывал, бормотал: через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два! Говорить ему трудно, зубы очень длинные да в три ряда, поэтому, наверное, и поет такие простые песни. Вчера пропел раз с десять этак-то, и рога в угол. Но, хочешь не хочешь, вставать надо, завтракать надо да скорее в лес, и, покашливая и покряхтывая, Глебыч стал изображать подъем от молодецкого хмельного сна.

Позавтракали кое-как и пошли в лес. Сразу договорились: этот пойдет по реке, раз ему так хочется, а Глебыч по гриве. Сначала же Глебыч спустился к плотине, ему за это деньги платят. Он обошел свой объект, все было в порядке. Внизу по зеленому от водорослей сливу гнулась, а не текла гладкая, как стекло, полоса воды. Собачки тоже посмотрели вниз. Понимали бы чего.

По гриве Глебыч прошел с километр, и собаки залаяли, опять возле старых нор. Мимо не пройдут. Целый городок нарыли барсуки и лисицы. Собаки там весь день могут протолкаться: запах сильный, манит, а ума нету понять — бесполезное дело. Глебыч повернул к старым норам, чтобы напинать собак, но лай стронулся по направлению к оврагу, а это уже совсем другое дело. Значит, крутят кого-то. Енота, наверное. От норы его отрезали, а убежать не может. Сейчас задавят. Они с енотами быстро.

Соображая про енота, Глебыч все поддавал и поддавал ходу, но два выстрела сразу сбили в нем все волнение. Тук! Потом еще — тук! Так и есть. На поляне стоял Николай Сергеевич и шевелил енота ногой. Глаза у енота закатились, на зубах, на прикушенном языке, в ноздрях

кровь. Лысоватые грязные пашки светились целебным жиром. Собаки нюхали енота, скулили.

— Слышу — лают! Рванул изо всех сил. Едва успел! — На длинном лице изображалась неуклюжая радость.

— Куда он от собак денется! Живьем берут — и в мешок, чтобы шкуру не портить. Жмурится, и все.— Глебыч достал два заводских патрона с пятеркой и протянул Николаю Сергеевичу.— Охотничий порядок знаешь? Потратил на моего зверя — получи.

— Ну, нет, Глебыч. Я его жене на шапку подарю.

— Собачки добыли енота. А так бери, если совесть дозволяет.

— Я стрелял, значит, зверь мой. Может, он убежал бы, тогда как?

— Пусть бы бежал. Твое какое дело? Зачем в чужую охоту лезешь?

— Брось, Глебыч. Ты себе другого добудешь. Мало тут енотов? Почему ты такой куркуль!

— Еще разобраться надо, кто куркуль.

— Ты это о чем? — весело сказал Николай Сергеевич. Сильно приходилось ему растягивать свое лицо, чтобы проталкивать через частокол зубов слова.— Может, тебе чего надо? Плохо живешь?

— Не по справедливости.

— Вот в чем дело! Я сначала не понял. Тебе енот — справедливость, мне енот — несправедливость. Браво, коллега! Здоровый взгляд на вещи, главное, простой! Ты, братец, демагог! Демагог!

Демагогом Николай Сергеевич окончательно сбил Глебыча с позиций. Наглость, известно, второе счастье. С большим человеком не поспоришь. Глебыч заругался на собачек крупным матом, косвенно относившимся до Николая Сергеевича, и развернулся домой, прямиком через овраг. Дрова колоть.

Но, как говорилось в детстве, хлюзда на правду наведет! Собачки в овраге взяли след и погнали с голосом. Забыл сразу Глебыч и длинного гостя, и енота. Верный лаз был в вершине оврага. Только успеть! Уж собачки дело знают! Уж они зна... Светлым огнем замелькала лисица. Прислушиваясь и озираясь на собак, не замечала охотника. Пробежал живой огонь по жухлой осенней траве, через кусты, через полынь. И не быстро, даже не спеша, а не успел Глебыч, от изумления и радости замешкался. Снова мелькнула! Глебыч выстрелил навскидку. Снова появилась,

подволакивала зад. Еще раз, есть! Тут и собаки подлетели.

Глебыч покурил, поглядывая на лисицу. Чтобы не пачкаться в двух шагах от дома, сунул лисицу в полиэтиленовый мешок — и в рюкзак.

Не будь бы шума, разговоров, стрельбы, колготни, лиса смирнехонько пересидела бы, ушла бы тихонько в нору. Голоса, стрельба, туда-сюда завертелась, хоть и не касалось ее это происшествие, и попала к собачкам. Вот как в жизни бывает, одно с другим сходится. Одного забоишься, порск, а на другое налетишь.

Глебыч подвесил лисицу за заднюю лапу на перекладине между забором и сараем. Молодая самочка. Лисы в эту осень крепкие, здоровые. Мышей много. Хорошая у них нынче жизнь. На следующий год их еще увеличится. Приплод дали сильный. Глебыч сделал поперечный надрез от ноги к ноге через пашки, пыром. На лапках обрезал кожу. Два-три года назад все лисы сплошь были в коростах, в болячках; добывая, он сжигал их на костре, уничтожал заразу. Просто загляденье, с жирком. Еще тепло на дворе, а уже выходная, с хорошей мездрой, все честь честью. Ранняя будет зима. Он бросил шкурку на перила терраски. Пусть этот полюбуется. Интересно же, как он в глаза глядеть будет? Тушку отнес за забор, подальше на свалку. Здесь валялись битые сороки-вороны, в полыни кругом перья. Расплодились до невозможности. Беда от них. Гнезда, птенцов, все растащат вредные черные твари. Просто хоть не живи!

Глебыч, где может, заступается за слабых, за добро. Лисья тушка пойдет на приманку для сорок и ворон. Пара-тройка попадется на мушку. Житья от них не стало порядочной птице. Налетят стаей, закричат, закаркают! Глупая тетерка с гнезда спрашивает: «В чем дело? Что за паника?» А вороны с сороками ей: «Живешь ты неправильно! Вот у нас в роще с утра собрание, шум, гам! Все общежитие поднялось! А ты в стороне, стыд, срам! Единоличница! Смотри, сколь несправедливостей на свете! Мы вон своих-то детенышей покидали на березах, не больно бережем, за общественное пластаемся! А ты, кулацкое отродье! Сидишь, яйца паришь, до сестер, до братий тебе и дела нет!» Ну, тетерка не выдерживает, соскакивает: кудах-кудах! Давай тоже по лесу шарахаться, добрым людям мешать. Общественница! Сороки да вороны черной стаей на ее гнездо напустятся, вмиг яйца переколют, детеныши вывелись — порастащут, по кустам рвут, глотают... Тетерка глупая

прилетит, запыхавшись: «Весь-то лес я облетала, всюду-то я побывала, кому могла — помогла! Ахти мне! Где же деточки мои, где же яички? Вы не видели?» — «А ты бы, — вороны ей отвечают, — умней была бы, занималась бы своим делом — тогда-то справедливость и торжествовала бы! То-то! Свое дело сначала путем сделала бы, как уж тебе бог судил, а не в свое бы, дура толстоперая, не совалась бы! Вот тебе и весь сказ!..» Тетерка в слезы, а они, и силой в случае чего, со всех сторон давай ее, сердечную, трепать, дергать, шиньгать. Благо, велика, сожрать не могут, но от дела насущного отвлекают. Не вытерпит щипков-толчков, шума-гама, улетит через лес за тридевять земель, справедливое царство искать. Ну, а лисичка с ними заодно. Тетерка ведь дура, на полу цыплят высиживает. Те-то, хитрые, на ветках. И потом, ведь они-то всё есть могут, а она нежная, зерном да березовой почкой питается. Опять же гибнет много от протравленного зерна. Куда ни кинь, всюду клин. Так что жить-то ей особо не приходится рассчитывать.

Глебыч взял колун, подкатил и поставил на попа чурку. Колол он дрова в охотку и с перекурами, а в голове у него сороки совсем затуркали тетерку, осиротевшую без детей. «Вы же общественное защищать звали, а сами!..» — упрекает тетерка. «Звать-то звали, — сыто порыгивают сороки-вороны, — а у тебя ума-то нет совсем? Мы звать-то звали, а свои семьи, деточек, порядочек свой соблюдали! Так-то вот! Кыш! Пошла! Дура! Или ты не знаешь, что дураки из робких наглым и умным даны на пропитание! Жись-то, она вот в чем! Да что с тобой, бестолковой, разговаривать!..» Зашумели, улетели. А тетерка сидит в траве, шею вытянула, вспоминает, какие пестренькие могли быть у нее цыплятки. Точь-в-точь как в прошлом году, тепленькие...

Дрова были хороши на диво. На перилах висела новенькая лисья шкурка! Полноволосая, красивая, и небольшенькая, а уж такая славная... Удача есть удача! Пусть этот посмотрит. Ках! Одно удовольствие дрова колоть. Ках!

Николай Сергеевич пришел из лесу, постоял, посмотрел. Ках! А Глебыч дрова колет. Ничего не замечает. Стоит тут кто-то? Пусть себе стоит. Прошел в дом. Шкурку будто и не заметил. Да иди ты на фиг! Ках! Как не заметить. Глаза-то есть? Есть глаза. Ках! Что же я, в свой дом не зайду, если там этот? Мало ли что мне в до-

ме надо! Мой дом. Хочу и просто так зайду — посмотрю. Глебыч бросил топор и пошел в дом. Этот лежал на диване и читал газетку. Как быть дальше, Глебыч не особенно понимал. Вот дрова — дело понятное. Поставил — ках! Поставил — ках! Я тут живу, я тут и дрова колю. Понял? Ках! Вон оно что, отваливает! Читал, читал, не вычитал что бы такое сказать человеку. Весь он здесь, с ружьем, с рюкзаком. Неудобно стало даже при большой наглости. Ках! До свиданьица! Ках! Наглость не наглость, понял! Похромал как побитая собака. Шкурка еноточья в рюкзаке. Чужая, между прочим, шкурка-то. Ках! Попроси добром. Жена, мол, заказывала на шапку. Да без разговоров. Я зарплату с пенсией не проживаю! Ках! Не из последнего емпью. Еще культурный человек. Верно или нет, что кандидат — это как профессор. Наговорит! Семь верст до небес, и все лесом. Ках! Я, может, и не кандидат, а в своем дому тоже хозяин. Ках! Лег, понимаешь мне. Газету читает. А я сам лягу. Бутылку ставит и думает. Ках! Только грязи в дом натаскает. Я сам тебе две поставлю, если ты человек! Ках! Это же понимать надо, чьи собаки поймали — того и енот. Ках!

Вечером Глебыч с Анной сидели у телевизора. Пили чай с колбасой, с рюмочкой.

— Уж если так надо — попросил бы. Неужели бы ты пожалел? Не верю! — сказала Анна. — Не понимаю я таких мужиков. Другое дело — бабы. Мы народ мелкий, завистливый.

За то, чтобы Анна так им гордилась, так говорила и думала, Глебыч не только енота, а все остальное, что ни есть на свете дорогого, отдал бы не глядя! А сколько с ней прожито тяжелой жизни! Он хмыкнул, полез за папиросами. Анна схватила и спрятала пачку за спину.

— Хватит! Доктора что велели? Два мешка рудничной пыли у тебя, а не легкие!

Анна была права, а у Глебыча в сарае был припрятан «Беломор», и потому он не особенно сопротивлялся.

— Его жена, поди, любит! — засмеялась Анна. — Да еще зубы в три ряда. Как такую длинную чучелу любить?

— Так он культурный, — усмехнулся Глебыч, радуясь на Анну.

— Культурный! Ой, не могу!

— Через тумбу раз, через тумбу два...

Анна так смеялась, что слезы выступили у нее на гла-

вах. Столько прожито, дети внуков понаделали, а рассмеется — как девушка.

Укладывались спать, когда в вольере завыла Найда.

— Выйди, посмотри, — сказала Анна. Она была уже в рубахе, босиком на коврике, заплеталась на ночь.

— Чего ее разрывает? — Глебыч стал искать папиросу покурить перед сном, нашел и стал искать спички.

— Да иди же глянь! Твоя подруга в голос воет.

— Ну их! Опять ежика катают, заразы.

Глебыч закурил и вышел в темноту на крыльцо. Найда совсем зашлась, его услышала. Что-то не так. Он осторожно в темноте обошел дом, глянул за угол на сарай, куда бросалась Найда. В непроглядной темноте засветились глаза. Вон оно что! Лиса Патрикеевна! Эх, обернулась, стоит. Глазки светятся. На падаль приходила, не иначе! Свою родню жрать. Аферистка! Ну, я не я, скараулю!

II

Глебыч по вечерам одевался потеплее, брал свое неизменное ружье и лез в засаду, на чердак.

— Отец, опомнись, — смеялась Анна. — Она больше и не думает приходить, а ты воюешь!

Глебыч даже прорубил новое окно на чердаке, в сторону сарая чердак был наглухо зашит. Прорубил дырку, просунул пилу и вырезал кривое оконце. Открылась целая картина. Вроде и то же самое место, а все оказалось по-другому. Далеко было видно по вершинам молодого островерхого леса: границу старой вырубки и ровную линию просеки. На просеку и садилось солнце. Без окошка оно садилось на ближние старые сосны. Можно было специально прорезать тут окошко, чтобы установить, куда в действительности садится солнце, чтобы посмотреть на лес и на водохранилище с высоты и порадоваться. Лисица не приходила уже недели две. У Глебыча терпение быстро иссякло. Не любил он, чтобы зверь обманывал. Ты поводи, ты похитри, сколько положено, но человеку уступи.

Сегодня он отсидел уже с час. Было темно. Слышно было концерт по телевизору. Далеко в лесу, где дорога, мигнул свет и пропал. Через четверть часа еще мигнул, еще. Значит, машина, и едут на ней охотники. Вот оно как, незаметно и сезон начался. Длинные лучи метались по лесу, между вершинами, укорачивались и, наоборот,

удлинялись до бесконечности и, не находя, во что упереться, рассеивались в небе среди звезд. Машина подъехала, заливая плещущим светом то дом, то лес, по плотину, бросая лучи на черную густую воду и дальше, на лес на той стороне.

— Глебыч! Эй! Глебыч! Анна Дмитриевна!

— Я на чердаке, — сказал сверху Глебыч.

— Зачем?

— Тебя вот не спросил, Петр Митрофанович!

— На чердаке он живет теперь, понятно вам, а? Ты что, вешаться полез? Тогда слезай! Отменяется.

Охотники внизу смеялись и кричали всякую ерунду. Известная была компания. Те еще зверогоны. Пошла, стало быть, охота по лосям.

— Ты слезешь или нет? Слезай немедленно!

— Лицензии привезли? Иначе и слезать не буду, и в дом не пущу. Браконьеры!

— Все ладом, Глебыч, не боись! Власть кругом наша! Советская!

— Ну ладно, раз лицензии — придется слезать. Погоди, а водки привезли? Однако забыли в городе?

— Как же без нее, без матушки! Душа, чай, христианская! — гудел, обнимая и целуя Глебыча три раза, толстый Пиджаков.

— Ну, тогда ставь машину к плотине, на старое место!

Глебыч не разрешал, чтобы машины стояли поблизости от дома. У плотины он соорудил стоянку, там у него под брезентом и мотоцикл, и бочка с горючим вкопана, там красный щит с красным топором, красной лопатой, красным ведром и тоже красный ящик с песком. Кругом лес, сушняк. Недоглядеть — ни леса, ни дома.

Выпили по первой, и гости сразу раскричались. Спорили о чем-то возвышенном: видно, по дороге еще выпивали и сцепились.

— И тогда судьба пусть вычтет из жизни, но чтобы мы не знали! — соглашался с судьбой Медуха. — Это будет неведомый налог на счастье. И все будут спокойны с этим допущением. Будут верить, как в бухгалтерию. Заслужил — получи. Счастливых, между прочим, никто не видел. Несчастны были даже цари. Их травили и стреляли, как волков, без сезона, круглый год.

— Счастье, несчастье. Один из больших вопросов.

— Привыкли, что большие вопросы к нам не относят-

ся, они где-то там, в успокоительном далеке, на сцене, в литературе, между корочек, как в зверинце.

— А тигр рядом.

— А тигр рядом. И пока он нас не схавает, опять же совершенно неожиданно, мы редко вспоминаем о больших вопросах в свободное от службы время, под водочку.

— С трагединкой во взоре, морщим лбы.

— Потом вдруг проясняется — а жизнь-то, а? Не удалась! Почему? А потому, что всегда чего-то главного ты не додумывал до конца.

— Никогда ничего не додумываем до конца. Живем с легкомыслием обезьян.

— Но ведь и страх додумать, что где-то какой-то бог определяет мириады судеб. Это же надо довообразить себе какую-то немыслимую картотеку, вычислительные машины. Нет, уж лучше как-нибудь попроще, знаете.

— Проще куда страшней. Без судьи-то. Один, вроде Глебыча, всю жизнь в шахте, только и выбрался на белый свет после пенсии. А другой, — Селивестров ткнул пальцем в замшевую охотничью куртку Медухи, — изучал языки, копался в классиках, защищал диссертации, баловал свое самолюбие, чего-то достигал и много о себе понимает! И что же без судьи, ничего?

— Что вытекает из этой чудовищной непоправимой разницы? Чувство вины. Ведь ни он его не обманул, ни ты, ни я! Я с другого года и уже не стоял у станка, а собирал колоски и выливал из нор сусликов, в чем и выражалась моя помощь фронту.

— Обществу нужны десять востоковедов и сотни тысяч шахтеров. И что здесь может господь бог? — миролюбиво сказал Медуха.

— Значит, извините, товарищ, на ваш фантик выпало уголек долбать и никакого утешения! — усмехнулся Селивестров.

— Кроме бога! — Пиджаков взял быка за рога. — Глас народа, к тебе вопрос. Только отвечай сразу. Что ты в себе думаешь о боге и вообще? Только сразу.

— Только сразу!

— Что бог. Бог, он не фрайер! — Глебыч обежал всех глазами, пытаясь определить, чего ждут от него мужики, не разыгрывают ли. — Он за меня, понял? А вот есть он или нет, это вас спросить. Вы ученые.

— Народ уклонился от прямого ответа!

— А почему он за тебя? — строго спросил Пиджаков,

чувствовавший себя, благодаря своему мировоззрению, ближе всех к Глебычу и, в связи с этим, обладателем определенных прав на него.

— Не за тебя же? Уж тут по справедливости, — утешил его Глебыч.

— Его не интересуют теория и схоластика! — взревел Пиджаков. — Главное для него — производственные... что? Медуха, ну? Производственные отно... Медуха, ну же? Правильно, Медуха! Главное для Глебыча не схоластика, не категория, не философия, а производственные отношения. Его с богом!

— Это вполне по-нашему!

— Воздвигли против гордых и умных, пирующих на празднике жизни!

— Драгоценная уверенность! Завидую! Архидрагоценнейшая!

— Глебыч, голубчик, дай я тебя расцелую!

— Целоваться с народом в порядке живой очереди!

— Вы меж собой целуйтесь! Я больше не пью. Глаз косить будет. Я сейчас на чердак полезу. — Глебыч был доволен своим ловким ответом.

— Минуточку! — махал руками Медуха. — Молчите все, пусть глас народа... Просим, просим!

— Бог — он не фрайер! Понятно? Я всю жизнь проработал, с малолетства! Людям тепло, энергию добывал...

— Ну, попер с газеты, — недовольно осадил его Пиджаков. — Ты от себя говори, братец! К чему тебе эти готовые слова, право!

— Не сметь! — завопил Медуха. — Газета в крови, в подсознании, это нормально, естественно! Говори как умеешь, Глебыч! Плевать на снобистские придирки! Ты понимаешь, на что ты покушаешься! Ведь ты тоже держиморда на свой лад!

Полемика устремилась в новом направлении, и про Глебыча на время забыли, а когда вспомнили, его уже не было за столом. Он гнездился на чердаке и улыбался. Славные такие мужики. Главное, свои. Но подопьют, в такую дуру лезут! Хорошо он им сказал. Снизу доносилось гудение, прорезался могучий голос Пиджакова. В лес приехали про бога толковать. Глупость одна. Головы садовые. Про это разве орут под водку? Про это надо с людьми умными, тихими. Есть такие. Только найти их — большое дело. Спросить, да не по пьяному пути...

Лиса не могла не явиться, к этому пришла их с Гле-

бычем игра-охота. Странно, конечно, было так и думать и понимать, но он знал: если сильно хотеть и ждать терпеливо, зверь будет. Придет. Или встретится с собаками, внезапно выбежит из кустов как раз там, где его ожидаешь. Так железяка ползет к магниту. Невидимые силы.

Она подошла незаметно. Вдруг включились фарочки в темноте и плывут к забору. Глебыч изумился. Происходило что-то более важное, чем случай сбывающегося желания, что-то таинственное, как во сне. Лиса шла осторожно. Встанет, постоит, снова идет. Фарочки погаснут — отвернулась. Ветер от собак, а не боится, умница, знает, что враги ее за сеткой. И ведь не голодная. Что-то другое ее тянет! Выманивает, выколдовывает, вызывает ее из леса Глебыч. Мир легко, привычно переворачивается в уме у Глебыча вверх ногами.

Он поднял ружье и потерял лису из виду. Опустил — снова увидел, снова навел. Еще могло ничего не получиться, а душа усмехалась, обмирала от пронзительной радости. Охотнички! Алкаши несчастные! Пока вы там болтали, я лисицу добыл... Это же сто лет вспоминать... Стволы сильно ходили в онемевших от сдерживаемого восторга руках, трудно было целиться в темноте! Только не промазать, упаси бог. Разговору будет! Не поверят, скажут, для понта стрелял. Была не была! Была не бы... От выстрела он на мгновение оглох и ослеп. Будто крыша с дома слетела. Огромный длинный огонь плеснул далеко в темноту. Залились собаки, забегали внизу, хлопая дверями, люди.

— Глебыч! Ты что, сдурел? Эй!

Там она и лежала. Он нашарил ее лучом фонаря в траве под проволокой. Светилась рыжим боком. Потягивалась, раскрывая маленькую узкую пасть с острыми зубками. От яркого света фонаря лиса казалась не рыжей, а белой. С крыльца его звали. Он взял ее за заднюю ногу и полез под проволоку. В темноте натолкнулся на Пиджакова.

Анна ждала их на террасе.

— Все же победил Патрикеевну! Ну, упорный! — под усмешкой Анна скрывала гордость за мужа.

Глебыч бросил лису в кухне на линолеум.

— Пока вы тут пьянствуете, — сказал он, оглядывая гостей, — алкаши несчастные!.. Это и к тебе относится, Петр Митрофанович! Да, да, не смотри! Пока вот некоторые пьянствуют, что делает настоящий охотник?

На линолеуме лежала небольшая круглая лиса, у нее был пышный круглый хвост, острое черное ушко.

— С полем, Глебыч!

— Рюмка по праву!

— Ты у нас добытчик!

Весь день гоняли, и бесполезно. Глебыч и сам расставлял, и сам ходил в загоны. К вечеру все-таки заранили двухлетка с молодыми шилистыми рогами. Глебыч видел, как бык шел на линию стрелков. Медуха стрелял через чащу два раза, поторопился, тут же лось выпер на него, на чистое, рядом как стена, а стрелять было уже нечем. Пока Медуха перезаряжался, бык иноходью ушел в молодняк, но ляжки были в крови, и на следу была кровь по обеим сторонам. Медуху материли от души. Он и не оправдывался. Дошли зверя уже в темноте с собаками. За собаками Глебычу пришлось сбегать домой. Быка нашли в посадках, он едва стоял, качался на ногах, поматывал головой на наседавших собак. На последней лежке земля была мокрая от крови.

Разделывали и стаскивали мясо к лесной дороге, уже в темноте. Несмотря на усталость, пили на крови, в машине, останавливались и выпивали по дороге, дома под печенку. Получилась не охота с выпивкой, а выпивка с охотой. Анне это надоело. Мужики были гладкие, неизработанные, а у ее Глебыча, как говорил врач, вместо легких — два мешка с рудничной пылью. Те в охотку побегали, брюхо растрясли, а ее дурачок весь больной, а туда же за ними. Всем плевать, она одна держит его на свете своей заботой, больше ей дела в жизни нет.

Анна достала матрацы, одеяла, старые пальто и куртки, шубейки давно выросших разъехавшихся детей, поснимала все с вешалки и разогнала народ спать.

Глебыч действительно ослабел: находился, да и много выпил. Но Пиджаков усиленно подмигивал и тянул на терраску. Там на бочке с водой, на деревянной крышке, стояла бутылка, две рюмки и был порезан огурец. Он заранее натащил сюда со стола и все устроил.

— У нас тут банкет! Бутылка водки и огурец! — Пиджакова распирало от смеха.

— Ну ты даешь!

— Встанешь, будто покурить, а она тут стоит, дожидается. Тяпнул, подышал — и спать. Хорошо!

— Петр Митрофанович, кто больше: кандидат или профессор?

— Профессор. А всяких разных гадов гнать надо, и все дела!

— Забавно просто... Какие люди бывают, да? Из-за енота. А если что подороже? Не артельный человек. На себя одеяло тянуть — вот и вся задача жизни. Неправильно это. Уважают его на производстве, как думаешь? Я думаю — нет! А я в шахте страшенный передовик был. Грамот этих — маленькую комнату всю, однако, оклеить можно. Я мальчиком на завод пошел. Из шестого класса. Три месяца учеником — и к станку самостоятельно. На ящике стоял, не дотягивался. Мать толкнет утром, я заплачу. Ага, плачу и одеваюсь, а сам сплю. Голод, заметь, холод. Бежим на завод с мамкой. Рабочий паек получал. А потом, после войны, — в шахту, уже на всю остальную жизнь. Здесь-то я как очутился? Начальство вспомнило про меня. Пусть, дескать, Глебыч при дневном свете маленько поживет, заслужил. Вроде ему умирать скоро надо, то да се. А я тут возьми да оживи. Вон сколько лет уже прошло, а еще бегаю по земле. Хуже нет от коллектива отвыкать. Ладно, телевизор работает — сидишь перед ним, как на собрании: увеличили добычу, взяли дополнительное обязательство, выдали на-гора... Значит, работают и без меня, берегут державу.

— Ты, Глебыч, настоящий мужик.

Они выпили и обнялись. Глебыч включил на тераске свет и вытянул руки. Руки заметно тряслись.

— Видишь? Вот Медуха толковал, судьба там и прочее. Счастливые, несчастливые. Вроде бы я получаюсь такой несчастливый! А вот как ты считаешь, счастье — вернуться живым из обвала? Сорок метров кровли обвалилось. Я рядом, в двух шагах, и остался живой. Всю нашу бригаду. Разом... Мы домой вернулись, к родным и близким, а они остались в горе. Бригадир у нас был, Петрович, запил по-черному. Неделю отлежал, побрился, приходит. Начальник шахты встречает его, заворачивает: иди, Петрович, тебе еще на неделю бюллетень. Убивался человек — страшное дело. До пенсии, конечно, его додержали. Вот тебе и судьба, понял?

Глебыч погасил свет. Его сильно покачивало.

— Помянем! — сказал Пиджаков и скрипнул зубами. Он хотел выразить мужественное сочувствие.

— Я всегда их помню, — сказал Глебыч и откачнулся от стены. — Ты думаешь, Глебычу бутылку поставь — и он тебе друг, товарищ и брат! Не-ет! Мои товарищи там, понял? — Глебыч топнул ногой в ходивший ходуном пол терраски.

Утром, мятые и опухшие, охотники рубили остывшее мясо на части, укладывали в мешки, в багажник. Уехали, пообещав вернуться через месяц еще за одним лосем. У Селивестрова был хороший лаз к лицензиям. Глебыч развесил свою долю мяса в сарае, собирался палить голову, но не хотелось заниматься хозяйством. Он лег спать и спал несколько дней. Анна будила, кормила его, и он снова засыпал. Тихо было в доме у плотины.

III

Под утро в пятницу Глебыч видит сон. Чаще сны какие? Производственные. То на смену опаздывает, в автобус лезет — протолкнуться не может, сердце обрывается, воздуху не хватает. То всю ночь тянется транспортер. Долгое падение в клети — предсмертным ужасом охватывает душу. Но тут снится Глебычу, что попал он в рай! Он об этом сильно никогда не задумывался и не готов, но в уме скоренько перебирает справки и документы о трудовых заслугах и награждениях, о ревматизме и прочих болезнях. Но, странное дело, документы эти превратились в какие-то квитанции, где остались бледные печати, а смысла нет. Поверх мелких и ускользающих подробностей Глебыча обнимает, пронизывает мягкий блаженный свет... забытая радость в поражающем чувства изобилии. От радости и переполняющего счастья он задыхается и плачет. Так вот как, узнает Глебыч с облегчением, вот что будет! Детский всеохватывающий восторг сменяется подозрительным полуразочарованием. Ерунда, ведь это просто невесомость, как в космосе!

Но свет пронизывает всего Глебыча, самые кости, их уже не тянет, не крутит боль, да и нигде не болит, и вообще тело отъединяется и тонет, погружается во тьму, а сам Глебыч всплывает в ласкающей светоносной толще. Без тела, оказывается, легко и свободно, как с усталых ног стянуть тесные резиновые сапоги, в которых отбухал смену, размотать портянки. Только в сто раз сильнее, будто весь Глебыч — одни усталые опухшие ревматические ноги...

В этом блаженном движении сквозь осязаемую толщу света Глебыч просыпается. Он чувствует себя необычно легким, чистым. Он видит шифоньер, ковер на стене, абажур, розовое одеяло, плечо жены в старенькой рубашке, поседевшие волосы на ее плече. «Нет, — усмехается Глебыч, — я еще тут. В чем же эта радость? Что все ерунда и впереди совсем не страшно? Только закрыть глаза, и можно откачнуться обратно, в сон». Он хочет разбудить жену и обрадовать: «Анна, об чем мы с тобой молчим — не страшно!» Но ему-то хорошо дурочку валять, а ей на работу!

Снег выпал, вот в чем дело! Вот и все. И свет, и все такое. А бабу можно просто испугать, покровительственно рассуждает Глебыч. Расплачется — и все, мужик умирать наладился. Шутка ли! Отмена привычного страха не дает Глебычу тихо лежать. Он встает, захватывает папиросы с тумбочки. За окном видит на траве, на сарае, на ветках липкий новенький снег. На столбиках круглые шапочки из снега надеты набекрень, будто и столбики хотят выглядеть повеселее.

Он снимает с вешалки полушубок, влезает в валенки, отваливает тяжелую теплую дверь и выходит на прозрачный чистый холод. Снежинки как хлопья света. Он курит на крыльце, думая о себе непривычно, как бы сразу обо всем прожитом в жизни, а не как обычно— о чем-нибудь одном и по частям. Думает, как о завершенном деле. Ничто впереди не пугало, не тяготило, не громоздилось необъятным темным призраком. Доступна стала внутреннему взору жизнь, будто он поднялся над ней на каком-то холме для радостного прощания. Он видел счастье, а рядом — неотступно печаль, как длинная вечерняя тень. Вспоминалось мелкое: лисы, бык с молодыми шилистыми рогами, бегущий от него через чащу. Что ни возьми, думает Глебыч, все счастье, просто нет слов, чтобы поймать его, как сетями вольную птицу.

Он бросает папиросу в снег, счастье тихо ноет в груди, он зябко поеживается и чувствует под полушубком — счастье. За мелким, недавним он видит сразу все, близкое и далекое: и своих кровных, и товарищей, лежащих в земле, погибших в обвалах, умерших от болезней; он видит всех, кого провожал с венком, и кто умер вдалеке, и кого он ходил навещать с гостинцами; он жалеет и тех, кто еще не умер и поднимается сейчас со смены, и кто спускается навстречу, и детей, и внуков, и двоюродную

сестру Настю, брошенную мужем, и ее сына, и племянника Сережу, он видит погибших ребят из бригады и всех, с кем годами работал и жил и с кем случайно встретился, кого мельком видел живущими вместе с ним в одном пласту времени. Ему их жалко. Он от них скоро уходит. Он с ними прощается.

1981

К СТАРШЕМУ БРАТУ

I

Отпуск начался не совсем удачно, прежде всего попался неприятный шофер со скоростью шестьдесят километров, гордец и молчун, а Девяткин этого не любил. Девяткин любил простых людей: лучше стерпеть грубость простого человека, чем вежливую гордость иного молчуна. Сначала Девяткин подумал, что молчит этот шофер оттого, что плохо понимает по-русски, но оказалось, что шофер по-русски говорит нормально, значит, не хочет поддержать толковище с попутчиком, несущим на себе все признаки похмелья.

Девяткин обиделся, но выкурил папиросу и позабыл. Он надеялся, что выедут на простор шоссе, выберутся, выпутаются из-под светофорной сети, накрывающей город, и шофер осмелеет, вздохнет свободно, прибавит скорость, потешит душу; но этого не случилось.

Ни на грамм больше! Девяткину казалось, что для издевки пилит шофер свои шестьдесят, угадывает настроение и — назло! Бунтовало в груди Девяткина давнее шоферское чувство, хоть, конечно, отвык он уже, сидя в складе, от машин и дорог.

После настойчивых расспросов пришлось-таки шоферу более или менее раскрыться. Родом он оказался из какого-то прибалтийского городка. Девяткин, конечно, не слышал про такой городок, переспросил раза три, даже записал на папиросной пачке головкой сожженной спички, но все равно тут же позабыл, да и зачем ему было знать, зачем помнить...

— Обгоняй этого, не бойся, — скрывая под ласково-

бабьими интонациями раздражение, посмеивался и подталкивал Девяткин.

— Зачем?

— Да ведь запросто обогнать можно!

— Зачем?

Толкуй с таким! То ли жизнь бережет этот деятель, то ли машину. Не может же быть, чтобы так въелась дисциплина в живого человека! Его обгоняют все, кому не лень, а он шестьдесят пилит, пилит.

Молчать на такой скорости было совсем невмоготу, и, хоть явно отказывался шофер разговаривать, Девяткин еще раз подсел к нему на ближнее сиденье. После длительных расспросов шофер все-таки объяснил Девяткину, почему он гонит пустой автобус из Москвы. Вез он какой-то драгоценный прибор в зеленом деревянном ящике, за прибором его и посылали.

— А я в отпуск. К старшему брату еду. Ружье везу подарить. Пусть охотится. Он мне выучиться помог. Пять лет деньги посылал, каждый месяц, это ты как думаешь?

— Ага, — сказал шофер.

— Только я все равно без образования в жизни прошел. Не пригодилось. Тоже на машине работал когда-то. Шоферил. Хорошее было время. Дави на газ, и никаких забот. Это уж потом, по снабжению, то да се. Теперь управляющим. Понял. Хорошо, говорю, шофером-то?

— О, да.

— Брат у меня — во! Голова — во, руки — во! Только пальцев так не хватает и так. А батя у нас был... это вообще. Двухпудовую гирю через ворота перекидывал, если на спор. Понял? А? Двухпудовую гирю через забор. Я его и не помню сам-то лично.

— Да. — Шофер смотрел на дорогу и, кажется, не особенно слушал.

— В войну погиб. С вашими бандеровцами воевал, — шевельнул Девяткин равнодушного шофера. — Сидели там по лесам, наших стреляли из-за угла.

— У нас не было бандеровцев, — сказал шофер. Значит, слушал.

— Ну, не знаю! Где-то там, на западе. Погиб, и все. Ваши же и ухлопали! Не было! — Глаза у Девяткина сверкнули легким психом, и побелели желваки на красных скулах, но он сдержал подступившую тяжесть похмелья и положил руку на плечо шофера. — Да ты не вздрагивай. Было, и все. Ладно. Мы, русские, зла не помним. Ладно.

Все. Я про братана тебе. Ему два пальца вот так оторвало, голову тряхнуло. А как было. Я гранату нашел, ну. Маленький еще, а он уже здоровый. Увидел. Дай, говорит, Юрик, дай мне. Взял это ее, с моими руками вместе, сдавил, мои руки отклеил да мне пинкаря! Я так под крыльцо и закатился. Он в огород кинуть хотел. Она у него чуть не в руках разорвалась. Вот так два пальца, ну и общая контузия, конечно. Не он — меня бы в куски разорвало. Юрик говорит: дай мне ее. Братан с тех пор немного того, вроде глухонемого, но не совсем. Понимаешь? Того немного! — Девяткин сильно надавил и покрутил себе пальцем во лбу. Губы у него сжались.

— Да, — сказал шофер, глядя на дорогу.

Девяткин взял себя в руки и решил молчать. Больше ни слова этому пеньку. Обычно, после гранаты, рассказывал он про то, как выучился и выбился в люди среди разрухи и голодовки, или про дружка своего — большого проходимца, с которым они были сверстниками, или про то, как теперь живет, какие доходы имеет и по каким статьям; тут он обычно привирал: всего-то и доходов было левых на бутылку в день. Рассказывал про квартиру, мебель, кухню и здесь привирал про цветной телевизор: оно и действительно, как-то хотели купить цветной, но жена отказалась. А надо бы купить цветной, все равно деньги куда-то разошлись.

Шофер молчал — помолчал и Девяткин некоторое время, но все-таки не удержался и, закрывая глаза на ощутимое унижение, заговорил снова. Скучно пилить шестьдесят километров в час.

На этот раз он заговорил про выпивку и про женщин. Этим можно расшевелить мертвого. Вспоминал, как много мог выпить в молодости, да и вчера не сплоховал — поднял килограмм водки; про женщин, сколько было по этой линии художеств, на пальцах рук не хватит, если всех пересчитать, начиная с армии. Все было. Да и сейчас еще ничего, если и не соколом, то малым воробьем, нет-нет да...

Шофер смотрел на дорогу, помалкивал, не тронули его даже подробности художеств по женской линии. Девяткин замолчал, перебрался на заднее сиденье и улегся там. Автобус был чистый, просто вылизанный, не гремело, не каталось по полу мятое ведро, не вздымались в облаках пыли резиновые коврики, не подпрыгивали на сиденьях ключи в масленых тряпках, даже стекла не дребезжа-

ли, хотя в этих автобусах они должны обязательно дребезжать по изначальному замыслу конструкторов.

— Разбудишь! — крикнул Девяткин и надвинул кепку на глаза.

Заснуть он не мог и, закрыв глаза, чувствовал эти нудные шестьдесят километров в час. Лежать на узком сиденье было трудно. Он сел и стал смотреть в окно.

На обочине обеими ногами сразу прыгала ворона. С трудом удерживая в болтающемся кузове железобетонные блоки, размахивая прицепом вправо и влево, движимый инерцией, скрыто в спуске падения, вплотную пронесся «МАЗ». А уж «КамАЗы» шелестели как ласточки. Обгоняли, летели мимо настоящие мужики. А этот не прибавлял, не убавлял.

Девяткин снова подсел к нему.

— Вон видишь?

«МАЗ» удалялся на глазах, прицеп раскачивался в отдельном от кузова ритме.

— Если бы мой автомобиль имел больше мощности, я бы быстрее ехал.

— Дай-ка мне руля, я тебе покажу, на что твой автобус способен. На нем тоже можно кое-чего сделать, за сто километров, если умеючи! — мрачно сказал Девяткин.

Шофер на это ничего не ответил.

— На дороге видно, кто как едет. Смотришь, потрухивает, выглядывает, прячется: эге, душонка заячья, махонькая! Всего-то и души! — Девяткин разжал перед глазами шофера свой кулак с вылинявшей наколкой и дунул в ладонь: — Фу!

Шофер слушал, смотрел на дорогу, скорости не прибавлял, не убавлял, но на рассуждения Девяткина о душе все-таки усмехнулся. Девяткину эта усмешка понравилась,— значит, зацепил, можно разговориться.

— Как у вас там с машинешками, ты скажи? Деньги есть, а достать не могу, очередь — не простоишь! — душевно соврал Девяткин.

— У нас тоже не очень хорошо.— Глаза шофера осветились тихим живым светом.— Весной купил. Привезли семь автомобилей. Мне позвонили из магазина. Я позвонил жене. Наша очередь седьмая. Но ведь семь автомобилей! Захочет кто-нибудь из начальства. Но я сразу поехал в магазин и купил первым.

Девяткин отвел глаза. И не слушал бы, да куда денешься. Так вот получилось с «Жигулями», в точку попал.

Можно было пересесть на другую попутку, останови, мол. Сойти на дорогу. Пусть он сам себе рассказывает про свою машину. Нужно было тут же и сойти, но ведь не станешь мелочиться и платить этому за половину дороги да другому за половину, если дороге во всю ее длину, какая она ни будь, красная цена — три рубля. Но и по любым ее частям, хоть за половину, хоть за треть — все те же три рубля. Уж так устроена русская душа. Девяткин ссутулился и стал терпеть за свои три рубля, зло глядя в аккуратно стриженный затылок шофера, а тот пилил себе с врожденной скоростью, рассуждал о преимуществах «Жигулей» перед «Москвичами», «Москвичей» перед «Жигулями», разбирал мосты и кузова, подвески и тормоза.

«Так можно и миллион километров без капитального ремонта,— злился Девяткин.— Только кому это нужно! Зачем ему «Жигули»? Что он в машине понимает?»

— Ты и на Луну уедешь, не сломаешься! — сказал Девяткин шоферу, вылезая на своем километре. Хлопнул дверью. С облегчением посмотрел вслед навсегда уезжающему автобусу.

II

Овес поблескивал под солнцем. За полем овса маленькая деревня, а дальше чернел лес — туда вела колдобистая дорога. Внизу справа бежала петлястая речка в кособоких берегах, над ней тоже местами чернел лес. Церкви, от которой поворачивать,— жена брата писала ему про церковь,— не было. Он внимательно оглядел деревню и лес перед собой — не было церкви. Но километр тот, и шоссе Н-ское, значит, ошибки нет, а церковь найдется где-нибудь впереди, за лесом.

Девяткин взял в левую руку чемодан, в правую ружье в новом чехле и спустился на проселок. По узкой, сравнительно с окружающими просторами, полосе трассы с воем, свистом и скрежетом проносились автомобили, а над полями, лесом, деревенькой господствовала тишина. Похмельная нечистота рассасывалась, выветривалась. Ощутив эту дремотную целительную тишину, Девяткин весело и кому-то в укор и как бы назло подумал: «Все-таки лучше нашей земли нету! Нету, и все!»

Шагалось приятно. Радовало ружье — двуствольное, бескурковое, шестнадцатого калибра в новеньком чехле,—

которое он вез действительно в подарок, но вместе с тем и в оплату пансиона: через неделю сюда должны были приехать на отпуск жена и двое детей Девяткина. Вез он так же порох и дробь, и капсюли с пыжами — всего на сто десять рублей с чехлом вместе. Брат просил ружье привезти, здесь оказалась очень хорошая охота, в лесах.

В этих местах Девяткин был впервые — старший брат его только что, года два как переехал сюда, в новый совхоз из Брянской области.

Идя по проселочной мягкой дороге, Девяткин от удовольствия даже запел легонько: «Когда взойдешь на Ленинские горы...»

До деревеньки он дошел быстро, и там его утешили, что будет впереди церковь, на распутье, что она маленькая, отсюда не видать за леском и кустами,— осенью и зимой сквозь облетевшие кусты видно, а теперь не видать,— и что до совхоза «Красный маяк», куда держал путь Девяткин, если свернуть от церкви правильно, отрезок прямой, никто не заблудится.

— А эта как называется? Эта-то деревня? — допытывался у бабы Девяткин.

— Какая?

— Да вот эта!

— Наша-то?

— Ваша-то!

— Да Ульяново же! — с изумлением ответила баба и засмеялась над Девяткиным.

— Не может быть! Вот тебе и на, не узнал! Две деревни и есть больших, Москва, да ваша Ульяновка! — рассердился Девяткин, не любивший, чтобы над ним смеялись.

— Ульяново,— поправила и озадаченно замолкла баба.

За деревней снова возник вопрос — баба не сказала, переходить речку или не переходить, а было две дороги, две возможности. Девяткин задумался, стоя на горке. На мосту зашевелилось что-то, похоже, что бычок, но оказалось — парень: он лежал на мосту, укрывшись пиджаком, и, когда зашевелился, показался Девяткину бычком. Парень сел, свесив ноги над водой. Девяткин спустился спросить дорогу. Парень встал ему навстречу, подхватил пиджак.

— В «Красный маяк»? — задумчиво переспросил парень.— Это в Изъялово, значит?

— В Изъялово.

— Тогда давай-ка перекурим, если в Изъялово! — сострил парень, сонно слипшиеся толстые губы двинулись в едва заметной ухмылке.

Вверху двигались белые кучевые облака, по склонам пологих холмов стояли золотые масленистые стога, чернел лес, внизу, под ногами, двигалась речка, едва слышно, но укоризненно шурша по новым неошкуренным бревнам недолговечных опор.

— Пошли, я туда же иду,— сказал вдруг парень и бросил в воду недокуренную папиросу.

— Ты вроде спал, а не шел?

— Лежал. Все равно сначала шел.

— Что же ты, шел, шел, потом лег, полежал, а теперь снова пошел?

— Засомневался, ну и лег.

Парень будто проснулся, поживее глянули с распаренного розового лица, из его сплошной рыжины, из-под толстых надбровий, маленькие ореховые глаза.

— Километра два прошли? — спросил Девяткин, когда стало видно из-за бугра церковь; куполок с обрывком жести, потом и вся она встала на краю леса; стены казались пенно-розовыми.

Парень обернулся и внимательно и странно глянул, как будто только вспомнил про Девяткина, спохватился и ответил:

— Прошли будто.

Девяткин устал, руки онемели от тяжелого чемодана, хотелось поставить чемодан на плечо.

— На-ка, возьми! — повелительно сказал Девяткин и протянул парню ружье. Парень послушно взял.— А то пустой идешь, догадочки-то нету,— примирительно и добродушно-заискивающе смягчил Девяткин.— Хорошее, брат, ружье. Шестнадцатый калибр, бескурковка, новенькое. Тут у вас, говорят, охота есть?

— Есть охота.— Парень шел впереди заплетающимся шагом, запинался о комья засохшей глины, ленясь повыше поднимать ноги; похоже было, что вот-вот он упадет, но он не падал и, должно быть, мог идти так, запинаясь и заплетаясь в собственных ногах и не падая, бесконечно долго.

— Хорошо у вас тут. Природа.

— Природа.

Парень был невысокого роста. Под испачканным, с приставшими перьями, с пятнами от белого птичьего по-

мета пиджаком угадывалась широкая спина, толстые сильные плечи и просторная здоровая грудь, сложенная из ребер, как банька из мелких бревнышек.

— Да не беги ты, передохнем.

Чемодан с каждым шагом наливался дополнительной тяжестью: очевидно, тяжесть множилась в чемодане на расстояние, и теперь давила плечо над сердцем.

— Некогда мне передыхать,— привередливо сказал парень, но остановился.

— Какой! То лежал, то сразу некогда. Что же ты, действительно шел, шел да и лег спать? — одобрительно посмеиваясь, задабривал парня Девяткин.

— Надо было — лег да и поспал, а теперь надо — значит, некогда!

Папиросу парень все же взял и закурил.

Изморенный обилием пронизывающего дремотного августовского тепла, Девяткин поставил чемодан на обочину и сел на него.

— Что-то машин нет попутных.

— Тут не ездят. Трактора, бывает, проскакивают бродом. Автотранспорт окружной дорогой ездит. Мост ненадежный, слабый.

— Что же, мост поставить не могут?

— Все собираются! — очень вдруг бодро сказал парень, и глаза его блеснули.— Ты подожди маленько! — Он перешагнул кювет и ходко полез в кусты.

— Да ты куда?

— Живот у меня,— сдавленно прохрипел парень. Он шарахался в кустах, качались вершинки ольховников, должно быть, искал место, где подальше и не по ветру угнездиться, далеко полез, видимо, из уважения к Девяткину.

— Ружье бы положил! — со смехом крикнул в кусты Девяткин.— Прямо как солдат!

«Хорошо Ваня заехал. Молодец. Одобряю,— думал про себя Девяткин, широко оборачиваясь на окрестности.— Вон красота какая: поля, леса, речка, охота, хозяйство, корова, поросенок, да хотя бы и курицы, цыплята!.. То ли дело, не магазин — за молоком не бегать. Ни тебе заводской копоти, шума, ни тебе транспорта — метро, автобусов...»

Так раздумывал, одобряя старшего брата от души, но и помня также о своей новой трехкомнатной квартире, о рыжем попутчике в кустах, за спиной, лукавый Девяткин, знавший цену собственной удаче с московской пропиской, полученной когда-то через жену. О своей новой квартире

Девяткин помнил постоянно вот уже более десяти лет: пять лет мечтая о ней и вот уже пять лет — владея. Можно было бы сказать, что для Девяткина квартира являлась уже как бы даже частью его собственной личности, того конгломерата обстоятельств, свойств, желаний, потребностей, способностей, чувств, которые Девяткин сплавлял в себе, при этом одной из несомненнейших частей, источником и основой самоуважения. Самоуважение основывалось на квартире — как на предмете и на квартире — как периоде жизни, когда он показал себя, добывая квартиру, молодцом, мужиком настойчивым, деловым, хитрым. Старшему брату и мечтать не приходилось о таких свершениях. Старший брат мог в одиночку разобрать старый дом, погрузить, перевезти на своем тракторе и собрать на новом месте, мог срубить дом из шумящего леса, только дай ему порубочное разрешение. Но в наше время это способности уже третьестепенные, как полагал Девяткин.

Лукавый Девяткин, неглубоко спрятанный в видимом Девяткине, прекрасно знал цены на все в наше время и никогда и ни за что не поменялся бы участью со старшим братом. Но ему приятно было мечтать о сельской жизни. Он где-то — в кино ли, по телевизору, или в книжках, изредка почитываемых, или у вздыхающих по деревне горожан — научился так думать, да это еще переплеталось с собственными воспоминаниями о деревенском детстве, о матери; теперь он думал так и мечтал, противясь ясной действительности, это доставляло ему блаженно-лживое удовольствие.

Рыжего все не было.

— Веревку проглотил, эй! — крикнул Девяткин, поворачиваясь к кустам.

Никто не ответил. Никого уже и не было вокруг, если не считать человека, поднимавшегося по зеленому холму к церкви. Далеко, возле церкви, шел какой-то человек, а из кустов никто не отзывался.

— Эй, товарищ! — серьезным голосом позвал Девяткин.

Ответа не последовало, но вдалеке у человека, подходившего к церкви, в руках было что-то похожее на ружье, и сам человек напоминал рыжего.

Девяткин недоуменно и зло бросил под ноги папиросу.

Человек явно оглянулся на Девяткина и скрылся за церковью! Теперь было ясно. Парень убегает, и убегает с ружьем!

Девяткин подхватил чемодан и ринулся за ним.

Проламываясь сквозь кусты по узким коровьим тропинкам, застревая с чемоданом, Девяткин бежал, но как-то не верил особенно в происходящее. Что-то в этом было непонятное и не вязалось одно с другим: шли, разговаривали, ну, ружье дал ему понести, живот у него схватило, все нормально, но ведь он уходит, убегает теперь, ружье уносит с собой.

Украл! Ружье украл!

Когда Девяткин, запыхавшись, взобрался на зеленый холм, церковь оказалась намного ближе, чем представлялось с дороги,— наверное, из-за того, что стояла на зеленом, и из-за того, что была такая маленькая. Он ждал, что теперь все как-то прояснится, что парень спрятался, например в церкви, и сидит там, дурак деревенский, посмеивается, дескать, пошутил. Есть такие шутники. Это предположение было нелепым, но не более нелепым, чем разраставшаяся на глазах действительность.

Церковь краснела обитыми сухими кирпичами, отчего издали и казалась пенно-розовой. Свод местами был проломлен. Полностью была цела только северная стена. По карнизам зеленел мох, росла трава. Стены у церкви были такие толстые, что из нее, из маленькой, можно было сложить четырехквартирный дом. Кирпич был крупный, нестандартный, древний. Строили ее какие-то нерасчетливые люди, люди прошедшие, не родня. Девяткин несколько раз обошел церковь, как потерянный осматривал ее, заглядывал внутрь. Крестик на церкви пошатнулся, как подрубленное деревце, но держался, будто сохранял трудное равновесие, балансируя перекладиной, как руками, но и можно было подумать, что опирался крестик на что-то поддерживавшее его в воздухе. «Перержавеет — упадет»,— подумал Девяткин. А на ветру, на зеленом холме, с проломами от бомб и снарядов, в щербинах от осколков, исцарапанная пулями, церковь могла бы казаться воином, чутко дремлющим в дозоре,— она стояла с грузным упорством ветерана, безмолвно снося одиночество в полях.

Девяткин еще раз обошел церковь, волоча за собой чемодан. Парня нигде не было видно,— должно быть, тот церковью прикрылся и перебежал через холм в лес и бежит теперь по лесу с новым ружьем, бескурковым, шестнадцатого калибра.

Девяткин сел на чемодан отдохнуть после бессмысленной погони за нелепым грабителем и одуматься.

С ободранного купола слетели два голубя, первой летела голубка. На зеленом поле, как на картинке, были расставлены черно-белые коровы. Девяткин оглянулся: не подкрадывается ли парень со спины, чтобы разыграть, напугать, но и отдать ружье, чтобы ударить кирпичом по голове и убить безвестного спутника и забрать чемодан. Никого не было. Просто кража, грабеж на дороге. Так это и бывает, когда грабят. Оба голубя вернулись с поля на карниз, впереди летела голубка, голубь опять летел за ней и сразу, как сел, начал ворковать на карнизе, шурша по кирпичам упругими перьями.

Девяткин встал, поднял чемодан и поплелся в сторону видневшейся из-за лесистого мыса деревни, и, как и следовало ожидать, деревня эта оказалась Изъялово, а рядом с конторой совхоза, во дворе нового барака, он увидел Нелю, жену старшего своего брата. Неля стирала в бочке комбинезон. Она похудела, но он ее сразу узнал по испуганным глазам, сразу заплакавшим, по искренней сквозь слезы радости.

Девяткин унял слезы брата и невестки, перецеловался с подросшими, но по-прежнему застенчивыми и косноязычными племянниками и племянницами, замиравшими, как птички, у него в руках, раздал пустяковые гостинцы из чемодана, поставил на стол банку с порохом, прокричал в ухо старшему брату, плохо слышавшему и плохо говорившему с самого детства еще до взрыва гранаты в руках, всю происшедшую с ружьем историю. Старший брат не очень хорошо понял, но рад был Юрику и без ружья.

Сосед Ивана Амир был здешний и сразу безошибочно определил преступника, ведь обитал во всей этой местности только один истинно рыжий человек — Семен Копеечкин.

III

В округе было население светлое и черноволосое, каштановое и бесцветное, были рыжеватые, но истинно и беспримесно рыжим был только Семен Копеечкин, человек с темным прошлым. Собственно, в прошлом его ничего особенно темного не было, отсидел за пьяную выходку два года в тюрьме, только и всего. Тогда в Ульянове был колхоз, маленький, и Семен, совсем еще мальчишка, ходил несколько раз просить у председателя Полупанова ло-

шадь — перевезти сено. Он тогда только что женился после смерти родителей — через неделю после похорон, и сам правил хозяйство. Председатель лошадь не дал и раз, и другой, и третий — нужно было по заведенному порядку ставить магарыч. Погрозился Семен, покричал, но смирился, купил водки, приготовил закуску и позвал председателя в гости. Выпивший председатель размяк и по-отечески стал учить Семена уму-разуму, а Семен слушал. Выпили еще, и тут-то Семен совершил ошибку: вывел председателя во двор, поставил его в оглобли, надел хомут, а сам же с ременным кнутом залез в телегу и сказал, что ему теперь не надо лошадь, на председателе будет возить...

Когда Семен вернулся из тюрьмы, молодая уехала в Коврово на комбинат к сестре, писала своим, что устроилась и метит замуж за солидного человека. Жить Семен стал один. За ним числилось кое-что также и из мелких безобразий и чудачеств. Совсем недавно, например, возвращаясь через реку из Никитина, он вдруг не пошел по лаве, хоть товарищи, и пьянее его, прошли, сел на бережку, смирно разделся и перешел речку рядом с лавой. Зачем, спрашивается? Ведь одежду все равно вымочил, на буксире тащил! А чтобы не упасть! Это, разумеется, мелкая выходка, но вот теперь докатился Семен до грабежа.

В пятницу братья и Амир болели, лечились, и разговору только и было что о ружье. Предполагали забраться в Семенову избу, когда его не будет дома, выследить такой момент и устроить обыск; собирались также избить его до потери сознания, а потом внезапно спросить, как на очной ставке, показав ему вдруг ограбленного Девяткина. «А этого человека вы знаете? Знаешь, падло?» Куда бы делся, узнал бы. Собирались пригласить его в гости, а Девяткин из-за занавески и вышел бы вдруг! Планов было много. Ружье, уверял Амир, никуда не денется, даже если продаст его Семен, можно будет выпытать, в какую деревню и кому, да и не должен же человек сразу пропить такую ценную вещь.

Планировалось все на субботу, но не утерпели, опохмелившись, сели на мотоцикл и поехали в Ульяново.

Дом Семена стоял без ограды под двумя объемными липами. Семен собирался уезжать в город, на какую-нибудь стройку, и подрабатывал в совхозе последние пять лет от случая к случаю, кем поставят. Он два раза был в Коврове, разбирался с убежавшей женой, но ни в чем толком не разобрался, один раз вернулся победителем, избив

жену, во второй и последний раз сам приехал в бинтах и в гипсе.

Пока ехали по грязной, разошедшейся от дождей дороге, про планы внезапной очной ставки как-то позабыли, а увидев на крыльце Семена, так прямо и подъехали к нему.

Семен дощипывал окровавленную белую утку. На ступеньке лежал, свесив головку с затянутым пленкой глазом, уже голый голубь. Дряблая синяя грудка была пробита в двух-трех местах дробинами.

Мужики подошли, и Семен всем поочередно подал руку. Подал руку и Девяткину. Девяткин пожал.

— Он? — спросил Амир.

— Он! — твердо ответил Девяткин.

— Где ружье? — спросил Амир.— Он привык к косноязычию своего соседа и угадывал по мучениям, отражавшимся на лице Ивана, болезненно рождающееся сплющенное и смятое слово.

— А де руссо! — выговорил наконец и сам Иван и потянулся к Семену огромными руками.

— Какое ружье? — Семен взлетел на крыльцо, отмахиваясь от Ивана полуощипанной уткой, а потом соскочил с крыльца и отбежал шагов на десять к сыревшей под дождями куче дров. В дровах тускло отсвечивал колун.

— Отдай ружье! — крикнул Амир и наклонился за кирпичом, лежавшим у крыльца.

В руках у Девяткина сам собой оказался кол из плетня, он отрезал Семена от амбара.

— Он тебе кто? — спросил Семен.

— Он брат заики! — ответил Амир, кивнув на Ивана.

— Мужики! Отдаю! Все! Разве я знал? Все! — Семен торопился остановить сжимавшееся вокруг него кольцо.— На терраске! Сами возьмите!

Ружье действительно лежало на терраске, на лавке, под лавкой же валялся испачканный в глине чехол.

Амир далеко бросил кирпич в рассевшуюся, взлетевшую черными лоскутами лужу. На другой стороне испуганно закрякали, выбираясь на берег, соседские белые утки.

Иван, радостно мыча, осматривал ружье, вскидывал к плечу, целил выше головы рыжего и выкрикивал в шутку: «Пу! Пу!»

Семен безбоязненно подошел к Ивану, вместе с ним

разламывал ружье. Они поочередно заглядывали в стволы. Девяткин закинул кол в картошку.

— Хорошо попадает! — Семен похлопал Ивана по широкой спине.— Утку, говорю, на пятьдесят шагов. Снаряд положить раза в два поболе, на семьдесят будет хватать!

Амир тоже осмотрел ружье, поцокал языком, разобрал, сунул в чехол и, нервно посмеиваясь, скомандовал:

— Поехали! Водку пить нада!

Семену стало одиноко, скучно под этим разбухшим дождливым небом. Мужики ехали пить и гулять.

— Тебя бить нада, смотри! — сказал ему Амир.

Семену нужно было уйти в избу, забраться в развороченную постель, где он под настроение леживал и в сапогах, но его тянуло к мужикам, к бурной веселой жизни, и он тоже полез в люльку, где сидел уже, держа ружье между коленями, Девяткин.

Наверное, Семена не прогнали бы, взяли бы в гости, и все было бы хорошо, но из-под ноги Семена жидкими шмотками грязь шлепнулась на новые светло-серые брюки Девяткина. Иван угрожающе промычал, лицо у него налилось кровью. Семен не успел вывернуться из люльки, его свалил на землю страшной силы удар Ивана. Амир подпрыгивал на стартере: увидев, что Семена бьют, завизжал, обегая мотоцикл, подскочил к лежавшему без движения Семену.

— Мала? Еще нада? — визжал Амир, распаляя себя.— Нада!

Амир подобрал по-футбольному ногу и взъемом сбоку пнул валявшегося на истоптанной зеленой траве рыжего Семена.

— Хватит! — испуганно закричал Девяткин.— Убьете!

Амир обежал мотоцикл, ровно подрагивавший на малых хорошо отрегулированных оборотах, залез на сиденье, отжал сцепление, включил передачу и плавно тронулся.

Перед мотоциклом, неторопливо переваливаясь, возвращались к луже утки. Амир мягко притормозил, пропустил уток и прибавил газ.

Трава на лугу была истоптана утками и гусями, среди обильных размокших и взбухших пирогами коровьих куч пестрели известковый птичий помет, пух, перья. Ульяново не безлюдная была деревушка: на берегу лужи давно уже стояла, внимательно наблюдая за происходящим, старуха в большом, полами до земли, черном пальто.

— Я его заделал! — воротя назад хищную маленькую

голову с седым, мотавшимся от ветра кудрявым чубом, прокричал Амир.— Я его заделал! Всю жизнь дураком будет!

Девяткину мерещилось следствие и суд по делу об убийстве. Обмирая от страха, он обернулся на Ульяново. Картина была четкая, живая: утки плавали в луже, смотрела вслед отъезжавшим диковинная старуха в черном пальто, Семен уже сидел на траве, держа обеими руками, как треснувший горшок, свою рыжую голову.

Мотоцикл заносило и даже разворачивало на маслянистой дороге.

Больше никаких происшествий не было, и пьянок тоже. Девяткин отдыхал. Приехали жена и дети. Дети полюбили дядю Ивана, не отступали от него ни на шаг. Они совсем не замечали его глухоту, косноязычие и понимали его с полуслова, а он вполне понимал их. Дети все вместе, и свои и племянники, выбегали к нему навстречу, карабкались на него и повисали, устраивая живую пирамиду, инстинктивно и беззаботно полагаясь на беспредельную мощь дяди Ивана.

С радостным полузадушенным мычанием удерживал Иван на плечах, на шее, на руках эту пирамиду из детей — детской массы набегало под два центнера. Так он и приближался к дому, с покрасневшим от натуги лицом, входил во двор и, стараясь не ушибить, осторожно стряхивал с себя детей на сено, да и сам валился к ним в кучу малу.

Девяткин с женой набрали и засолили семь ведер черных груздей, собрали неспелой брусники пять ведер. По мнению Девяткина, витамины в этой бруснике уже были накоплены. Девяткин взвешивался на складских весах, прибавил за отпуск четыре килограмма, чего в городе при нервной работе у него быть не могло. Он был доволен. Была довольна и жена: во-первых, побывали у родни, во-вторых, при таком хорошем питании обошлось на круг в два, а то и в три раза дешевле, чем в любом санатории. Больше всех довольны были дети, поправившиеся, но и избегавшиеся на вольном воздухе, в лесу да на реке. В них осталось, возможно на всю жизнь, счастливое воспоминание — деревня дяди Ивана.

1979



ПАНФИЛЫЧ И ДАНИЛЫЧ

РОМАН

СОБОЛИНАЯ ЖИЗНЬ

1

Соболюшка родила трех щенков. Она перебрала их, вылизала, съела послед и запутавшегося в нем нежизнеспособного третьего щенка. Весь день она отдыхала, а вечером пришла в беспокойство и начала перетаскивать щенят в другое гнездо, но рысь встретила ее на дороге, и соболюшка вынуждена была бросить щенка, спасаясь от гибели. С оставшимся у нее единственным щенком соболюшка ушла в россыпь.

Мох, птичий пух, обрывки мышиных шкурок, сладость материнского молока и тепла, жесткие нападения блох, клещ, набухавший в правой мышке, державшийся так крепко, что первое время соболюшка не могла оторвать его языком и даже перестала замечать,— вот признаки бытия, окружавшие щенка вначале. От клеща он испытывал недостаток сил, у него повышалась температура, но клещ надулся в крупный катыш, и соболюшка его раскусила.

2

Развивался и рос соболь очень быстро.

Осенью он уже самостоятельно бегал по окрестностям каменистой щели, по высокотравной колодистой гари и папоротниковым сырым полянам и сам додавливал замученных матерью мышей.

Однажды он нашел скопление жуков под большой колодиной между полуотвалившейся корой и осклизлым бо-

ком. Жуки скопились на зимовку. Он стал хватать жуков зубами по одному, а потом полной пастью, и глотать в спешке, едва переломав, потом стал прожевывать. Расползавшихся сонных жуков старался удержать и придавить лапами.

От удовольствия охоты и вкуса пищи он уркал и судорожно подрагивал своим гибким и круглым телом.

Жуки хрустели, переламываясь, царапали пасть и кусали соболю невзначай язык и губы. Потом они стали ему противны, он поблевал немного черно-белой кашицей, выбрался из-под колодины и поправил вкус незрелой, успокаивающе кислой брусникой.

Одним из последних жарких осенних дней, лежа в сыроватой тени папоротников, соболь почувствовал, что рядом кто-то есть. Куча земли, прохладной и нежной, на которую он устроился после того, как перегрелся солнцем на горелой валежине, оказывается, медленно вырастала. Наверху мелькали залпы зернистой земли, показывалась загребающая лапа с кривыми когтями. Потом появилась голова без глаз, с большими выгнутыми зубами. Короткая шерстка зверя была усыпана свежей землей. Зверь этот очень медленно, мелкими толчками отгребая и сдвигая землю, вылез весь и медленно сплыл вниз по насыпи.

Нос зверя возбужденно подергивался; видно было, что ему нравится наверху и тут он редко бывает, этот нос.

Ветерок сносил запахи от соболя, а крот — ветра, должно быть, не понимал — не привык к избытку запахов у себя под землей.

Соболь уже несколько раз приподнимался на пружинивших под ним лапах, желая и не решаясь броситься на меньшего по размерам зверя, бывшего, по всей вероятности, просто крупной мышью, только с непривычным для мышей запахом свежей, сырой, холодной, глубинной земли.

Прыгнув, соболь сбил зверька с кучи, успел укусить за голову, но, встретив необыкновенную для мышей силу и крепость черепа, отскочил и принял позицию обороны и недоумения.

Крот поднял вверх слепую морду и лапой поправлял укушенную голову.

Он пытался бежать, и крутился на месте, не находя пути в нору, всегда надежно укрывавшую его твердую сплющенную голову, его гибкое, мощное, умелое под землей и не защищенное на поверхности тело.

Крот уловил сквозь запах крови дыхание прохладной кучи мягкой земли, слепо повернулся к ней и опустился на лапы, но снова поднялся и закричал в страхе перед невидимой опасностью. Он наугад отмахивался от невидимого врага, защищая голову когтями, тесно сжатыми в костяные лопатки.

Соболь обежал крота, ловко схватил его за шею у самого черепа и два раза укусил.

Механически двигавшаяся костяная лопатка кротовьих когтей разорвала соболю шкуру на шее.

Побежденный наконец затих, а победитель все стоял над ним, высоко изогнувшись, и переменил боевую позу только тогда, когда крот обмяк и свернулся без движения.

Соболь чутьем нашел самую тонкую кость в кротовьем черепе, прогрыз ее и вылизал сначала небольшой теплый и жирный мозг.

Ел он крота урывками, отходил недалеко за травой и ягодами и снова охотничьей походкой приближался, скрадывая остатки жертвы, снова совершал прыжок, топорща усы, раскидывая лапы и сдерживая рычание, но, принимаясь есть, укладывался уже в уютный комок.

От крота остались только крепкие фаланги передних лап с когтями, приспособленными для рытья подземных ходов, а не для войны, крепкий пустой череп с зубами, страшными лишь для медлительных сладких червей да неподвижных и жидких под скорлупой куколок, и местами порванная, вывернутая наизнанку, мехом внутрь, спущенная чулком шкурка.

Отяжелев от сытости, соболь отправился спать к себе в дневное дупло.

Лениво перебирался он с колоды на колоду. Ему нравилось бежать по колодам, играя цепкими коготками, и он никогда не упускал случая пробежать по поваленному дереву.

В дупле он недолго мостился и заснул, не чувствуя боли от ранки на шее и укусов блох.

3

Через два года соболь представлял собой завидную добычу для охотника, мех его имел самую темную из темных окраску, а пух — самую голубую из голубых, и еще был волнистым. Это темное и голубое стоило у людей дороже пяти тонн пшеницы.

4

Когда наступила его весна, он нашел след самки и долго и настойчиво преследовал ее.

Они были очень похожи,— возможно, единоутробные или кровные брат и сестра. Ему нравилось появляться над самкой на верхнем сучке дерева, если та шла по нижнему, нравилось кричать на нее оттуда, мявгать и уркать. Он пытался прикоснуться к ней, но она злобно урчала и безжалостно кусала его.

Всю весну соболь бегал за самкой, стараясь потереться брюшком о снег или о кору валежины.

Иногда она играла с ним, если была в настроении, они катались на прогретых солнцепеках, притворно кусая друг друга за шею, она даже позволяла ему облизывать себя, но проявление настойчивости встречала мгновенным озлоблением, кусалась и пряталась от него в дупле.

5

До середины лета соболь прожил в постоянном возбуждении и успокаивался только во время кормежки, когда ловил мышей, зайчат, отыскивал птичьи гнезда и беличьи гайна, но стоило ему поесть и выспаться, как он снова вспоминал раздражающе острый, манящий запах своей неласковой подруги и отправлялся ее искать. Он даже покинул свой участок и жил в вершине ее ручья. Судя по тому, что она не изгнала его со своей территории, они представляли собою молодую соболиную семью.

В нужное время, в день и час, когда она сама захотела его найти, она появилась перед ним на галечном берегу ручья, подошла играющими прыжками и отскочила, ожидая возбуждающей погони.

Он оставил маленьких лягушат, которыми занимался весь этот вечер после теплого июльского дождя, и сразу вступил в обманчивую игру. Она убегала, а он догонял, стараясь схватить ее зубами за шею, чтобы избежать укусов.

Теперь она его не кусала, а в злобном урчании ее слышны были какие-то новые, призывные интонации.

Как только он нагнал ее и придавил лапами и зубами, она затихла и сдалась...

До самой ночи звери оставались сплетенными в томительных движениях, сопровождавшихся глухим нежным ворчанием. И утром еще они были полны нежности — лизались, ласково боролись, взаимно выискивали блох, а днем, когда измученный соболь спал, самка покинула его.

Он весело и быстро отыскал ее ночью, но в ответ на его призывное мявганье из дупла донеслось угрожающее урчание, а у него уже не было особой охоты настаивать на встрече.

Через неделю самка опять нашла своего друга, и все повторилось сначала, и опять нежность ее закончилась злобными криками и болезненными укусами.

Больше он ее не искал и покинул вершину ее ручья и вернулся к себе на старое место.

Он потом встречал еще двух самок, но ограничился тем, что прогнал их со своего участка.

6

Закончилась очередная смена меха, на месте кротовьей ранки появилась запятая из серебристых волосков, а с первым снегом соболь встретился с собакой, которая в прошлом году загоняла его и держала в осаде в россыпи. Он и теперь легко избежал опасности — залез на дерево, уселся там в развилке так, что собаке его даже не было видно, и ждал, пока эта прыгающая в бессилье на ствол кедра злобная тварь забудет о нем и уйдет.

Он даже поворчал сверху, подразнил собаку.

Вскоре появилось и еще одно, еще более крупное, для того чтобы лазить по деревьям и тонким веточкам, существо — человек.

Такого зверя соболь еще не видывал.

Человек и не полез на дерево, он издалека ударил по стволу кедра чем-то тяжелым. Ствол загудел, пронизывая этим пугающим гудением все тело соболя.

Соболь с удивлением и тревогой пробежал от ствола на другой сук, не гудевший, и глянул сквозь хвою вниз, чтобы выяснить характер угрозы.

Необыкновенный звук повторился, и сила, не учтенная рефлексами соболя, сбросила его вниз на землю.

Инстинктивно соболь упал на лапы, чтобы вскочить и бежать, но лапы больше не подчинялись ему.

Приблизилась морда собаки, он рванулся укусить ее, но не смог, и тут жизнь кончилась в нем.

— Замри! Удар! Замри!

Листья бадана, покрытые мелким снегом, похрустывали под ичигами Панфилыча. Удар держал лапой мертвого соболя и стерег его неподвижным глазом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСЕНЬ

Глава первая

В ТАЙГУ

1

Дом Петра Панфилыча Ухалова стоял на стрелке, где Талда вливается в Шунгулеш, на самой окраине Нижнеталдинска. В большую воду баню и часть картошек заливало. Не то слово — заливало, это вторая баня у Панфилыча — одну просто унесло.

Жена его, Марковна, пришла как-то с огорода, села у печки от дождя греться и смеется:

— Баню-то как теперь топить будем?

— Как топили — так и будем.

Она опять смеется.

Пошел Панфилыч посмотреть, чего это Марковна смеется, а баня уплыла, на тальниках зацепилась, поворачивается легонько и сплывает.

На самой окраине стоит домик, за мостом слюдфабричка, а там уж — тайга, и тракт Сибирский в той тайге теряется, как тропинка.

Сейчас тайга неотличима, слилась в предрассветной осенней тьме со всем остальным миром без границ, с землей и небом, безвидным из-за многослойных облаков. Облака стремительно движутся, и к полудню будет ветреное солнце, но сейчас все глухо срослось в темноте в одну неподвижную, безнадежно непроглядную подавляющую массу.

2

Михаил Ельменев, напарник Ухалова, и поденщик их Кешка Косой, ведя в поводу двух завьюченных коней, с чувством знобкой утренней бодрости быстро дошли через сонный Нижнеталдинск до Панфилыча, постучали в ставень.

В щели пробивался свет. Во дворе повизгивали собаки и глухо переступал по бревенчатому настилу панфиловский мерин Маек.

— Заходи, мужики,— отозвался из избы хозяин.

Панфилыч в шерстяных носках и полной сбруе сидел за столом.

— Приятного аппетита, хозяин,— сказал Кешка.

— Спасибо на добром слове, садитесь с нами,— ласково ответила Марковна.

Панфилыч промолчал.

Из-за занавески смотрела на вошедших большая лохматая голова больной дочери Панфилыча. Когда девочка заметила, что на нее смотрят, она взвизгнула и спряталась, остались видны ее тоненькие пальчики, державшиеся за занавеску.

— Айда с нами, Калерочка,— сказал Михаил,— грибочков соберешь.

— Не-е! — пронзительно крикнула девочка и распахнула занавеску, с пугающим восторгом глядя на Михаила.

— Ремня хочешь? — спросил Панфилыч, поднимая глаза от миски.

Девочка спряталась и затихла. Слышно стало, как она всхлипывает.

— Чайку на дорожку,— еще раз предложила Марковна, встревоженно покосившись на занавеску.

— Пили-ели, благодарны очень,— весело сказал Михаил.

Обычно Калерочка его не боялась, и он всегда с ней разговаривал и играл, но сегодня она или не узнала его, или испугалась Кешки Косого.

Панфилыч потел над миской, будто хотел наесться на месяц вперед. Кешка сидел у порога на корточках. Подсел к нему и Михаил.

— Кошму ложить — нет ли? — крикнула из сеней Марковна.

— Ложи,— ответил Панфилыч.

— Ремешок желтенький ложить — нет ли?

— Ложи.

— Варенье берешь, нет ли? Али раздумал?

— Не ложи! — весело и громко крикнул Михаил.— Я сладкого не ем!

— Самородинного положь баночку,— сказал Панфилыч и заспанно и хмуро посмотрел на ожидавших его спутников.

— А эту срамотишшу почо в мешок сунул? Я обыскалась, чинить хотела, а ты упрятал. Так в дырьях и будешь ходить?.. Мишка-то чо скажет? Старуха плохая, мол, старая, за мужем не смотрит. И так нас люди осуждают!

Из сеней вылетели и упали на пол кальсоны и нижняя рубашка.

— Положь на место, дура! Починить, дак не сыскала, а теперь дак!

— Ложи, Марковна, в тайге все сойдет,— засмеялся Михаил, поглядел на просвет изношенное шерстяное белье напарника и бросил его обратно в сени.

Чай пить Панфилыч не стал, чтобы не задерживаться,— хлебнул немного холодной воды из ведра, взял конфетку пососать после жирного, поругал в сенях свою старуху, обул на пороге praванивающие свежей смазкой ичиги, топнул пятками пару раз в пол и тяжело поднялся.

— Поташшились, чо ли, мужики?

— Поташшились.

3

На улице подвьючили Майка, проверились. Недетским голосом заплакала в избе Калерочка, залилась, зашлась сильным грубым криком.

— Уйми там! — Панфилыч откашлялся, отплевался и вышел из ворот следом за выводившими мерина мужиками.— Не закрывай, баба закроет,— сказал Панфилыч возившемуся в темноте с воротами Михаилу и пошел вперед, шоркая по мерзлой заиндевелой траве нерасхоженными ногами.

Михаил все-таки заложил ворота.

С крыльца Марковна ворковала:

— Не плачь, Калерочка. Уехал наш папка, уехал! Тихо́й теперя наш домишко, тихо́й да славно́й! Будем с тобой зимовать, чай с блюдечков пить!

4

В Нижнеталдинске только из редких ставней пробивался свет.

Тьма перерождалась, расслаивалась.

На дальнем конце путеводной звездой тускло, но негасимо светилась лампочка сельпо.

Через час охотники свернули с гремучего, разбитого лесовозами асфальта Сибирского тракта на гравийную подмороженную дорогу специализированного леспромхоза «Узбеклес».

Когда-то здесь на тракт выбегала пешая тропа, потом вьючная, потом тележная колея, а теперь лесовозы разъезжались при встрече свободно.

Лошади стали глуше цокать копытами, собаки убежали вперед и где-то по кустам рычали, играя друг с другом.

За спиной прозвенел поезд; нарастая, донеслась и погасла над тайгой, шарахнувшись волнистым эхом между сопок, сирена электровоза. Над самым нижнеталдинским кладбищем, на подъеме с поворотом, дает электровоз сирену, от нее колеблется воздух, а от тяжести и скорости экспресса деревни по сторонам Транссибирской магистрали подпрыгивают и подрагивают, как чашки на столе.

Пронеслась, ударяя по сопкам и сплетаясь с собственным эхом, сирена экспресса,— значит, наступило в Шунгулешских тайгах утро, шестичасовой прошел.

5

— Нынче мы, кажись, из первых опять,— сказал Михаил.

Кешка кивнул ему и улыбнулся. Панфилыч ничего не сказал.

Чай сели пить в седловине Шунгулешского, или, как его называли в отличие от остальных, Первого перевала.

Кешка проверил вьюки, Панфилыч с отвычки завалился под кедром, одиноко оставленным на сплошной лесосеке. В обязанности такого кедра входило засеять своими семенами огромную свежую рану лесосеки, и лет ему для этого отводилось сто — сто двадцать по графику и плану.

Михаил быстро сбегал к роднику, шепеляво сочившемуся меж камней, натаскал сучьев, поставил котелок на огонь, достал из мешка банку сгущенного молока. Чтобы не портить нож, углом топора взрезал мягкую жесть и развернул ее рваным лоскутом, топор очистил от липкой сладости, смахнув на старом пне свежую затеску. Старый замшелый пень показал крепкое еще смолевокрасное нутро, а уж о новых пнях на лесосеке говорить не приходится — они когда-то еще гнить начнут...

Охотники пьют чай молча.

Собаки встают, ложатся. Кони стоят невесело: знают, что путь впереди тяжелый.

Сейчас, после чая, будет приниматься решение — как идти, по прямой или кружными тропами. На прямом пути до Талой, где лежала в ожидании хозяев ухаловская тайга — почти двести пятьдесят квадратных километров богатой западной покати,— девять бродов с Нижней Талды и пять тяжелых подъемов, идти с конями весь день от темна до глубокой ночи.

Кеха не сомневается, что Ухалов — от него зависит решение — обязательно потянется прямым путем, не захочет признаваться стариком. Все равно и Михаилу — семижильный, молодой, самый сок. А его, Кешку, не спросят: нанялся — продался.

Ухалов, конечно, натрудит с конюховыми лошадьми и своего Майка, но Маек-то станет на откорм, на жирную лесную траву, будет жрать да спать — в тайге ему работы разве мясо выдернуть поблизости, а Кешкины кони пойдут обратно перевалами, да в работу сразу, а овса еще не выдали на конюшне...

Казенная лошадь — какое ее положение! Правда, Кеха не попустится, за лошадей он горло директору перегрызет, у свиней украдет, а не оставит своих лошадей голодать.

И все-таки хорошо и Кешке Косому в тайге, именно поэтому, а не только из-за денег, который уже год завозит он Панфилыча и его напарника в тайгу. Еще с Поляковым охотился Панфилыч — Кешка завозил, и с Михаилом вот уже пятый год — все Кешка, как ни коснись, без Кешки не обойдешься. С уговора до расставания Кешка себе в удовольствие и людям в угоду называет охотников «хозяевами» вместо привычного своего обращения к людям «гражданин начальник». С конями он обращался коротко, зло, смело: решительно подныривал под брюхо

лошади за подпругой, брал ногу, хватал за язык, за ноздри, покрикивал каким-то специальным жутким голосом и сам чуть ли не ржал при этом, по-звериному потряхивая нутром в угловатом и сильном своем кособоком туловище: «Но-хо-хо-о!»

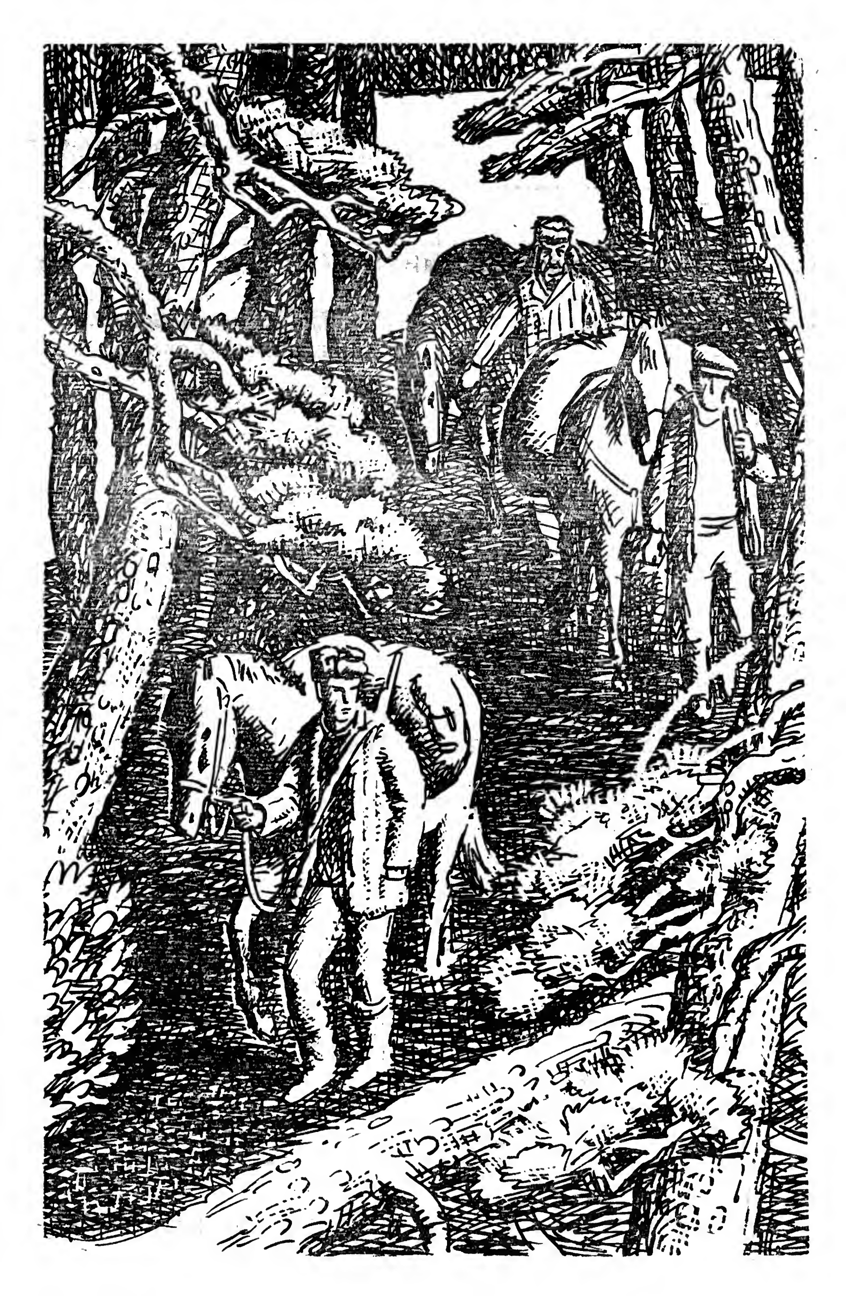
Жалко было смотреть, как толкал он в мягкие лошадиные губы удила — железо проскакивало, стуча по зубам, больно заламывало лошади язык, а Кешка, довольный своей лихостью, ловкостью и испугом покорной животины, ласково хлопал верхонкой по редко мигающему лошадиному глазу и шутя толкал иной раз и крупного коня так, что тот два-три раза переступал, находя равновесие: «Но-хо-хо-о у меня!..»

Некованых же копыт или сбитых холок у Кешкиных лошадей не водилось.

Кешка Косой — конюх свиносовхоза, тощий дерганый мужик,— прозван косым неправильно. Он не косой, а кривобокий. Издали, когда поднимается из конюшни в контору совхоза, он напоминает паука, идущего косо вверх по стенке, коси-коси-ножку. Кособокость, впрочем, не мешает ему хорошо и долго ходить без груза, носить же тяжести ему плохо. Известно всем также, что Кеха отличается загадочными мужскими достоинствами, от которых проистекли в свое время и кособокость — кольями потчевали его ревнивые мужики,— и страшные разрушения в его собственной семье: жена его сожгла дом соперницы, когда они жили в Задуваевой. Спрашивали иной раз мужики, за что его бабы любят, в ответ на это Кешка мрачновато шутил: «От ужасти».

6

На бродах лошади робели, фыркали, пили быструю горную воду, понукаемые, отрывались на минуту и снова приникали, втягивали воду насосным движением недристой брюшины, потом, тяжело вскинув головой и звякнув удилами, решительно вступали в каменистые речки, бултыхали копытами, разбрасывая далеко летящие брызги, шатались под навалившимися на вьюки охотниками. Собаки перебредали выше по течению с оглядкой на людей, на виду долго тряслись-отряхивались на берегу и снова кидались по тропам дальше: соболями пахла дальняя дорога, гоньбой, страстью — веселила собачье сердце.



Мужики потели, уставали. Хватило запалу на три часа — пришлось садиться за еду, за выпивку.

— Вот если бы тут, на прямом-то пути, поставить избушку, тогда и здесь кругом можно ходить,— сказал Михаил, генеральски глядя вниз, на таежные позиции.

— Это уж ты будешь ставить,— отозвался Панфилыч добрым голосом,— когда меня не будет.

— Зря. Попромышляем ишо вместях. Рано вам собираться, спина-то вон кругла!

— Кругла-то кругла, да только котомочек, как раньше таскал, теперь не таскать.

— Ну, или на Девкиной горе поставить. Хорошее место, можно и там промышлять. Я мерекаю, тайга во как широко откроется. Хоть ишо участок нарезай.

— Опять выходишь дурак.

— Сразу дурак! У вас другого слова нету, одни синонимы.

— А умный?! Умный?.. Это, сказать к примеру, будто тебе замок на анбаре. А ты — открывать тайгу! Запомни, Миша, три дня лучше заходить, да спокойнее быть. Подальше положишь, поближе возьмешь. Спроси вон у Иннокентия, верно?

— Верно, хозяин.

— Ее, наоборот, закрывать, чтобы духу человечьего не было. Юрку-то помнишь, охотоведа?.. Карасева-то?.. Нарыскивался все ко мне в тайгу. Мы еще с Поляковым охотились. Ну, я его сводил...

Кешка захохотал на слова Панфилыча.

— Поводил я его. Ой, поводил! По гарям-сухостою, по колоднику... Конечно, солнышко смотрю, чтобы не упало, не показало бы ему путя. Идет, глазами хлопает. Вроде, дескать, эта сопка мне что-то напоминает! А я ему в глаза — ты чо, паря, не смеши, должно, тебе неудобно перед простым-то охотником, дескать, неграмотным! Смеюсь над ним в этих словах и прочее, а он не понимает. Ночью очки наденет, в карту уткнется, пальцем шарит, маршрут определяет. А я слово скажу — и вся уверенность у него насмарку. Во как надо. Попробуешь потом, без Петра-то, без Панфилыча, дак скажешь. Зря, скажешь, над стариком надсмешничал, не слушался.

— Ну кто насмешничал? Что я такое сказал? Просто так, в рассуждении тайги, дескать...

— Умные люди в своей тайге всегда темноту наводили, иначе добра не будет. Князя возьми — вот уж не

ошибешься, правдивая душа была, зато и нету ему теперь доли в наших тайгах. А ведь большой охотник был, Князев-то. Первый он мой учитель по пушнине. «Хороший из тебя охотник выйдет, Петра!» — все мне так говорил...

Михаил знал всю историю с Князевым и какой уж раз удивился дару Панфилыча — сверхъестественному, колдовскому — врать в глаза: ведь Панфилыч своими руками помогал Полякову давить Князя!

Эта способность врать в глаза даже пугала Михаила, он в таких случаях и сказать-то ничего не мог, старался только уйти куда-нибудь подальше: видно, характер слабый, стыда не переносит.

— Бросил тайгу здешнюю и ушел.

— А ему и не надо,— вмешался Кешка, слышавший про Князева именно эти слова,— ему что Шунгулешские, что Замайские тайги, что за Пределом жить, — Кешка махнул рукой в сторону белевших на горизонте вершин Предела.

Отсюда хребет этот казался не таким страшным: белая легкая гряда с тремя конусовидными головами поднималась из мелкосопочных волн, а если бы не молва, то и совсем симпатичные белки.

— Во как разогнало! Ветер наверху, должно быть, сильный,— заметил Михаил.— Ночью-то какая облачность была, а теперь весь восток расчистило, ты скажи!

— На Шамановском доживат; может, врут,— сказал Кешка, глянув на Предел, так хорошо видимый на расчищенном ветрами юго-востоке.— Если его еще пугнуть, он к океану уйдет, зароется. Ему же все равно где бродить, сохатый.

— Куда ему бродить! Он меня на десять лет старее, если не больше. Вон какой старик, а ты — к океану! Одна память от его силы осталась, воспоминания.

— Я-то его недавно видел,— соврал Кешка, едва помнивший Князя в лицо.— Сильно осел, что и говорить. Не иначе как умирать собирается. А то и умер уж, а?..

— Может, и умер,— Панфилыч покачал головой.— Вполне может быть.

— А вот Полякова вчера видел, не соврать. В баню шел. Ну, этот — зверек! Шебутной старик, как молодой бегает. На него и смерти не будет.

— Дурак,— поучительно сказал Панфилыч, не любивший, когда кого-нибудь при нем хвалили, тем более врага его, Полякова.— Все умрут, и Поляков твой тоже

загнется, у него же язва. И я, конечно, умру. Мишка вон и тот умрет, моложе нас обоих с тобой. Верно, Мишка?

— Верно.

— И ты, Иннокентий, тоже умрешь, вот тебе мои слова, потом вспомнишь. Косой-то, скажут, прищурился!.. Хе-хе!.. Полякову-то чего не бегать, пенсию получает хорошую. Он не сильно изработался, твой Поляков. Сколь лет на моем горбу ехал! Да что говорить, трогать надо, вот и весь разговор. Вставай, мужики!

— Поташшились,— встрепенулся Михаил. Ему хотелось подальше от этих разговоров про то, кто кого эксплуатировал и на чьем горбу в рай ехал.

Он быстро вскинулся и, сказав, что побежит вперед рябчика или глухаря добыть на жареху, сразу оторвался от спутников.

— Не-ет! — говорил Кешка лошади, подтягивая подпругу.— Ты умри сегодня, а я завтра!

— Я у Полякова так жил, как Михаил у меня? Вишь, убежал, молодой,— сказал Панфилыч,— он слушать этого не может, правду-то. Поляков же из меня последнюю кровиночку давил. Дыхнуть не давал, весь я был в долгах у него. Кто тайгу оборудовал? Кто плашник таскал на вот этой спине, лошадей когда сдали? Он же только указывал да посапывал: «Ох, тяжело, ох, язва у меня, Петро!» Кто лес валил, бревна катал? Кто ему дом строил? Кто зимовья в этой тайге поставил, новые-то? Все я! А какой с меня был работник, если я с фронта едва ноги приволок? Жена пухнет, сын помер без меня. Почему?

— Дак я чо про Полякова? Ничего не скажу.

— Мне, Иннокентий, про Полякова не заикайся. Пока я по госпиталям валялся — тут люди успевали жить, и Поляков тоже свою шерстиночку унес. Кто мясом баб подманывал? Кто меня эксплуатировал, знаешь ты или нет? Сразу в передовики вышел, а я в тенечке! Я жизнь правильно понимаю — зуб за зуб! Правильно?.. И я с ним расплатился, пусть не бухтит. Теперь это моя тайга!

— Осподь с тобой, хозяин!

— Осподь! Взять я свое должен или нет? Ты как понимаешь? Это я в своем праве, и Мишка мне слова сказать не может, пока моя сила. Вот выйду на пенсию, в ноги ему поклонюсь: возьми, Миша, в напарники, домовничать-кухарничать, по ближним плашкам ползать... Тогда его будет право, его сила.

— И унизисся?

— Закон — тайга! Старый волк и объедками сыт.

Видно, крепко обдумал Панфилыч свое будущее, если так невзначай выстрелил Косому много раз перепрятанные мысли.

Вот ведь бывает, молчит человек сто лет, а попал стакан мимо стремени — хлоп, и выскочило.

— С Михаилом можно жить, парень — золото.

— Не скажу худого, пока моя тайга — молчит, ворочает. Потом видно будет. Горького он у меня хлебнул, правду сказать. Дак я же его из грязи поднял!

Пройдя еще немного и наладившись на походное дыхание, Панфилыч замолчал.

7

Первыми, как и всегда, к зимовью прибежали собаки.

В полуночной темноте подошли охотники, развьючили лошадей, наладили ужин, с «летучей мышью» осмотрели хозяйство. Вроде бы все на месте, ничего не набедили орешники.

Данилыч Подземный обещал присмотреть за избушкой, чтобы не сожгли ненароком.

Не сожгли. Спасибо.

Панфилыч пошел в тайник проверить пилы-топоры, ведра-кастрюли. Все на месте. Да и кто найдет такое дупло тайное.

На обратном пути Панфилыч упал сослепу в прелую кучу отвеянной кедровой шелухи, заругался в темноте, кони от него шарахнулись. Он коней обошел, чтобы не лягнули по дурости.

Михаил не хотел пить, да пришлось — горели жадные Кешкины глаза.

Спать Кешку Михаил положил на свои нары к стенке, а сам пошел с собаками посидеть, на волю.

От водки разбередило сердце, век бы ее не пить. Как умерла жена, Михаил каждый раз, выпивая, будто слышал голос Паны, осуждающий:

— Обещал ведь, Миша?

— Не буду, Пана, да я и не хочу. Видишь, надо...

— Надо, а ты не пей. Скажи, живот болит, желудок, скажи.

Эх, Пана, Пана!..

Глава вторая

ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД

1

Дочь все утро напевала одну и ту же неотвязную песню в два-три непонятных слова, вертелась, причесывалась перед зеркалом — горя ей мало. Перед квартирантом, бесстыжая, не стесняется, в комбинации маячит.

— Что ты поешь-то? — спросила Алевтина Сысоевна.— Что поешь?

— Про любовь, —огрызнулась дочь, налегая на комод животом и большой грудью.— Тебе не все ли равно?

— Плакать надо, напела!

— Молоко скиснет.

— Наглая-я, от наглая! Ишо матери да в глаза! Надсмехаешься? Думаш, хорошо делаш?

— Что ты с утра заводишься?

— А то! Уж видно, какая любовь — такие и песни,— прошептала Алевтина Сысоевна и нагнулась над колыбелью.

Ангельски легко вздохнула внучка во сне, почмокала соской.

За окном собирался затяжной осенний дождь. Холодно за окном. Стекла отпотели, давно уже не крашенные рамы отволгли, разбухли.

А хоть бы и снег, подумала Алевтина Сысоевна, жалко только, что пленки теперь нельзя сушить на дворе, духу в них сладкого, вольного не будет. К зиме-то все готово, кабанчик тяжелый стал, как конь: ногу копытом отдавил — неделя уже, синяк не сходит. Картошка сухая, добрая заготовлена, в подполе лежит, лук в кладовке косами плетенный, капуста своя, правда, не удалась, купить договорилась — вот привезут в овощехранилище.

С питанием все было хорошо: кадушка огурцов, грибков два лагушка, было на зиму и варенье смородинное, и брусника с сахаром... Но не было Алевтине Сысоевне Цаплиной в жизни счастья.

— В магазин, что ли, пойду? — сказала Алевтина Сысоевна.— Тебя ведь не допросисся.

— Вот и сходила бы,— ответила дочь, глядя на мать через зеркало.

Подмышки у дочери выбриты, плечи в темных кружевах сытые, круглые. Противно и стыдно было глядеть, такая она стала широкая, грудастая, задастая.

— Кобылу-то вырастила, прости мене господи! — вздохнула Алевтина Сысоевна.

Хотелось ей бросить сумку да в сапогах прямо побежать по половичку к комоду, отматерить, оттаскать дочку за волосы, свалить, отпинать и вытащить на двор за порог: смотрите, люди добрые, смотрите на позорницу-то!

А дочка сделала удивленные глаза и повернулась в невинном виде, натирая нос ваткой с кремом:

— Вот дак так, мама! — И засмеялась наглым смехом.

2

Шла Алевтина Сысоевна в магазин, обходя лужи, шоркая кирзой сумки по кирзовым сапогам, шевеля губами про себя, забывая отвечать встречным.

На лужах замелькали капельки, как иголка в швейной машине.

Алевтина Сысоевна оглянулась вверх, в небо. Шел уже дождичек, начинался. Она пониже надвинула платок, застегнула верхнюю пуговицу пальто.

Дождь не мешал ей думать, а думала она об одном и том же: как бы такое написать письмо, чтобы этот кобель или деньги стал присылать и ребенка признал, или женился бы на Фроське. Нельзя попускаться, пропадет девка. Наладил — пусть отвечает. Имя одна забота — обротал, и ваших нет. А саночки кто возить будет? Мать-старуху другорядь в телегу? Спасибо, детки дорогие, отвезла я свой воз. Мои оглобельки потяжельше ваших были. Теперя уж сами. Но-ка? Эва! То-то и оно-то! Жись прожить — кишка-то выпадет!

— Здорово-те, соседушка! — Евдокия Перевощикова стала на пути, как подвода груженая, не обойдешь, не объедешь.

— Здорово, здорово.

— В магазин побежала?

— В магазин.

— А я оттеда, нету ничего.

— Мне и не надо. Хлебца да мыла.

— Дочь-то как, устраиватца?

— А! — рукой махнула Алевтина Сысоевна и пошла дальше, обойдя по луже Евдокию.

«Вам бы чужому горю смеяться,— подумала она, влезая на высокое крыльцо магазина, оглядываясь на соседку, маячившую вдоль по улице.— Нету ничего, а сама полные сумки тащшит! Вот уж змея воистину!»

3

Летом, после десятого класса, поехала Фрося в город поступать в финансово-экономический техникум, на бухгалтера, поступила, а весной уже вернулась и летом родила.

«В люди вышла! — плакала Алевтина Сысоевна на сундуке.— Чтоб ты пропала, окаянная, гуляш-ша-я!»

Год прошел всего, а какая уезжала девчоночка? В клуб и то по разрешению ходила, у ворот ни с кем не стояла, все на нее заглядывались, веселая была, как птичка, чистенькая, мытая, косы заплетенные. Вернулась — экая бабища! Реветь, конечно, ревела, но прощенья не просила, вредина, у матери за позор, за стыдобу на седые материны волосы. Стала письма писать в Читу, все почтальоншу встречала, да, видно, голубок-то попался с кривыми коготками, ни привета из Читы, ни ответа.

До слез ясно вспоминается Алевтине Сысоевне доченька, не эта, с жирными плечами, бритыми подмышками, не эта чужая женщина с чужим запахом, за которую больно и стыдно перед людями, а та Фросюшка, дочушка разъединственная, которая и весь свет в окошке была. Давно ли в бане с соседками мылись? Они, старые бабы, кряхтели, как мужики, парились, а Фросюшка сидела на корточках внизу, ужасалась, уговаривала: «Слазий, мам! Слазий, и все!» Боялась, милая, что у матери сердце не выдержит. Наливаться токо начала, грудки встали. Соседки те и сглазили, завидущие глаза.

Ох-хо-хо, горе горькое! Крепенькая какая была, живая, шустрая, училась хорошо, все понимала, схватывала на лету, смешливая.

«С гуся вода, с Фросюшки вся худоба-а!» — окатывает ее, бывало, Алевтина Сысоевна из шайки холодной бочечной водой, визжит, вьется девчоночка, как берестка на

огне: длинненькая, кругленькая, глазки ясненькие, воду смаргиват.

Чисто держала дочку Алевтина Сысоевна, холила, к работе не принуждала, все сама, сама. Королеву, што ли, ростила! Деньги на приданое копить начала, когда Фросюшка в третий класс перешла, а денежки те, ох какие дорогие денежки были, теперешний рубль слезы не стоит, нет, а прежний двумя обольешь, пока собьешь, сколотишь.

Мечтала, вот устроит судьбу с хорошим человеком, чтобы внуки, чтобы жили миром, счастливо, как самой Алевтине Сысоевне не удалось,— полегли мужики на телеги и уехали, пьяные-горькие, на войну. Проплакала Алевтина Сысоевна до ночи на повороте дороги, под елками. На комарах распухла, по деревне обратно вели ее, под руки держали, падала. Ополоумела, можно сказать. Так полоумная всю войну и прожила, ничего не видела, не слышала, сначала свекровь, потом свекра похоронила, сама состарела, изболела, засохла.

После войны счастья тоже мало было, десять лет промаялась с мужиком: ничего не мог — ни работать, ни говорить путем, по ночам криком кричал от страху. Не человек уж, кусок мяса израненного.

Но с такой силой любила Алевтина Сысоевна, что дочку у судьбы выговорила, выплакала. С калекой ложилась, а любила того еще парня молодого, те полтора счастливых года перед войной, тот покос, коней, которыми вывозили они орех из тайги, снежное крыльцо, пляски у Шубиных на вечеру, тот прируб с постелью сухого мха, глаза верные, ненаглядные...

А какой охотник был! Гордость какая! Сидят, бывало, мужики за вином, и какую тайгу ни назовут, про какие дальние хребты речь ни зайдет — все-то он уже знает, обегал, везде побывал!

Старики советоваться приходили! «Што же, молодая, хозяин твой дома, нет ли?» — «А где ему быть? Вон, стайку рубит!»

И что силы в нем было! Таких колотов по двое не поднимали, каким он бил, таких грузов по двое не нашивали, какие он носил...

Как от волшебства, растаяло все, сгинуло, в один день, в один час. Хоронила она уже обузу, каторгу свою. Соседки не стеснялись, прямо говорили: теперь, дескать, поживешь, Алевтинушка, отдохнешь от своего мучения.

Но и тут укараулила судьба, состерегла! А за что? Виновата была перед кем? Грехи какие? Мешок семенного зерна в санях под соломой увезла? Сама и пострадала, куры подохли от этого зерна. Шофер знакомый заночевал, уговорил? Да какой там грех, воображение одно, будто с мужчиной полежала. В девках до замужества взять? Своего любила, не чужого, вся ему отдалась, в его волю. Одна мамаша, покойница, догадочку имела.

А потом? Работала как все, клок сена не унесла. Только и спасалась — картошкой, огурчиками, грибками, ягодой на линии торговала. Да много в Талде наторгуешь? Скорые поезда остановки не делали, два состава в день, утром — вечером. Так между имя и вертелась да работала, работала. А в депутаты назначили, и от торговли пришлось отойти...

Бабы в магазине гордо спрашивали, что есть, что будет, рассказывали, кто как живет, кто где гулял, кого приглашал, что сказал.

Алевтина Сысоевна стояла тихо, опустив глаза, постепенно с очередью продвигалась. Хотела она взять хлеба да мыла, заторопилась, на все деньги набрала, незнамо зачем, полную сумку и в руки: и мыла взяла, и хлеба, и стиральный порошок немецкий, для внучки байку, взяла селедки, постного масла, сахару кускового, чаю четыре пачки.

Продавщица, верная подружка, шепнула, что есть у нее два набора детских, один голубой, другой розовый, специально оставила. У Алевтины Сысоевны уже и денег не было, но подружка мигнула — в долг, а чтобы шума в очереди не было, велела с задней двери подойти.

Обошла Алевтина Сысоевна, взяла розовый наборчик девочковый, «спасибо» шепнула, пожаловалась шепотком на Фроську, да разве путем поговоришь, очередь в магазине зашумела, загорланила.

Обратно домой потащилась Алевтина Сысоевна по дождю, полному уже.

4

Фроська днем спала да валялась с книжками, слушала радио, потом чесалась, мазалась, наряжалась, бросала дочку и потемну убегала к подружке Нонке — слушать трясучие пластинки и пить красное вино с деповскими ре-

монтниками, они уже второй месяц тут околачиваются, чтоб им провалиться.

Нонка была незаметно горбатенькая, маленького росточка с распутными глазами, перед ней и взрослая баба как дура остановится. Как глянет, глянет! Про нее говорили, что она с кем попало, видели даже с бичами-орешниками в райцентре, в ресторане, где бичи прогуливают заработанные деньги. Очень может быть, Нонка такая, и с бичами пойдет.

Заблудилась Фроська. Печку попросишь затопить — отказывается, плечами дергает, стряпнину завести — отказывается, пол подмести заставишь — пылишшу подымет, веник посреди избы забудет, в книжку уткнется. Развязная стала, с квартирантом глупости говорит, смеется все, на язык несдержанная.

Алевтине Сысоевне кажется, что возьмись они жить по-настоящему, и все само собой наладится, а если как теперь, только письмо ждать, то ни письма не будет, ни счастье в дом не придет. Какое тут счастье, когда они в четыре руки девчонку вымыть не могут, чтобы не перелаяться.

Так оно не придет, счастье-то. Не приде-ет...

5

— Здорово-те, Алевтинушка!

— Здорово-те, соседушка.

— Из магазина бежишь?

— Но.

— Чо там есть новенького? Ой, наборчик какой славненький, почем брала?

— Двенадцать рублей с копейками.

— Дороговизь какая. Ты не будь дурой, заставь Фроську, пусть на алименти подает. Время выдет, локти кусать начнет, не установишь ничего.

— Да я не больно-то интересуюсь, что они решат. Уж ихнее дело, я так понимаю.

— Ихнее-то оно ихнее, а моя-то забота, подруженька, о тебе. Истинно говорю! Как гляну на тебя, ажно слеза закипат. Так бы и дала Фроське в морду! Ково же делатца, мать в дугу загибат! Так света не видели, горя окиян выплакали, жизнью намаялись, так вот на же тебе, ишшо пожалуйста!

— Пойду я, однако. Печка у меня топится, нет ли?

— Дыма не видать, да и девка у тебя не безрукая, должна и по дому ворочать!

— Сыро, вишь, дожжик льет да льет. Тебе хорошо эвон, в болоневом пальто, а я в драповом, так оно мне и мокро.

— Бывай-ка, подружка! Алименти не забывай, стребовать надо. Имя, кобелям-то, все едино на пропой. Нынче за горло брать надо, не наши времена, мужчина балованный пошел, безответственный.

— Бывай, бывай! — кивнула Алевтина Сысоевна и поплелась дальше.

Стыда-то, стыда-то, хоть на улицу не показывайся. Рукавичиха — и та! У самой Павлик сидит, а тоже, показыватца перед ней. Небось ворожила Фроську за Павлика. Подпила как-то, проболталась: у тебя товар, у меня купец. Купец! Арестанта кусок.

6

Внучка спала. Наборчик — все же обрадовалась Фроська — примерять отложили, пока проснется. Между прочим, когда за стол сели, в спокойную минуту спросила Алевтина Сысоевна у дочки: свидетели есть или нету? Взвилась, кобыла, чаем подавилась!

— А у тебя, мать, были?

— Ах, позорница, кому говоришь! Не под забором я тебя нашла! У нас с твоим отцом любовь была да завет! От честного ты отца, от честной матери! Отвечай ладом, когда мать спрашивает за вину! Ты же, дура разнесчастная, локти кусать будешь! Без свидетелей-то какие алименты?

— Клопы у нас свидетели, понятно? Много, а в суд не поведешь! И запомни, мне алименты от него не нужны, сама подниму! И кончай эти разговоры! Убегу от тебя! Лучше у чужих людей жить, чем ты слезами гноить будешь!

Тут посреди разговора Нонка влетела. Ушла Алевтина Сысоевна к себе за занавеску, сердце сильно болело. Так вот нынешна молодежь с матерями-то разговариват.

Нонку она видеть не могла. Хитрющая, с детства всему плохому она Фросю заучала. Дурное, оно само пристает. Маленькие еще были, мокрохвостки, с сеновала их

согнала, Фроську отлупила бельевой веревкой, дозналась, чего там делали. Оказыватца, Нонка ее целоватца учила. Или в восьмом классе! Фрося волосы плойкой завила — пожгла половину, на спину отпустить. Опять же отвозила ее Алевтина Сысоевна, как следовает быть, растолковала, что Нонка потому волосы на плечи отпускает, что у нее спина кривая, она и старается горбик прикрыть.

Фроська-то, простая душа, Нонке же все и рассказала. А та, змея подколодная, виду даже не подала, до чего хитрющая, бес: «Тетя Алевтиночка, тетя Алевтиночка, ой какие у вас огурчики скусные! Ой какая у вас Фросюшка красавица!» А глазами-то так и съела бы, так и съела. От такой подружки не жди добра, девичьим-то делом подведет под беду, долго ли!

Ох-хо-хошеньки, какое уж девичество, в голове путается быль с небылью, вон в подоле приташшила, ково же, теперь дорога торная. Самое время с такими подружками крутиться.

Нонка сняла резиновые полсапожки с молнией, прошла в горницу, помелькала глазами туда-сюда, на ребеночка зыркнула, подсела к Фросе на кровать, затарахтели, зашептались.

Доносится до Алевтины Сысоевны за занавеску, не такая уж она глухая, как кажется, горячий шепот, быстрый говорок...

7

— Стоим возле кафе-стекляшки. Идет, страмец. С девкой из нашего же техникума. Рыжая-а! Страшная-а! «Привет»,— говорит, бровью не ведет. Я отвечаю: «Привет, мол, Журавлев».

— А она?

— Задом вертит. В брючной паре, между прочим, обтянулась. Потом встречается в техникуме. Она ко мне: «Фрося, лапушка!» А я ей: «Отвали, моя подруга!» А он ее уже бросил, Журавлев-то. Потом привет мне передает, через Наташку из нашей группы. Мол, передай привет Фросе. Ладно, говорю, пусть не показывается. Так и передай ему. А у меня уже третий месяц.

— А он?

— Приходит. Переночует со мной, уйдет. Девчонки из

нашей комнаты настропалят меня, настропалят, а он придет, я и не откажу.

— Признáет ребенка, как думаешь?

— Ничего, сама справлюсь... Придет — и «рыбка»-то, и «зайчик». Страмец. А я, дура, жду-пожду. Третий месяц прошел, а я боюсь сказать кому-нибудь, весь же техникум поднимется. К кому пойти, кто посоветует?

— Делов-то куча.

— Разве я знала...

— Другое знала, а это не знала...

— Ничего я не знала. Так. Ему нужно. Теперь бы он от меня не ушел. Я бы его одним поцелуем приковала. Стеснялась, дурочка, подружки учили.

— С ними стесняться нельзя. Сережа-то бросил меня. Неделя не прошла, я со Щаповым гуляю. Черемухи на реке наломали, идем мимо станции.

— А он? Увидел?

— Увидел, а мы и не скрывались. Подсылает, тоже вроде твоего Журавлева, с приветами. «Ноночка, Ноночка, прости, больше этого не будет». В клубе танец заиграли. «Разрешите пригласить?» Подваливает, за талию берет. Рубашечка нейлоновая, такая, с оборочками жабо. Славный мальчик, только пакостливый. От меня да к таковским профурам. Уж я ли его не любила! Все для него.

— Страмец.

— Со Щаповым на майские подрались. Ну, Щапов его уделал. Он же старый, Щапов-то, двадцать семь лет. Мне жалко стало, отняла у него Сережу. Отстояла.

— Правильно.

— Правильно, конечно.

— Ну и что?

— Ничего. Говорит: «Запорю я Щапова». Сам плачет. Ножичек показывал. Я ему говорю: «Дурак ты, мол, дурак, молодость в колониях пропадет, зачем тебе надо?» — «Любить, говорит, тебя буду», а сам опять к профуре уволокся.

— Со Щаповым-то у тебя было?

— Я не хотела совсем, да он ловкий, привык с бабами, они на него вешаются.

— А Сережа?

— От меня да к профуре, вот какой Сережа.

— Ты это не смотри, с них, как листик с дерева, много остается.

— Да я не очень-то ревную, ничего, конечно.

— Ты не бегай за ним, дурочка, они наглеют. Гордость надо иметь. Журавлев мне все: «Вот, мол, отцу-матери написал на периферию, к своим в деревню». Про меня, дескать, написал. Я ни слова, ни полслова, ни вопросика, нельзя на них вешаться.

— Да я разве вешалась? Я только глянула разок, а он ее вот так держит!

— Позорник! Да пусти ты! Ой, Нонка, дура, не чекотись! Да ребенок же, тихо ты!

Посмеялись, пошептались девки, собрались да убежали, им ни дождь, ни грязь нипочем. Правда, Фрося о дочке подумала, молока отцедила. Только это далеко не одно и то же, если прямо из груди или же остывшее из бутылочки.

— У тебя вымя-то, как у симменталки,— посмеялась Нонка. От зависти.

Не утерпела Алевтина Сысоевна, после этих слов облаяла девок, дескать, какие же тут хохотушечки, это ребенка кормить и тому подобное! «Пошли вон из дому!» Убежали.

8

Отставила Алевтина Сысоевна все хозяйство, не переделаешь за жизнь, а письмо надо писать, материно слово тяжелее золота, может, и окажет на судьбу значение. Каменный человек и тот против материной слезы не устоит. Вытерла руки и полезла крадучись в дочкин чемодан. Достала лакированную сумку, пошарила письма. Фрося не все отправляла, иное запечатает, адрес напишет, марочки наклеит, а потом хлоп — и в сумку.

Фотокарточку Алевтина Сысоевна, сколько ни искала, не нашла, хахаля-то. Видно, с собой носит, а есть фотокарточка, есть.

Открывать конверта Алевтина Сысоевна не стала, пусть бы и не запечатанные, жалко дочкины тайны, только адрес переписала: Чита, Комсомольская ул. Общежитие строительного техникума № 2, комната 47, Журавлеву Константину П.

Письма обратно спрятала. Нашла пустую тетрадку, достала с окна чернильницу, воды в нее подлила, нашла за комодом ручку, ненадолго призадумалась, потому что пись-

мо давно уже наизусть составила, и написала все как есть, начавши так:

«Гражданин Журавлев, пишет вам Фросина мать Алевтина Сысоевна...»

Алевтина Сысоевна писала письмо, поднимая от листа голову, задумывалась, смахивала слезу и видела, как мокнет от дождя и чернеет глухая стена Кузнечихиного дома через перекопанный огород. Написала она про «материно горе», и про «каменного человека», и про «невинное дитя», которое плачет, хотя внучка была, слава богу, здоровенькая девочка и не плакала, а посапывала в свою соску и росла в теплой тишине избы не по дням, а по часам, написала, что «дети — цветы жизни и будущее народа», написала, что считает Журавлева «культурным человеком», который не может «бросить девушку с ребенком, если от него».

Она писала долго, вырывала чистые листки из тетради, исписала наконец все, какие были чистые, сбоку написала привет родителям Журавлева и подписалась опять официально, несмотря на то что в письме предлагала Журавлеву быть ей «честным и любезным сынком»: «Гражданка Цаплина Алевтина Сысоевна».

Боясь, что не успеет, что внучка сейчас проснется или что Фрося прибежит-застигнет, Алевтина Сысоевна взяла давно приготовленный конверт, заклеила, написала адрес, быстренько обула сапоги, схватила пальто, побежала на станцию, оберегая на груди письмо от дождя, бросила его в ящик и сразу начала ждать ответа с решением Журавлева.

Но когда она шла домой, в глазах ее все стоял конверт и вертелась в уме фамилия: Журавлев, Журавлев, Журавлев.

Он, выходил, Журавлев, они с Фросей, выходили, Цаплины. Что-то здесь неладное увиделось Алевтине Сысоевне.

Всю жизнь она была Цаплина, весь мужний род был Цаплин, и покос назывался еще по свекру — «цаплинский покос», и край деревни, где когда-то много было Цаплиных, назывался «Цапельный край», но только сейчас Алевтина Сысоевна призадумалась, что фамилия эта от птицы цапли, а Журавлевы — от птицы журавля.

Журавль да цапля. Цапля да журавль. Ходила цапля к журавлю. Нехорошо, смешно.

Она уже хотела вернуться и подождать, пока за почтой приедут почтовики, но тревожилась за внучку — заревется, если Фроська не пришла, и побежала под дождем быстрее.

Фрося была дома.

Алевтина Сысоевна не находила себе места, посидела для виду минуточку, что-то сказала и побежала опять на станцию караулить почтовиков и просить обратно письмо. Она решила подписать его не «Цаплина», а просто — «Фросина мать Алевтина Сысоевна».

Она дотемна сидела на лавочке у окна в зале ожидания, ни с кем не разговаривала и не сводила глаз с синего ящика, окатно мокнувшего под дождем.

Народу на станции всегда много, всегда есть жареная колбаса в буфете, бывает даже пиво.

Обрушила ее надежды Малаша Рыкова, дежурная, сказала, что почту давно забрали и увезли.

9

Домой Алевтина Сысоевна пришла пьяная, поздно.

Квартирант-бульдозерист уже поел и, как обычно, бросил чашки-ложки на столе и играл по самоучителю на красивом аккордеонированном баяне. Фрося уже нарядила дочку в обновку и учила ее держать головку и сидеть.

— Придерживай, Фросюшка, придерживай, не дай бог, чтобы головушка завалилась! — полюбовалась было Алевтина Сысоевна внучкой, но тут же спохватилась о своей вине и убралась за занавеску. Есть ей не хотелось.

Квартирант играл коротенькие «арии», перебирал в промежутках басовый аккомпанемент. Потом сам себя объявил громким голосом:

— Полонез Огинско-о-го!

Сыграл, путаясь, начало. Путался он все время, и там, где путался, играл особенно громко. Потом он снова начал и снова объявил:

— Полонез Огинско-о-го!

Фрося не утерпела, рассмеялась.

Квартирант, подозревавший, что его мечтают женить в этом доме, в последнее время вел себя очень нахально и гордо.

— Это, Фрося, не какие-нибудь ай-ловлю, ай-ловлю! Это классика! Понимать не всякий может!

— Где нам, темным! — откликнулась из-под одеяла Алевтина Сысоевна. Ей хотелось вступиться за дочь, перед которой она теперь была так виновата за письмо.— В тайге живем, пням молимся!

— В тайге живете, а таскаться в город ездите! — сказал квартирант и засмеялся.

— Фросюшка! — застонала Алевтина Сысоевна.— Это пошто с нами так? За ласку, за тепло?

— За дрова мы отдельно плотим! — Квартирант заиграл «цыганочку» и пошел к себе за перегородку. «Цыганочку» он играл не сбиваясь, стоя, сидя, трезвый и пьяный, мог и на ходу по улице.

Алевтина Сысоевна почувствовала, что Фрося молчит неспроста, а плачет. То ли стакан выпитой у продавщицы-подружки водки, то ли накопившееся горе, но только слезла Алевтина Сысоевна с кровати и, шлепая босыми ногами, обливаясь слезами, нагнулась на четвереньки под печку, за топором...

С топором она и выросла в дверях квартиранта. Квартирант уже спрятал баян в муаровый ящик и сидел теперь на раскрытой постели в синих теплых кальсонах с начесом.

— Собирайся отцедова немедленно! Вон с моей квартиры! Я те сонному башку отрублю! Двадцать четыре часа! Духу чтоб не было! Ты не плачь, Фросюшка! Не плачь! Я ему покажу сейчас, как над женщинами изголяться!

10

Квартирант быстро собрал вещи, связал их узлом в плащ и с баяном вышел в сени. Слышно было, как он гремел заложкой в сенях и бросил ее потом со злости куда-то в ведра. Он еще что-то крикнул неразборчивое, матом.

Алевтина Сысоевна сидела на лавке и мазала рубашку о закопченную печку. Была она босая, беззащитная, топор лежал рядом, седые ее волосы спадали по плечам, и в них висел щукой гребень с выломленными зубчиками. Рубашка широко открывала ее жилистую шею и начало пустых старушечьих грудей. Губы ее были твердо сжаты, смотрела она в пол.

Фрося, оробевшая сначала — будто не мать ее по избе металась с топором, а дикая будто бы медведица, теперь как бы проснулась от полудремы своей юности, вдруг отчетливо увидела постаревшую мать, с заботливой покровительственной жалостью обняла ее, подняла с лавки и отвела на постель.

Послушно и радостно подчинилась Алевтина Сысоевна.

Плакали они вместе, лежа в обнимку.

Скоро и легко ушла Фрося от слез в молодые, веселые и немножко глупые сны, в которых она забывала о своей маленькой дочке и все еще была девушкой.

Через неслышное дыхание ребенка из угла, от печки, в полутемной избе распространялось, заполняя ее, особое, неуловимое, всесильное, сладкое тепло недавно начавшейся жизни. Жизнь эта была еще заключена в тугую спираль слепых законов, сама в себе замкнута, для нее не существовали никакие события, не связанные с ее активным ростом, она бурно двигалась путями тайных превращений и чужда была добру и злу, счастью и страданиям.

Не спала Алевтина Сысоевна. Она время от времени шептала:

— Гражданин Журавлев! Гражданка Цаплина! Цапля и журавль! Смешно, а детки-то общие!

Алевтине Сысоевне против воли и самой становилось смешно от такого совпадения; и от этого смеха, который она не могла побороть и не могла перенести, она начинала жалобно и беззвучно выть, закрывая расползающийся черный рот жесткой рукой.

Глава третья

В КОНТОРЕ

1

Подходя в хорошем утреннем расположении духа к конторе, чувствуя во рту вкус крепкого кофе, каким поила его жена еще со студенчества, охотовед Шунгулешского промхоза Федор Евсеич Балай увидел толпу бичей, и настроение у него погасло. Он сунул руки в карманы пальто, сделал строгое лицо, протолкался по узкой, тоже забитой бичами, лестнице наверх, к директорскому кабинету.

Три окна, разошедшийся скрипучий пол, прогнувшийся под тяжестью громадного сейфа, просиженный диван с выпирающими пружинами, двухтумбовый обшарпанный стол, разномастные стулья у стен, шкаф с папками отчетов да траурно-черная и еще холодная сегодня печь-голландка.

Большой неуютный кабинет этот Балай занимал, исполняя обязанности директора, отсутствие которого нынче безнадежно затянулось: Колобов находился под следствием за незаконную торговлю соболями. Собственно, торговли ника-

кой не было, а была вынужденная взятка, каковую Колобов действительно сунул прошлой осенью начальнику специального автохозяйства за колонну автомобилей. Без той колонны прошлогоднего плана по ореху не было бы. Дело медленно вертелось и довертелось только теперь, почти что через год, и уже теперешний вывоз орехов — забота Балая. Колобов же куда-то ездил, с кем-то говорил, выкручивался и появлялся в промхозе редко.

У самой двери кабинета бичи разобрали, что проходит охотовед.

— Нет чтобы с народом поздороваться, бюрократ,— сказал грамотный голос в спину Балая.

Балай не обернулся: цветочки. Бичи жаждали денег.

— Деньги давай, поскорея, выпить хоцца!— донесся вдогонку еще один голос.

Балай не торопясь и без паники захлопнул за собой дверь — толстую, тяжелую, глухую.

Дверь тут же раскрылась, и в нее зашатнуло уже знакомого бича.

— Здорово, начальник!

— Закрой дверь! В лоб дам, сдохнешь,— сказал Балай и повесил пальто и шляпу на косульи рога.

— Ты мне когда статью переправишь? — прохрипел бич, садясь к директорскому столу.

— Отстань от меня.— Балай сел на свое место, закурил первую папиросу и стал вспоминать сегодняшние дела, перелистывая календарь.

— Жена твоя все глазки проплачет, если я тебя зарежу,— сказал бич, выковыривая толстыми пальцами папироску из балаевской пачки.— Мне статью править надо, понял? На новые путя становлюся. Получу деньги и уеду в Расею. Пусть черти твой орех обмолачивают. Не увидишь меня по гроб жизни!

Балай поднял трубку и сказал телефонистке:

— Зина?.. А, Наденька! Мне дежурного по отделению... Соловьев?.. Здравствуй, Соловьев. Как дела? Сидят... Организуй им, пожалуйста, по тридцать суток, и чтобы духу после не было... Ну, спасибо, дорогой, за мной не заржавеет. Тут у меня еще один кандидат имеется. Этот больше просит... Ты сколько хочешь намотать? — спросил Балай у бича.— Года хватит?

Бич усмехнулся и скромно промолчал.

— Смеется. Ну, в самом деле, дня три уже грозится зарезать, если я ему статью в трудовой не переправлю. Не

знаю, что за статья, где он ее получил, я и книжку его в глаза не видел. Смех смехом, а сейчас мы им деньги будем выдавать, так уж ты пришли человека, пусть погуляет возле конторы. Вчера твой Завьялов приходил, да они его не боятся, он сам их боится. Калачова пришли, у него ловко с ними получается... Ну, привет!

Бич привстал и заглядывал в бумаги, которые Балай во время разговора вынимал и раскладывал по порядку на столе. Балай положил трубку, резко толкнул бича ладонью в голову, и тот шлепнулся обратно на стул.

— Пошел вон, люди делом занимаются! — уже с угрозой сказал Балай.

Пришлось встать и вытолкать вяло сопротивлявшегося бича за дверь. Бич глупо посмеивался.

Охотовед вернулся к столу. Задач у него на текущий момент было — две основных и много побочных. Надо выпроводить штатных охотников и оформленных договорников в тайгу, чтобы они не сидели по чайным и не пропивали орешные деньги, это была задача охотоведческая; другая — директорская: нужно было крутить мозгами, чтобы как можно быстрее вывезти из тайги заготовленный орех с тех участков, куда имелась летняя дорога. На зиму для возчиков работы и так хватит.

Транспорт, транспорт и транспорт! Району же транспорта вечно не хватало для перевозки сельхозпродуктов, в число которых начальство упорно отказывалось включить кедровый орех, заготовленный коопзверопромхозом... В понятие «урожай» орехи почему-то не укладывались.

— Пришел я, Федор Евсеич! — сказал, улыбаясь и снимая шапку в дверях, голубоглазый легкий старик.

— Спасибо, Евлампий Кононович! Сделал одолжение! Вчера обыскались, не могли найти бочара. Послали людей на дом; оказалось, что дом бочара заколочен плахами, но радио играет в заколоченном доме.

Евлампий Кононович был старик любопытный. Года три тому назад вот так же пришел он в контору, с этой же шапкой в руках, и спросил:

— Бочар, значит, нужен?

— Нужен бочар.

— Ну вот и хорошо,— улыбнулся старик,— я и есть бочар.

— Ты, старик, плана выполнять не можешь, какой ты бочар?!

— Постарше я, чем вы, ребя, думаете. Только бочар я. И высокой руки. Сколь положите?

— Ставка, нарядами подбрасывать будем.

— Давай, однако, срядимся. Только вы меня не забоитесь?

— Ты бы нас не забоялся, мы уж как-нибудь.

— Я, ребя, за убийство в каторге сидел.

— Во как, ну и молодец! — хором сказали Колобов и Балай.

— Дело прошлое.

— Точно убил, что ли?

— А чего же, взял да и убил. Двоих. Ихним же топором. Они ящики открывать, а я сторож в пакгаузе. Они с топором и меня избивать. Я топор-то взял у них да и того... погорячился. Надо было побить да выгнать, а я молодой был, спыльчивый. Захлестнул. Потом вроде так получается, что нету доказательства, что они воры, я, значит, помешал имя украсти, дело-то ихнее сделать, вот и дела-то вроде и не было. А который их на улице-то с конем ждал, тот убежал. Телега по булыжнику забрякала, вот и все, нету свидетеля... Вот как.

— Даром-то зачем тебя держали? Разобрались бы да и выгнали.

— Даром и не держали, за специальность. Специалисты везде нужны.

Мастер оказался дивный, совсем почти не выпивал — «привычки, ребя, такой себе не сделал», — пил только чифир, с утра до вечера кипятил на кедровых стружках консервную жестяную банку с чаем. Работал неспешно, аккуратно, весело, с прибаутками, но все у него к сроку бывало готово, мастерская всегда была прибранная — пожара остерегался. Зимой к нему стягивались работяги покурить возле печки, сидя на новеньких лагушках, послушать побаски хозяина.

— Где же ты был вчера?

— Вот уж, извиняйте, причина была агромадная. Не ругай!

— Как не ругай! Кладовщик избегался, тебя искавши. Ты ему нужен был позарез, товар хотели отправить в город.

— Во как без Евлампия-то Кононовича! А я вот пришел, а кладовщик бока пролежават!..

— Да в чем дело?

— Женился я на старости лет! — Евлампий Кононович зажмурил глаза от удовольствия.

— Мне с твоими шутками, Евлампий Кононович...

— Женился, Федюшка, пра! Старушонку завел. Одна живет-горюет. Чего две избы топить, говорю, зима-то близко! Давай, говорю, в один куль ссыпемся, теплее будет. Пошли, говорю, ко мне. Не идет! Да вы ее знаете, Буслаевна, старуха.

— Она у нас грибы заготавливала.

— Во-во, трудящая женщина.— Евлампию Кононовичу было приятно, что на лице охотоведа искреннее удивление.— Пошли, говорю, ко мне жить. А она не идет, нет и нет. Жить, говорит, если, то ко мне, к ней то есть, у нее дом поновее и огород хороший.

— Ты и пошел?

— И пошел. Пара ведь — она по грибы-ягоды, я по бочки-лагушки! Во как уцелились-то!

— Так в ремках и пошел?

— Но-о! Зачем в ремках, что у меня костюма нету? И костюм одел, и ботинки, и пальто. Чем не жених?!

— Приемник только позабыл.

— Во-во! Приемник-то и позабыл. Правильно. Донесли, значит?

— Говорят, изба заколочена, а приемник играет.

— С работы пойду — заберу, с двумя будем жить. У нее свой, у меня свой. Я без новостей не могу.

— Ну, мои тебе поздравления. Совет, что называется, да любовь. Свадьба будет — приглашай.

— Не-е, какая свадьба! Мы ведь не в насмешку какую, серьезно. Так что нам, бобылям, свадьба не к лицу. Посмеются люди. Вот так, стало быть, три дня сроку мне оформляй. А я работать пойду, все крышки подгоню. Кладовщика вот нету, мне бы в склад надо.

— С Буслаевной ты не прогадал... Только ты ей скажи, что она напрасно посолила грибы. Мы решили у нее соленые не принимать, нам невыгодно это дело. Или примем по цене сырых. Пусть не мудрит. Она промхоз надуть хочет. Бочек двадцать у нее грибов-то?

— Я пока в ее хозяйстве не командир. Вот уж в должность войду, там посмотрим, какое ей направление дать. Но бочки ее не из казенного материалу... Клепочка у меня своя была.

Евлампий Кононович потоптался у порога и ушел.

Буслаевна заготавливала «женскую продукцию» — гри-

бы-ягоды, была одним из посредников между промхозом и сборщиками. Как заготовитель, она получала определенный процент с центнера продукции, но этого ей показалось мало. Она смекнула, что свежие грибы от посолки становятся втрое дороже, в то время как соль стоит гривенник килограмм. Старуха освоила процесс, добыла два десятка бочек и покусилась на прибыли промхоза. С ней, как с частной инициативой, и шла теперь глухая борьба.

2

Внизу шум усилился, началась выдача денег. Размеры бедствия, собственно говоря, были невелики: получали от пятисот до тысячи рублей на человека, но заработаны эти деньги были за месяц и потому производили впечатление шальных, случайных, и такое к ним было отношение.

Охотовед подошел к окну посмотреть, прибыл ли милиционер. Милиционера еще не было. Бичи гуляли.

В кабинет вошел в сопровождении каких-то людей Баукин — бухгалтер промхоза.

— Федор Евсеич, подпиши,— обратился к охотоведу пожилой, с бегающими глазами и нервной судорогой щеки охотник, слегка знакомый Балаю в лицо.

Дышал охотник в сторону, прикрывая ладонью рот и подергивавшуюся щеку.

Баукин улыбался, и неясно было, то ли он одобряет просьбу охотника, то ли заранее посмеивается над молодым, по его мнению, охотоведом.

За бухгалтером робкого вида женщина качала головой и напряженно смотрела на Балая.

Охотника Балай вспомнил. Это был штатный, но из линялых, незаметных, видеть которых приходилось только на общем собрании и так, от случая к случаю.

— Кузьма я, Веркин. Ну, да ты чо, не помнишь? Гуляли, помнишь? Я на гармонье играл сначала? Ну да Веркин я! Помнишь, однако?..

— Веркин он,— с раздражающе просительной интонацией прошептала, кивая головой, женщина,— а я его жена. Нас все знают.

— Незарегистрированно живут,— посмеиваясь, сказал бухгалтер. И опять было непонятно, то ли подтверждает Баукин факт, то ли тихо издевается.

Все заговорили разом.

— Тихо! — сказал Балай. — Что подписать и зачем подписать?

— Доверенность,—в дрожащей руке Веркина трепетала бумажка.— Значит, я, Веркин, доверяю Валерии Колотухиной, значит, сожительнице, матери моих детей...

— Причитающиеся мне семьсот пятьдесят рублей с какими-то копейками,— продолжил усмехавшийся бухгалтер.

— Почему сам не получишь?

— Неззя.

— Почему «неззя»? — передразнил охотника Балай.

— Неззя... Вы уж подпишите.

— Вот наши и паспорта, вот и метрики на детей, он и отцом указан, вы уж подпишите.

— Каждый год у них такая суета. Подписывают им.— Баукин подтвердил факт кивком головы.

Все-таки непонятно, чего этот Баукин все время улыбается, то ли глупее всех себя считает, то ли от неловкости какой, смущения, боязни или просто привык посмеиваться над людьми, дескать, все ему до лампочки. Вот уж, кажется, пожалеть надо людей, а он усмехается, кривится все как-то!

Федор Евсеич Балай, несмотря на молодость, бумагу уважал и подписывал всегда аккуратно.

— Колотухина я, Валерия Тихоновна, двадцать восьмого года рождения.— Женщина все кивала головой и тянула свой паспорт.— Нельзя ему, да вы не сомневайтесь, он у меня слова не скажет! — При этих словах Валерия Тихоновна прикрикнула погромче и робко толкнула своего мужа в плечо: — Идолище!

— Пусть распишется в ведомости, а деньги выдайте при нем ей,— сердито сказал Балай,— зачем все эти доверенности и тому подобное? Формальности!

— Уж так у них делается,— криво усмехнулся Баукин,— пьяный Веркин это не трезвый Веркин. Уж если подписать, он не отымет. Да подписывай, Федор Евсеич! — В голосе бухгалтера прозвучало совсем не насмешливое напряжение.

Балай поднял на бухгалтера глаза, но тот опять криво усмехнулся, хоть и смотрел твердо.

— Неужели его бумага остановит?

— В том-то и чудо, в том-то и чудо, останавливает! — ласково посмотрел на охотоведа бухгалтер.— В общем, подписывай, все тут юридически правильно.

— Неззя мне,— убедительно промычал Веркин. Дове-

ренность в его руке перестала трепетать, улеглась на стекло директорского стола.

— В тайгу не выйдет, пока деньги не кончит.— На глазах у Валерии Тихоновны стояли слезы.

— Хватит тебе, Валерия, видишь, подписывает. Просто не понял человек, а ты вон, разливаешься! — Баукин передернул плечами.

— Ах, черт! — выругался Балай и размашисто подписал рваный косо тетрадный листок, имевший для Кузьмы Веркина значение закона, а скорее — табу.— Глупость какая, взрослые люди!

— Взрослые ее и пьют! — сказал Веркин, сверкнув из-под ладони глазом.

— Идолище, стыда с тобой не оберешься...— причитала Валерия Тихоновна.

— Иди получай, я тебя там подожду,— сказал Веркин, передавая ей доверенность.

— Смотри, Кузьма,— шепотом сказал Баукин,— смотри у меня!

— Да ладно,— отмахнулся Веркин и первым пошел к двери.

И все вышли, а Балай остался сидеть за столом.

Ничего от него не требовалось, никакого участия. Нужен был бумагу подписать. А вот Баукин там замешан, хоть и посмеивается. Родня, наверное, какая-нибудь или просто так, свой человек.

3

— Держись, Валерия! — сказала, выглянув из своей амбразуры, кассирша.— Дуй прямо в сберкассу.

Окруженная тремя детьми, под их неприступной охраной, Валерия Тихоновна благополучно выплывает из щучьей заводи бичей, доходит до сберкассы, где ее и ожидает «идолище».

Идолище получает роковую пятерку, из-за которой и терпело унижение с доверенностью, опрометью бежит в магазин, а из магазина уже медленно и с достоинством возвращается в контору. И вот уже слышно не мычание, не тихое и стыдливое, полное сознания собственной вины «неззя мне»,— низким надтреснутым, гудящим басом провозглашает Веркин: «Триста колов!» — в амбразуру кассы, в спину

юркнувшего в бухгалтерию Баукина. «Триста колов!» — в дерматиновую дверь директорского кабинета.

Через час-другой идолище выволакивает из своего таежного запаса три большие банки тушенки, с трудом добытой все той же Валерией Тихоновной к сезону, и бредет менять их возле магазина. Среди бела дня никто с ним не решится вступить в такой нечестный обмен, но приглашают в компанию, для закуски.

Вернуться домой идолище не смогло...

До вечера будет прогуливаться мимо рукосуевской лавочки, на которой спит Веркин, старший его сын Витька, будет отходить подальше к реке, если пойдет кто из знакомых, прятаться за старую водовозку возле пылинского дома, до редких подростковых слез стыдясь за батю.

Какие мысли в голове у Витьки, какие чувства разрушают в это время мальчишескую фантастическую душу?

Вечером, потемну уже, будет перенесено идолище в боковушку, и всю-то ночь будет отваживаться с ним Валерия Тихоновна.

Проспавшись, на рассвете уйдет Кузьма Веркин в тайгу на промысел. И как только ноги понесут его под тяжелой ношей, как только с хрипом и свистом будет тянуть в груди его измученное сердце, каких только обещаний не будет давать он себе на первом же подъеме! Но только после промысла вся эта мрачная история, наверное, повторится сначала.

4

Вал, продукцию промхозу по ореху дает, как это ни противоестественно, дикая сила, сезонники. Штатные охотники тут ничего не весят — процентов десять.

До тысячи человек сразу выходит в Шунгулешскую тайгу, если предвидится урожай-заработок; и половина из них — частично деклассированный элемент — бичи, остальные — отпускники, рабочие, служащие.

Для деревенских людей орехи — привычная, вроде покоса,— нетяжкая, хорошо и в тонкостях знакомая работа, и места у них давно известные. Фомины колотят на Веселом ручье, Рукосуевы — напротив через падь, Ухалов с Ельменевым и двумя-тремя соседскими мальчишками колотить уходят со своего охотничьего участка, где урожай не так удобен

для сбора, в мало кому известное место — в Сухую падь, там кедрач средний, самый колотовник. Ефим Данилыч Подземный колотит на Талой, прямо возле своей базы, сам колотит, сам у себя и принимает, ловчее некуда! Усушка, утруска, мышье яденье!

Деревенские и зарабатывают больше, и домой помыться сбегают в дождливый день.

Если на пушном промысле требуется мастерство, то бить-то колотом — полутораметровым чурбаном на трехметровой рукояти — по кедру наука нехитрая.

Нехитра наука собирать и стаскивать шишку к зимовьям, перемалывать ее там в барабане, подобном мясорубке ростом с баньку. Несложно отвеивать шелуху, а набивать орехом кули уж совсем просто.

Трудоемко, но несложно. Каждый сможет.

Мешки приемщик взвесит, выпишет квитанции, орешник спустится в контору, получит заработанные деньги и поведет себя по-разному. Деревенские пойдут по домам, у них поспела новая работа. Охотники двинутся на промысел. Горожане разъедутся. Большая часть бичей просто-напросто испарится, часть будет околачиваться в Нижнеталдинске, часть же, самая вредоносная, расползется обратно по зимовьям и там будет мешать промысловикам до самых морозов, будет даже пытаться промышлять мясо и пушнину, доживет так до весны, а весной будет добирать ту шишку, которая за зиму упала с кедров и, сохранившись от мышей, даст им небольшой, но довольно верный заработок.

Шишка эта называется «половая», потому что берут ее с полу, протыкая мелкий, осевший к тому времени снег специальными лопаточками.

Но до этого еще далеко, сейчас бич на гребне своей волны, еще не слышит леденящего дыхания близкой зимы, гуляет...

5

Балай достал из стола список штатных охотников Шунгулешского промхоза и условную карту-синьку, где обозначено, кто где охотится. Третий год заканчивает Балай шунгулешским охотоведом, а за текучкой — кулями, транспортом, шифером, бочками, гвоздями, известкой — свое дело упускает. Он охотников-то не всех в лицо знает: что тут в конторе увидишь, посмотреть надо бы поближе.

А о тайге и говорить нечего. Был как-то десять дней на промысловом учете, на послепромысловом был десять дней, был неделю на орехах, подзарабатывал, две избушки выезжал принимать — когда с женой поссорился, директор отпустил проветриться,— ну, на охоту выбегал, в ближние все места. А что такое Шунгулешская тайга — не знает!

Вот они, охотники, заботы ждут от него, руководителя, ведь с их рублей ему зарплату платят, то есть, другими словами, они его наняли, чтобы он у них был старшим, артельно скинулись на специалиста.

И вот кто скинулся:

Акиньшин Н. С., Беспалых И. К., Бессмертных В. К., Веркин К. Г., Волошин Н. Н., Дежнев С. Д., Ельменев М. Г., Ефименко В. В., Кокорев И. Ф., Кокорев И. Ф. (Иннокентий, брат Ивана, младший), Колохватов С. С., Колотухин Е. Д., Курмышов С. В., Кривоспуск Н. (ичиги украл), Липунин Ф. Г., Махнов С. Г., Муховеев Г. И., Нехорошев С., Ухалов П. П., Пашков Л. С., Поливанов З. В., Полозов, Т. А., Полушалкин М. М., Роккустов Илья, Рукосуев А., Рукосуев Ал., Серафимский В. И., Сиверский, Сухарев, Строченко И. И., Таурсин Г. В., Фемисов П. С., Фоминых Н. И., Черных П. К., Шеленков В. К., Шеленков М. К., Шемяка Г. Г., Юрасов В. З.

Балай внимательно прочитал список, вспоминая, кто есть кто, взял ручку и вычеркнул Шемяку Г. Г. по карандашной наметке, сделанной в прошлый сезон, когда Шемяка не пошел в тайгу первый раз. Осталось тридцать семь человек охотников.

Опять зашел Баукин и заглянул через плечо:

— Списочек изучаете?

— Запустил я свои дела, охотовед называется.

— Ничего, обтерпится. Поживете побольше, и все будет в голове, а не на бумажке.

— Ну вот кто это — Колохватов? Кол хватает? Или вон Муховеев, тот еще чище, мух веет!.. Надоели мне бумаги, я в тайгу хочу. Учились в институте, мечтали: тайга там, дебри всякие. Получается как в нашей студенческой песне: «Я как эта муха, наедаю брюхо, а в углу ржавеет старый друг-ружье!»

— Колохватовым интересуетесь? Это золотоношенский мужик. Он в контору-то и не ходит совсем. Пушнину и то баба приезжает сдавать. Молчаливый такой. Метра два будет, однако. Ну вот увидите — медведь в пальто — это как раз и будет колохватовский кто-нибудь. Они все

такие. Фамилие, конечно, глупое, а брат в Москве профессором работает. Сами они все здесь бытуют. Брат-то этот, хирург, приезжает, между прочим, чуть не каждый год, не забыл родню. Тихие они, гулянка у них — посидят, выпьют, запоют. Снова выпьют и снова запоют. Охотник-то он хороший. Средний брат — договорник, в леспромхозе механиком работает. Вот вам и Колохватовы. Чего особенного... Поживете — узнаете. А Муховей этот как раз напротив будет, маленький, да и гулеван,— конечно, ничего общего с Колохватовым-то нету, но охотник хороший, зарабатывает сильно, прямо скажу. У него удача такая. Это он летом-то поросятину продавал. Кудесный мужик, помрет — дак на метр глубже закапывать надо, выскочит...

6

Раньше, по старым деньгам, Муховей был известен тем, что, разгулявшись как-то в чайной, не смог достать из маленького кармана-пистончика сторублевую бумагу. Бумага была так скручена и затолкнута, что от злости он аж заплакал, заметался, спросил у кого-то складень и распластал штаны, но все-таки деньги пропил.

Про это любили рассказывать. Сначала — как он сидел и плакал горючими слезами: «Ой, ково же делацца-то, однако! Ково же далацца! Папашка денежки пропиват! Скверный папашка!..» Потом — как стал доставать деньги и ругаться самым замысловатым образом, потом — как нашел складень и вспорол штаны. Как потом опять сидел и плакал. Его спрашивают: «Чего ты плачешь, Муховей?» Ответил Муховей: «Детишков жалко, муховейчиков! Дрянь папашка имя достался! Стрел бы, пра слово, убил бы на месте!..»

Прошло время, деньги сменились, присказка постарела про муховейчиков, но тут случилась с ним очередная история.

Гришка, надо сказать, был очень гостеприимный человек, любил угостить, любил с компанией посидеть, любил, чтобы говорили: «Муховей гуляет!»

Стоило жене уехать куда-нибудь — а у нее было много родни, она из Рукосуевых, коренных шунгулещцев, и как только попала за такого взболтанного мужичонку, скорее из-за песен, которыми славен был Муховей,— дак

вот, стоило только жене уехать и оставить дом без надзора, Муховей скликал гостей и устраивал гулянку.

В то лето кормила Муховеиха кабанчика с женским именем Зорька. Зорька уж наводил Муховея на размышления, собирался как-то Муховей поросятиной закусить, и поэтому жена перед отъездом спрятала и большой охотничий нож Муховея, и остальные ножи и топоры в подпол, несчастная женщина.

Собрались гости: Кирьян да Осипей, Ванька-ну-дак и Ванька-просто. Все деньги эти артисты уложили в водку, да так ювелирно, что на закуску ничего не осталось, кроме борща и лапши, которыми должен был питаться Муховей в отсутствие супруги. Муховей же любил показать свою широкую натуру. Не говоря худого слова, стал он искать нож, а не найдя, осердился на свою предусмотрительную жену, схватил портновские ножницы и с ними пошел в стайку. Гости сидели и сном-духом не чуяли, что там грезит Муховей.

Муховей тем временем забежал в хлев, притворил пяткой дверь и, изловчась — а чего ему, если он медведей более десятка передавил! — воткнул ножницы поросенку в шею. Поросенок стал бегать по стайке, заливая корыто, соломенную подстилку, стены и новый костюм хозяина горячей кровью. Муховей еще раз изловчился, пал на кабанчика и вдавил глубже разошедшиеся в сале ножницы.

Когда на поросячий визг в стайку прибежали гости, Гришка сидел верхом на поросенке и победно сослеживал последние судороги круглого поросячьего тела.

— Костюм-то пропал, однако! — в голос сказали гости.

— Печку растопляй! — ответил Муховей.

Растопили летнюю печку под навесом, отжевали ножницами заднюю ножку у поросенка, опалили, изжарили. Кожа получилась углем, а дальше — сырое мясо. Ели гости, пили, хвалили смелого Муховея. Потом бегали по улице Кирьян да Осипей, занимали деньги, чтобы ответить на широкое гостеприимство.

Проснулся Гришка Муховей один. Опомнился и, прослезившись про себя: «Дрянь папашка!» — пошел к Кирьяну, взял у него топор, красиво, по-хозяйски распластал поросенка, сложил в мешок — мешок был маленько загаженный, он в нем утят привозил — и начал торговать летом поросятиной.

«Сломала хрюшка ножку. Пришлось того, прирезать. Торгую!» — объявлял Муховей соседям.

Выручилось за поросенка непредвиденно много. Так много, что опять была куплена водка и снова пришли собутыльники: Кирьян да Осипей, Ванька-ну-дак и Ванька-просто. Ванька-ну-дак и Ванька-просто жестоко передрались во дворе и развалили летнюю печку сапогами в драке. А Осип, Кирьян и Муховей держали друг друга за руки по очереди, чтобы не вмешиваться, галдели: «Не шевели! Неславно будет, коли обчую драку сделаем! Не шевели их! По справедливости, третий не мешай! Он, Ванька-то-просто, ладно, что задохлик, а, однако, по сопатке-то угадыват тоже! Умаются — разойдутся!»

Вот тут-то, в разгар веселья, и прилетела Муховеиха, как чуяло ее сердце! Убегали мужики через огород, лук перетоптали, запинались в картофельной ботве. Муховей дня три отжил в Кирьяновой бане, спасался.

— Да, — сказал охотовед, вдоволь насмеявшись, — народец!

— А что народец? Муховей-то пушнину сдает знаете как? Он у меня по средней годовой отстает только от Ухалова да Ельменева. Ну, от Таурсина еще разве... Человек пять вперед себя пускает. Вот вам и Муховей. А вы говорите!..

— Разве я это говорю? Вы же сами рассказывали: пьяница, то да се! По работе сами же не судите, а по пьяным выходкам! Я-то слушаю, вот и все!

— Выходки — это тоже своя правда. Тут он, может, весь виден, и каждый уж знает: а, Муховей!.. Он помрет, дак вспомнят-то не показатели и что удалый был охотник, это вроде так и положено, а вот вспомнят, что поросенка летом зарезал да Клаву Рукосуеву у братьев Кокоревых отбил. Ну, она сама, конечно, за него хотела. Он ведь отчаянный, Муховей этот. А с виду не подумаешь: маленький такой, уж точно, Муховей и есть.

— Ну вот, вы теперь в другую сторону потянули. Сначала — пьяница, а теперь воспевать начинаете. То одно пристрастие, то другое.

— Не знаю, пристрастие там или нет, я что вижу, то и говорю... Что же это я, сказки рассказываю, а женщины мои, наверное, уже губки красят да разбегаются... Подпишите-ка вот здесь да здесь.

Балай подписал и опять вздохнул, что не знает свои кадры.

— Да где же вам знать, я-то здешний, да и то не всех знаю. В душу не залезешь, — успокоил его Баукин с хитренькой улыбочкой, — а вы вон как издалека, из европейской части. Там народ, поди, все культурный, не наше заугольe...

Понять Баукина можно было так: вот ты кончил институт, охотовед, а жизни тебя еще учить и учить! Поживи-ка с нами, поешь нашей каши, потом и суди, а то в полтора глаза глянул и сразу — наро-о-одец!

Обычное отношение к приезжему специалисту: ты ученый, а мы все же умнее!

7

После обеда принесли почту — письмо из облисполкома.

По степени совершенства собственность бывает личной, кооперативно-колхозной и государственной. Это Балай знал со школьной скамьи, и потому его не удивило, что областные инстанции удовлетворили многолетние домогательства Тарашетского госпромхоза и вернули ему часть кедрового массива по Шунгулешу, ниже ручья Талого.

Массив этот после разделения Замайского района между Нижнеталдинским и Тарашетским по закону-то принадлежал Тарашету, но много лет, еще при слабосильном Замайском районе, хозяйничали там оборотистые шунгулешские кооператоры.

Теперь справедливость была восстановлена, да и собственность была возведена на более высокую ступень, лафа шунгулешская кончилась, и об этом пришли документы.

Балай прочитал письмо и постановление и позвал Баукина, постучав в стенку бухгалтерии пробкой от графина.

Баукин нисколько не огорчился. На отходящем массиве теряется сто тонн ореха в урожайный год, а из плана под эту бумагу промхоз снимет сто пятьдесят! Нет худа без добра.

Баукин ловок на выдумки, да ведь станешь ловким! С планами на орех творилась хроническая чертовщина. Каждый год спускается план с очередным повышением процентов на одиннадцать. А кедровый урожай не каждый год, в лучшем случае — раз в три, да из трех-то один

будет совсем без ореха, без никакого! Кедрачи — не огуречные грядки, не польешь, навозу не натаскаешь, от заморозков не прикроешь, ударит по завязям — и все с планом, езжай потом с отчетом, доказывай.

Но в постановлении этом заключалась не только судьба ста тонн орехов, но и судьба всего задуваевского участка и, соответственно, судьба заведующего этим участком Ефима Даниловича Подземного. Участок в Задуваеве надо закрывать и открывать новый — в Золотоноше. Бухгалтер покачал головой:

— Не продаст Ефим Данилыч свой дом. Окопался он в Задуваеве. Уволится от нас. Семья. Дочь разведенная — раз своим домом живет в Задуваеве. Сына он метит в задуваевский магазин, вот-вот приедет сын-то, а он ему уже соломки подстелил, — два!..

План по пушнине не пострадает от передачи этой тайги Тарашету. Юридически решение входит в силу с января будущего года, до того времени шунгулешцы имели право охотиться на этой территории, а охотились там три человека: Шемяка, уже вычеркнутый из штатных охотников, да еще краем заходили туда напарники — Ухалов и Ельменев.

— Петру Панфилычу Ухалову теперь трава не расти, сезон отходит, и на пенсию, — сказал Баукин.

— Крепкий старик, — удивился охотовед.

— По-фронтовому, у него ведь ранения еще.

Баукин хоть и ловок был на выдумки своим бухгалтерским умом, а в целом воспринял облисполкомовскую бумагу как еще одно доказательство приближающегося всеобщего краха охотничьей отрасли хозяйства.

— Все равно, — закачал он головой, пессимистически улыбаясь, — пахать здесь будут. Сведут тайгу на целлюлозу и пахать будут. Вот и охотники кончаются. Отсталая отрасль. А вас на нее в институте учат... До вас-то был охотовед, Карасев. Про людоедов говорил. Вот, мол, внуки будут слушать про нашу охоту, как мы бы про людоеда старого, отсталого какого-нибудь. Так, мол, и охота вся — такая же дикость физическая для цивилизованного человека...

— Ему очки на лекциях заклеивали, Карасю-то вашему. Знаю я его по институту, спал напроход.

— Да уж, не умен был, что верно, то верно, а только, Федор Евсеич, оно и дурачку видно, что охотники нынче не те пошли.

— Да в чем разница? Вон какие мастера!

— Мастера. Это правильно. А вот за тайгу не держатся, не своя она им. Чуть чего — уедет, завербуется, думать забудет про Шунгулешские тайги. На ГЭСы, на заводы, в комбинаты. А у стариков была одна дорога — в тайгу. От нее никуда. Они и умирали в тайге. Дождется сроков своих и умирает там. Сколько случаев было.

— Вы раньше этим и пользовались, что охотнику некуда податься. Не нравится вам грамотный охотник? Этому надо условия создавать, чтобы ему выгодно было, чтобы уважение!

— Создавай, Федор Евсеич, чего кипятисся, создавай! Ты теперь вот почти директор, тебе и карты в руки. Создашь — позовешь!

— Дальше надо смотреть, в будущие года!

— Далеко смотреть — спотыкаться будешь.

— Споткнемся — поднимемся.

Поднимайтесь, спотыкайтесь, кто не велит, а мы — на пенсию!

Букин с вечной своей улыбочкой пошел к себе в бухгалтерию, за фанерную стенку.

Вот ведь привычка у человека: натянет этакую улыбочку — и сразу он всех умнее! Романтики же ни на грош! Одна ползучая практика, мышиное копание — сметы, отчеты! Ни с одним директором не поссорился, но ни одного и не поддержал... Талейран! Пусть идет само собой! А до пенсии тебе, товарищ Баукин, семь лет еще, по документам, полторы пятилетки! А вот такие настроения! И этот Карась тут сидел разлагал!

Можно было посмеяться над Карасем, лентяем и разложенцем, но в глубине души беспокоило Балая ощущение, что и сам-то он вовлечен в оборот таких дел и событий, на которые повлиять не может, при всех благих усилиях,— все вокруг совершается самой собой, а лучшее, что он может сделать теперь же, — не какое-нибудь генеральное нововведение, а добыть для вывозки орехов транспорт, гужевой и автомобильный; и в этом ему не поможет ни образование, ни правильная теория, и все сведется здесь, у этой цели, к той же самой ловкости, какую накопил за долгую жизнь бухгалтер Баукин.

Федор Евсеич Балай вздохнул про себя и потянулся к телефонной трубке, молча пережидавшей его внутренние терзания.

Глава четвертая

ПАТРИАРХ УХОДИТ

1

Слава человеческая... Слова, которые говорят о человеке?

Говорят о человеке — его славят. Вроде бы тень от дерева: большое дерево — больше тень.

Так вот о Кирше Князеве, вскользь упомянутом в разговоре охотоведа Балая и бухгалтера Баукина, живет по Шунгулешу изустная слава. Сейчас она в такой форме, что еще неизвестно, может быть, со временем она будет забыта, затенена чьей-нибудь более громкой славой, а может, обогатится доброхотными прибавлениями и выльется в миф, в легенду, в предание...

«Князь-то? Князь большим охотником был по Шунгулешу, все его знали. Где ни коснись — везде Князь прошел, везде побывал.

Семья-то? Как не быть, была и семья. А теперь один, то есть как волк. Вернулся уж много после войны, ни жены, ни детей. Погодки у него были, кажись. Мать у них, значит, заболела шибко, потом вроде корова пала... Недогляд, как же. Правильно... Сразу и девочки следом заболели за ей. Так и померли все: сначала мать, правильно, а возле нее и девочки.

Хватились вроде соседи-то помогать, но поздно, попростывали девочки. Своей беды было — не расхлебаешь.

Приходит Князь. Заводи новую семью, вдовы есть, есть и девки. Мужик еще в соку, охотник известный, пушнину нашивал — люди смотреть сходились. Рысей один живьем ловил. Правильный мужик.

А он жену любил и запил. Дом у него сгорел в запой, самого едва вытащили. На снегу лежит, рукой помахиват: гори оно, дескать, прахом. Проспался — в заготконтору, аванс получил, обмундировался, и в тайгу. Больше уже в деревне не жил. Не мог среди людей. Бабы его не забавляли — к ним он спокойно, а вот детей видеть не мог — запой случался.

Охотился он тогда на Талом. Вот мы, которые говорим — Талый, а другие — Теплый. Это одно и то же — солнопешная покать Шунгулешская, ха-арошие места...

Теперь считается уже ухаловская тайга, бывшая князевская-то.

Собак Князь навел, не то пять, не то шесть. Собачник! Говорят, правильно, собаками вроде и медведей давил. Они его держат, а он прирезават... Не знаю уж, правда, нет ли, врать не буду, но железный мужик, с него станет.

Смелый был, пока не остарел. С рысями, брат, тоже не шутка, живую-то брать. Хорошо их принимали в Зооцентр.

Или вот еще, по гостям любил ходить... Сидишь в зимовье — валит со всей сворой по тропе. Веселый был в тайге: «Мы от вас подвигов ждали!» Товарищ верный, в соседях с ним хорошо было. Всю тайгу нашу знал, всю рыбалку по нашим рекам... Правильно, всегда посоветует, куда подаваться: где зверь, где белка. Придет это в гости да еще плашки по пути пересмотрит. Иди, говорит, хозяин, наловилось у тебя, понападало! Смеется. В поселок выйдет — зверь, не человек, да еще пьяный, а в тайге веселый, ей-бо!

Участок обрабатывал — на пятерых! Ох и агромадный был участок! Стояли у него там четыре зимовья, он и пановал. Передовик числился. Что ж, правильно... своим одним хребтом тайгу поднял. Ну, тут хорошие люди и подсмотрели. Удобная тайга, уж такая удобная... Поляков-то с Ухаловым. Эти, значит, сообразили, обделали. Ухалова Петьку, Петра-то Панфилыча, сам Князь и отогрел на груди, как гадюку. Отводят им вдруг участок так, что треть князевской тайги по Юшкевичев ключ имя попадает с двумя избушками его.

Значит, так линия идет, а потом так. Повыше ручья Кобылки на Юшкевичев и дальше. В конторе подписали, значит, законное положение, получают они план-задание!

Ну вот. Приходят ко Князю, обсказали ему трезвому это дело. Он усмехается: тайги на всех хватит, мол, ребяты, в конторе решили — берите тайгу, будем соседи. Вот и ладно. Но, мол, прошу вас, плашник мой оплатите, который контора не оплатила, избенки мои тоже возьмите не даром, а за пятьсот хотя бы рублей на старые деньги. За зимовья контора ему тоже не платила, он их и к оплате не представлял... Все по-людски, ведь хозяйство забирают, не пустую тайгу. Отдай деньги принародно, сам человек, и другие видят! Но Поляков говорит — нет! Нет и нет! Ничего тебе, говорит, не будет. Плашник теперь наш, избенки наши, подпись видишь? Бумага! То есть в чем

спор-то? Тыщу рублей с небольшим старыми-то деньгами — плюнуть и растереть! Он и просил-то для очистки совести, а то получается — отступил мужик от тайги с первого окрику, перед другими охотниками нехорошо. Князь ведь, имя-то дороже тыщи! А охотоведом, надо сказать, был у нас тогда Юрасик, имя его не помню даже, до того ничтожный человечек был. Он у Полякова как налим в кукане: тот ему мяса подкинет, из бутылки в горло плеснет и делает что хочет в промхозе. Он тут тоже присутствовал, Юрасик-то. Как?! Меня, охотоведа, не уважаешь? Я подписал! Мое решение нарушать?! Поляков-то его подогреват, подкалыват: дескать, власть окажи, чтобы люди боялись. Поскандалили они, и Князь убежал от греха в тайгу.

Убежал-убежал, но сделал ошибочный шаг: погрозился при всех, что зимовья сожгет и плашник поколет. Однако вреда он никакого не сделал в тайге. Поляков же не дремал. Он своему напарнику, Петьке-то Ухалову, Петру-то Панфилычу, так говорит: «Мира не будет! Мы у него тайгу забрали — надо дальше толкать. Или он нас, или мы его. Давай задавим и будем первыми охотниками: премии наши, грамоты наши, доска Почета наша, власть в промхозе наша». Стали караулить. Князь и попался. Добыл весной двух лосей без лицензии и пришел по лошадь в деревню. Вывозит мясо, давай прямо на улице туши пилить, мясом торговать. Пьяный был уже. Правильно. Другой бы на его месте — через трассу в экспедицию. Умные люди в экспедицию тушами загоняли. А ему — тот приходит, говорит, мяса надо, другой приходит, всем продай. Поляков и Ухалов с инспектором и заловили его на месте. Передовик — браконьерским мясом торгует?! Сами будто не торговали! Дело известное.

Поляков из района писателя привез... Заядлый охотник, все с Поляковым козовал. Как не постараться, для милого дружка сережку из ушка! И вот Князь-то в газете пропечатан. Кровожадный зверь, браконьер. Корыстолюбец, не пожалел стельных коров! Главное — стельных коров! — обои бычки были! Написал: капала с лосиной морды вода прозрачная, зверь прислушался, грянул бандитский выстрел из обреза. Сильно, конечно, написано было, хоть и не стреляют из обреза по лосям. Какая вода по насту с морды капала? Наверное, сам выдумал все да напечатал.

Это и доконало Князя, писатель-то из газетки. Штраф

он, правильно, выплачивает сразу до копеечки. Юрасик ему добавляет — увольняем тебя, мол, за преступление. Припомнил. Разве, мол, по договору поработай на угодьях общего пользования! В бросовой тайге! Князь обиделся, правильно. На поезд — и в Тарашет. Наниматься. А там уже ему встреча приготовлена. Как же, говорят, знаем такого, много наслышаны вами! У нас своих браконьеров хватает, будем чужих акклиматизировать? Шунгулешских не надо!

С тех пор Князь у нас и не появляется. В Тарашет, говорят, ездит пушнину сдавать, через кого-то, не под своим, надо заметить, именем.

Ведь какой мужик был! Что только не прошел! Огни и воды, медные трубы, настрадался. Говорят, на Шамановском живет. Спустится к людям через хребты большие, продаст пушнину хоть направо, хоть налево, кому быстрее, попьет водочку, и обратно.

На тракту его встрел однажды, в столовой. Угощал меня. Борода седая. Не дай, говорит, бог, не доведи что случится с Поляковым да Ухаловым! Все на меня через них упадет, скажут — отмстил. Пригрел, говорит, змею, Ухалова-то! Он ведь его к себе в тайгу на год брал, наставлял-обучал. А тот потом к Полякову переметнулся, тайгу-то всюе высмотрел, ну и навел...

Поляков-то с Ухаловым тоже как змеи жили, таскали друг дружку в суд. Враги стали правильные. Ухалов-то перенял науку у Полякова да его же и подстриг потом, выжил из тайги. Говорит на собрании — эксплуататор, Поляков-то! Это, как известно, не рой другому яму, правильно? Вот тебе и вся тайга стала ухаловская, а мы-то, старые охотники, знаем, чья тайга, — князевская! Ну, что говорить, кто сумел — тот и съел. Теперь таких охотников нету. Где он теперь доживат? Может, и помер уже, царство ему небесное!

Большой был охотник, большой...»

2

А Князев еще не умер, он еще жил эту осень.

На рассвете он проснулся у своего знакомого в Нижнеталдинске, у Черепанова Егорши. Он долго соображал, зачем это он оказался в Нижнеталдинске, что его привело в родные края.

На старое пепелище потянуло? Это нехорошо, не к добру...

Он теперь и продукцию сдавал в Тарашете, чтобы не ходить в Нижнеталдинск, не видеть никого. Да и ближе... а теперь сто километров круглых до Шамановского.

Князев уже обулся и искал, шаря в темноте вокруг себя, мешок.

Хозяин проснулся, зажег подвешенную на шнуре лампу у постели.

— Чо ты, Князь? Ты чо? Ночь ишо!

— Извиняй, Егорша, разбудил... Кончаю ночевать, в избушку идти надо.

— Спи ты, крестная сила! Чумовой!

— Спасибо, не могу. Собачки там воют, поди.

Выйдя из Нижнеталдинска, Князев сел на камень у дороги и перевертел наспех завернутые портянки, поправил содержимое мешка, отхлебнул из чекушки. Чуть-чуть отхлебнул, чтобы не пекло: идти было сто километров, два дня. Для старика это могла быть последняя дорога, вот уж сколько лет решался он только на пятидесятикилометровые походы в Тарашет, а тут — сто, а собаки у зимовья привязаны.

На Изане старик сварил чай на старом своем кострище, наверху, у родника за камушком. Попив чаю, переборол себя и к чекушке больше не прикладывался.

Повернул в сторону с прямой тропы, он полез по россыпи вверх, взял из щели винтовку, старую, тяжелоствольную «ТОЗ-8» с обструганной ложей. Можно было бы купить и полегче, да уж бой нравился. Была у него привычка в россыпи прятать барахлишко — по камням пройдешь, не оставив следа даже зимой, камни обдувает.

Из-под ноги покатился камушек и беззвучно ткнулся в снег, пятнами лежавший по верхам.

Где-то рядом всхлопал глухарь — наверное, ночевал на россыпи, на гребешке, а теперь, потревоженный, косо, как вагонетка по канату, летит вниз на распахнутых жестких крыльях. На пятнах снега строчки глухариных крестиков. Ходила толстая важная птица, молчаливая. Ходила, что-то думала себе. Блуждающая птица, древняя, одинокая.

Высокие склоны Изана обезображены лесозаготовками.

Брошенный поселок на безлесном склоне гниет не догнивает.

Ясные проекты оврагов, вычерченные попустительством людей, дождями и ветрами, завалы спиленных и брошенных, ветром поваленных деревьев. Мамаево побоище!

Дорога лесовозная, с легкой руки шоферов называли ее дорогой смерти — уж сильно много там машин побито; рассыпавшиеся мосты через петляющий в долине ручей.

Мало кто знал эту тайгу так, как Князь.

Здесь был его первый, самый ближний к поселку участок. Тут в незапамятные времена начинал он молодым, семейным, честным охотником. Теперь его доживание складывается из браконьерства по мере возможности, из орешничанья. Много он не сдает — сила не та: куль орехов, сорок белок, пару соболей — на месяц еды купить. Обратно в том же куле занесет консервы, крупу, одежонку, обувь, керосин и водку.

Вон там — солонцы были; на том самом месте, над водой, где теперь брошенный поселок стоит, добывал зверей. Земля накопила столько силы, столько солнечной энергии в Изане; в этой глубокой, круто изогнутой долине так много было ореха, белки, соболя, зверя, птицы. Медведей каждый год собиралось три-четыре. Медвежьи свадьбы.

Потом жили два парня — лесоустроители, инженеры. Водил их Князь по своим владениям, показывал. Заплатили ему половину обещанной суммы и ушли в ночь, убежали. Он не обиделся — веселые ребята. А ему что за деньги ходить, что без денег — все равно ходить надо, ведь это его жизнь.

За ребятами пришли лесорубы. Кедрач рубили. Умные люди! Сад яблоневый кто будет рубить? Зачем? Кедровый сад вырубили. Сначала отстроили поселок. Князь приходил в этот поселок, были у него тут знакомые. Инженер Склярский приезжал к нему охотиться. Смеялся: тебе, мол, какое дело? Вырубим — ты дальше уйдешь, зверь сбежится из вырубленных мест в твои тайги. Поил Князя, богатый был начальник. Князь показал Склярскому другие, дальние солонцы. Тот кому-то рассказал. Так и получилось: пришел однажды Князь на свои солонцы, а там — бутылки пустые, требуха раскидана. Люди...

Голые скалы, черепом ободранным лежит на планете Изанский хребтик. Отчего эта пустыня? Отчего так качаются двери в ржавых петлях, отчего тут дороги заросли?

Оттого, что неумное это дело — рубить кедрачи! Не умели сделать по-людски. Перевыполняли план на две тысячи процентов. Наверху валили — вниз сбрасывали. Вот тебе и бабушка! Не нужен стал, правда, поселок, да и землю теперь никуда не приспособишь: тонкий кормящий слой с камней сдуло, смыло. Сто лет ничего здесь расти не будет — разве кустарники. Зато Склярский премию ездил с мешком получать, да бухгалтер на этом деле немыслимые суммы заработал...

Князев теперь мимо поселка ходит быстро. Мимо, мимо, чай не остановится попить на виду. Какой чай на кладбище? Ветер в пустых окнах, стропила.

А народ был в поселке веселый, вербованный... В клубе висели лозунги: «Тайга отступает! Победим природу!»

Чо же побеждать-то ее? Мать она наша, кормилица, к сосцам прижимает, а мы норовим сосцы-то под корень оттяпать! Эх-ха, нелюди! Сколько бы народу богато жить здесь могло, тех же лесорубов, охотников, грибников-ягодников, если с умом!

3

Еще два перевала, боковыми мелкими отрожками, среди которых заплутает чужой человек, темной ночью — уставать стал — подошел к ночевке Князев. Отночевал, потемну снова в путь. Шел уже своей тропой, тайгой безлюдной, где не только лесорубов, орешников, даже охотников не бывало. Не у рук тайга, совсем не используется, пропадает в ней лес, пропадают дары природы — другая сторона крайности.

Дотемна шел Князев, а подходил к своей берлоге и услышал, что собаки воют, — отлегло от сердца: значит, живы.

«Потерпеть не могут, сучье племя! Выпить хозяину нельзя! Что я им, родственник?»

— Я все же человек! — укоризненно говорил собакам Князев, кидая в корыто с водой хлеб.

Собаки, спущенные с цепи, носились кругами, пытались свалить в темноте усталого хозяина, корыто перевернули, жрали с полу, лезли в избушку, скулили, просились.

Он заварил каши с салом, выпил всю принесенную с собой водку, перед сном смилостивился, открыл дверь и

скомандовал собакам: «Заходи по одному! Молчать! Мы от вас подвигов ждали, устали мы!»

Старик еще пел песни, потом упал наискось на нары и уснул прямо в сапогах.

4

Ночью ломило кости, и утром — правда погода оказала себя. Загустела вода на озере, по берегам стеколушками заблестел лед, иней крупный, как соль. Крепкий холод, но верхний, не от земли, на полдни спотеет.

Старик закурил сидя на нарах, сразу после такого перехода не поднимешься. Завозились собаки, они давно уже проснулись и ждали хозяина, им было весело и спокойно от его присутствия.

Птица на озере должна была скопиться ночью, вроде слышал под утро ее перелетный шум. Сильно захотелось утятины, даже будто запахло в зимовье свежениной.

Транзистор, забинтованный по трещинам, едва журчал на столе, и пощелкивало, то ли в приемнике, то ли в похмельной голове. Теперь есть новые батарейки, хорошо.

Старик докурил папиросу, отломил кусок пятидневной лепешки — хлеб экономил, — слил вчерашний чай в кружку. Попил, пожевал. Остаток лепешки сунул в мешок, еще набрал в мешок дробовых патронов — валялись на полках да в посуде. Которые в консервном ящике, те он не тронул. Запер в зимовье собак, оставив им вчерашнюю кашу, припер дверь колом.

Лодка захрустела, зашуршала, когда он, раскачав, стронул ее с места. Под тонким ледком расползлись медленным безмолвным взрывом клубы поднявшегося ила. Положил в лодку отполированный еловый шест и короткое весло, сходил за тальником, нарубил десяток длинных прутьев, в палец, и тоже отнес в лодку. Вытолкался из осоки и камыша, зарядил ружье, положил его вдоль борта справа на старую курмушку и поплыл к острову, держась ближе к берегу, огибая для осмотра озеро.

Ехал он на остров ставить, или, как он считал про себя, новить шалаш. Новить там было нечего — на том месте давно была куча старой сгнившей осоки и камыша, точь-в-точь ондатровая хатка.

Пыжи разлетелись рваными клочьями. Старик одобрительным матерком отозвался на эти два выстрела.

Одна из взлетевших уток упала — посомневавшись — на пути лодки, а остальные шесть-семь чертили уже на противоположном конце озера косо ведущий на посадку круг. Сели.

Старик подобрал жирного чирка и опять зарядился.

На берегу залаяли собаки. Кобель виноват, услышал выстрел. Кобель научился кол отваливать: попрыгает, попрыгает на дверь, расшатает кол — вот тебе и на улице.

Стрелять старик мог вволю. Пороха, дроби, капсюлей, пыжа у него нынче столько, сколько раньше в лавке не было. Накопил добра — до смерти не расстрелять. На уток он охотился по манере, перенятой у городских. Истинные сибиряки деревенские — или кержаки, как ошибочно, огулом считал всех сибиряков старик, сам бывший из кержаков, — такую охоту не сильно уважают. Смахивает на баловство.

Другое дело в тундрах. Бывал старик на севере, там, понятное дело, тыщами линных гусей-уток забивают, в лед морозят. Под тундрой лед сразу. Дернину отвалил — вот тебе и ледник.

Ондатры на Шамановском всегда было мало. Старик ее недолюбливал, считая про себя, что ондатра ест рыбу, хотя не раз спрошенные охотоведы и другие ученые люди высказывали сомнение: ондатра зверь растительная.

Сейчас старик увидел новые хатки — две невысокие, едва выдававшиеся из воды кочки. Хлопотали ондатры по хозяйству — то там по глади усы распускают, то тут. По стариковским расчетам, если уж в Глубоком углу возле его зимовья наглядно вертится ондатра, то в мелком Гнилом углу ее будет пропасть. Сотни две можно будет легонько отловить. В Гнилом ее законное местожительство, а если уж она в Глубоком хатки строит, наглая, — нужно немедля принять меры.

Ну, то есть как немедля? После уток, куда их, деньги-то?

Но и то, шутка сказать, по пятерке штука! Где это раньше было видано: за поганую, за крысу? Года три тому (он еще не знал, что скупщики хватают ондатру с подчерку, не глядя) принес он в промхоз семьдесят штук, сдал. Так на него приемщик как на дурака смотрел. И уж на следующий-то раз Князев присоединил ондатру к своей «левой» пушнине, очень оказалось выгодно.

Чирок ворохнулся, подобрал резиновые лапки.

Чтобы птичка не мучилась, старик дернул чирка головой радужно-переливчатой о борт и бросил под лавку.

Утки взлетали почаще, настороженные выстрелами, далеко разнесшимися над гулким, остывшим за ночь озером.

Старик сбил еще одну, ленивую, и спокойно поглядывал на взлетавших вне меры. На еду была уже убоинка, а на вечерней зоре он еще постреляет, на острове.

Возле острова тоже был ледок, похрустывал о тяжелые борта лодки, вдвигавшейся в заросли.

Старик походил вокруг бывшего шалаша, разминая затекшие ноги, завязал грубый остов из прошлогодних и новых прутьев, нагреб сухой травы и завалил шалаш, сделал осмотры-амбразуры, обсиделся в своем доте.

Он походил еще по острову, поискал выдровые следы и норы, ничего не нашел, съел лепешку, покурил. Он собирался сразу возвращаться назад и посмотреть, не заплыла ли в его бросовую гнилую сетку какая рыба за те дни, пока он не проверял, но, измученный плохой ночью и вчерашним походом, задремал возле шалаша с солнечной стороны. Руки, ноги перестало мозжить, и он глубоко заснул, медленно сползая и валясь на хилую стенку шалаша.

Шалаш под ним смялся — старик был грузным. Он поудобнее разлегся на разрушенном шалаше и захрапел.

Солнце поднималось все выше и выше и грело уже с летней силой. Вода под лучами раскаменела, ожила, заиграла под легким ветерком из долины.

Старик от тепла засыпал крепче да крепче...

5

На Шамановское озеро Князев пришел первый раз еще в тридцатых годах, тогда это была дальняя даль. Он заскочил сюда за соболями, в ближних тайгах соболей тогда еще не было. Знали, что под самым Пределом есть озеро, называется Шамановское. Охотились там, говорят, Балашовы-староверы, а после них и не хаживали туда люди — далеко, неудобно.

Теперь тайга раздвинулась, как говорится, отступила перед человеком с его лесоповалами и дорогами. Оно и понятно, а жалко, дальних-то далей все меньше и меньше. Будут дороги и на Шамановское, но Князев твердо

рассчитывает, что к нему-то смерть придет по бездорожью — с нее и в один след тропы хватит.

Много было у Князева зимовий в Шунгулешской тайге, и звали его Князем недаром... Осталось единственное, на краю земли, последнее. «Там теперь поселки, клуба, тополя, где раньше мои тропы лежали!» — громко кричит в многолюдном шумном сне Князев.

Лет восемь его в тайге не было, если считать войну, а лет десять назад из промхоза выгнали, тогда он и пришел на Шамановское совсем, шатуном забрел.

Отстроил на месте сгнившего балагана большое зимовье с причудью: с сенями, с закрытым чердаком.

Лошади и той избушку наладил, да околела.

Строил, как чувствовал, что ему тут век доживать, а вот баню не склал — с году на год собирался.

6

В ватнике было жарко, но потеть старик давно уже не потел. Легко потеют только молодые здоровые мужики с крепким сердцем, старики не потеют.

Князев проснулся и мутно огляделся.

Было уже к двенадцати часам, лежал он, развалясь, на своем шалаше. Вот дак построил, вот дак молодец!..

Он снова разобрал шалаш, снова увязал прутья и завалил осокой и травой. Шалаш получился лучше прежнего.

К вечерней зоре все было готово. Старик сел в лодку и поплыл обратно.

Днем он варил чирков, заряжался, стряпал лепешки, сушил хлеб на сухари, накормил собак разваренной щукой, которая ухитрилась замотаться в самой тетиве сети и двух нитках.

Он бы и сам поел рыбного, но в щуке нашлось несколько червей, а такой рыбой старик брезговал, боялся.

Ел же старик сравнительно с прежними годами все меньше и меньше. Меньше ходил. Было как-то зимой, что вовсе не ел неделю. В большие морозы простудил остатки зубов, нахватался воздуха, есть не было никакой возможности. Жил неделю на одном тепленьком чае да на сахаре. Отощал, как в окружении.

Было у старика днем еще одно дело — вымыть лагун из-под рыбы и поправить коптильню — стенки обвалились, собаки в нее лазили, спали там в жару, спасались от ко-

маров. Когда уток подвешивать — будут пачкаться в земле. Нужно подкоптить сотенку для баловства, для вкусу на зиму.

По размышлении, старик решил ограничиться одной только заготовкой дров, ольхи кругом прорва. Ольховые дрова единственно стоящие для копчения, вкус хороший дают. Коптилку налаживать — минутное дело: дыру разгрести, лишнюю землю выбросить да колышков сверху набить. Были бы утки. Лагушок и немытый сгодится, рыба в нем давно уже была, уж, поди, и не пахнет. Соль, она все съест. Или потом, костер будет, в костре камней накалить, пропарить лагун.

7

Вечером на озеро стали снижаться табуны уток. Старик взял старые облезлые чучела, позвал с собой Ветку, а кобеля оставил в зимовье. Утка поднималась то там, то здесь, налетала из долины новая. Между хребтами она тянула, как в трубу. Высоко проходили гуси, но гусям рано еще, основной гусь пойдет под самый снег. В далеких северных тундрах еще тепло, поди...

И утка-то еще не северная, а ближняя. Северная поднимется разом и валом пройдет. Не всякая и задержится на Шамановском, ей некогда будет — большими маршами она летит, от северных морей до южных.

То утка дак утка! А эта — так себе, старику на разживу.

Гусь повалит — с хребтов его стрелять на перелете, где-нибудь в седловинке, между горок... От было бы делов! Хорошо тогда не болеть, быть здоровым, молодым да успевать охотиться, перезаряжать днями и ночами две сотни своих гильз. Разве только куда девать? Пропадет мясо!

Ширкала туда-сюда ондатра, кое-где поплескивала рыба, щука жрать начала, осень.

Старик отгребался веслом. Ветка вертелась на носу и, как только подошли к берегу, спрыгнула, попав задними лапами в воду, — промахнулась. Ветка воды не боится, не то что кобель. Кобеля в воду не загонишь, он не водоплавающий. Ветка — другое дело. Она за утятами по камышам все лето лазит, ловка на проделки, хлопунцов давит и подлетков. Много птицы на озере изводит, это точно, вечно мокрая.

Ветка убежала по острову мышковать, прыгала, стараясь передними лапами придавить какого-нито мышонка. Лисица да лисица.

Старик крикнул собаку, поймал ее на веревку, отвел на другую сторону острова и привязал, чтобы не мешалась, пока не потребуется таскать подранков.

Лодку он тоже оставил на другом конце. К шалашу притащил чучела, навязал их на шесте и бросил перед шалашом в заводи.

Место здесь было чистое, уютное — между осокой и камышами. Не зря и шалаш поставлен. Они и без чучелов тут обитают, когда бы ни ехал, утки почему-то в заводи.

Мешок с патронами старик положил возле себя, поудобнее устроился в шалаше и стал ждать.

Сразу, как он затих, откуда ни возьмись сел табунок чирков, четыре штучки сплылись. Старик взял на прицел двух...

Охота прошла удачно, набегали и табунками, и парочками, пострелял старик и по сидячим, и влет.

Как только солнце легло на хребет, вода потемнела, и старик стал стрелять только по сидячим. По его подсчетам, он навалял десятка три с подранками.

Похолодало, от воды пошел туман, поднялась сырость, старик подмерз и, хоть можно было еще стрелять, пошел за собакой, спотыкаясь о кочки.

Ветка села со стариком в лодку, и они поехали подбирать уток. На воде плавали белые перышки и клочья пыжей. У берега зашлепал подранок, Ветка прыгнула в воду и полезла за ним по камышам.

Чучела старик оставил плавать, отвязал шест, посадил в лодку собаку и уже потемну вернулся домой.

Кобель на берегу подвывал.

— Однако твой хозяин тебя потерял, а, Ветка? Повизгиват! — посмеивался над собакой довольный охотой старик. — Ожидат, как же, ожидат!

Кобель действительно потерял подругу и хозяина. Он пошатался вдоль берега туда-сюда, а потом смирился с тем, что его не взяли на охоту. Он весь вечер вставал и ложился, подрагивая от выстрелов, сильно долетавших по нижнему холодному слою воздуха над водой. Он обнюхал Ветку, залез в лодку, понял, что охота была ерундовая, по мокрым птицам, к которым у него было равнодушие.

8

Ели сытно. Долго сидели у огня хорошей компанией.

Старик даже ходил к лодке, поплескивая на воду светом керосинового фонаря, искать — не завалилась ли где в темноте под лавкой утка.

Он совсем развоевался, чувствовал себя сильным и здоровым, напевал сибирские кандальные песни, щипал уток и хвастался перед собаками.

Перо летало по зимовью, по рукам ползали пухоеды, нюхалки у собак были забиты пухом, они чихали и терли носами по лапам. Собаки видели, что хозяина веселит их- ний чих, и старались вовсю — придуривались, черти.

Если попадалась утка, старик говорил: «Дамочка, стало быть, извиняюсь!» Если селезень, старик одобрительно говорил: «Мужичок, мужичок!» Дамочек было меньше, они осторожнее подсаживались к чучелам, больше попадались на это мужички, они посмелее и попроще.

Лагушок он сполоснул кое-как, засолил и придавил уток камнем. И тогда только почувствовал, что устал сильнее обычного, даже пошатывало.

Ночью ему было хорошо, сквозь бессонницу он слышал перелет и нетерпеливо молодо ждал рассвета, чтобы ехать в шалаш, и собирался жить еще долго.

9

Осенняя охота у Князева получилась удачно. На чердаке повисло полторы сотни копченых уток. Он часто без надобности поднимался по лестнице, медленно перелезая с перекладины на перекладину, и то открывал, чтобы проветрить, то закрывал — уже проветрилось — дверь чердака.

Собаки следили за ним снизу. А он посмеивался: «Зиму поживем, хозяева».

И все хорошо, если бы не случай.

Поехал он на зорю и при выходе из лодки оступился. Ну вот как будто кто его легонечко толкнул в плечо сзади.

Он как бы и оборотился на этого неизвестного и сказал: «От те на, пошто это со мной?»

Только сказал — и вот, весь уже в воде.

Ну, замок да замок, ладно. Лодку все же подтащил и на берег сам вылез. И — ничего, вроде голова не кружи-

лась больше. Ему надо бы сразу в лодку да изо всех сил отгребаться в зимовье, а он — костерок гоношить, согреваться. Зябко стало.

Костерок так себе, трава да камыш, вроде и жарко, да не греет.

Покрутился на острове, покрутился, чует, совсем зазяб. Тут утки сели, бахнул — еще налетели, бахнул — еще налетели, будто согрелся.

Навалял десяток, да еще Ветка за подранками по камышам лазила — не бросать же ее на острове. Черти ее таскали! Уж и кричал он на нее, и ругался, а сам все зябнет и зябнет.

Вот момент-то и упустил, и пока греб — не согрелся уже. Расшуровал печку, чаю напился, хотел еще малины, а малины-то и нету. Вот так! Нету малины, а должна быть. И куда делась?.. Должна же быть, если не домовой!..

Ночью старик неотвязно чувствовал, что пухнет. Пухнет, пухнет, аж на нарах не умещается. Ни рукой, ни ногой. До кружки не дотягивается.

А на улице мороз вроде, снег.

Днем он встал и едва-едва притащил дров. И под рукой дрова, а едва дошел. На всякий случай решил натаскать поболе — с нечистым дела плохи, того гляди — не даст подняться. В зимовье как-никак, хоть на карачках, а подтопишься.

Он и собак накормил, размочил лапшу в корыте, себе же заварил соленых уток, оставались в лагушке. Хотелось бы копченых, но разве осилить лестницу на чердак.

Вот тебе и наготовил на зиму, а жить, кто его знает, придется ли еще эту зиму.

Он забрался на нары, укрылся всем, что было в зимовье, начиная со старых ватных штанов, — курмушками, истертым оленьим одеялом: старался сопреть, чтобы пересилить болезнь.

«Вот как одному», — думал старик, и слезы сбегали от глаз к ушам. Плакал он, лежа на спине, уставившись в прокопченный потолок зимовья.

В эту, а может, в следующую ночь старик услышал гусиный гогот.

Потом он увидел снег в синем окне. Озеро остекленело, замерзло. Снег на льду не держался — сдувало. Лед был бутылочно-зеленый.

Старик побоялся шагнуть за порог, подобрал кое-ка-

кие чурочки да щепки, подтопился и лег на нары, сказав себе: «Теперь, Кирша, не натописся...»

Ему не хотелось думать об одном и том же; он и не боялся, что же тут бояться, дело известное, — а не хотелось. Он вспоминал какие-то давние случаи, какую-то далекую родню, забытых и случайных людей из давних странствий, семью.

Думал он и о своих собаках. Он даже заманивал их, чтобы перестрелять из ружья, но потом переменил план: вдруг что-нибудь счастливое случится, вдруг забредет кто на Шамановское! Может, они сами на охотника тропами выйдут, когда испугаются?.. А мясо найдут... Кобель задавит теленка, зверька какого, кабарожку.

О смерти он давно все продумал. Умереть в его представлении было — уйти в черные далекие тайги, никому не известные, куда один за другим уходили прежние старики.

Давно они ушли туда, не вернулись.

Повалил снег и укрыл озеро и зимовье. Князь не оставил своего следа на этом снегу. Ушел великий охотник в черные далекие тайги, и все остальные снега идут теперь без него.

Глава пятая

ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПО МЕЛКОМУ СНЕГУ

1

Шла охота по малоснежью, ходовая, изматывающая. Панфилыч сколько мог старался со своим Ударом, но все равно Михаил был сильнее, моложе и удачливее. Осталось какую-нибудь неделю отходить, пора было и плашки поднимать.

Михаила, как всегда, Панфилыч отправил на дальние круга.

— Тебе, однако, идти, Миша. Темя кругами обежишь, подымешь. Вон, глухаря порви. Я пока тут покручусь.

— Ну, не вам же идти, ясное море!

— Не всего глухаря-то бери, я им тоже сторожить буду. Грибков возьми и грибками сторожь. Белочка любит. Там добудешь глухаришку, рябчишку.

— И то правильно, — согласился Михаил. — Чай пить?

— Короче деньки становятся. Скоро вовсе в рукавичку сожмутся.

По «Маяку» была утренняя воскресная передача. Панфилыч сделал погромче и посмеивался.

На улице Михаил разжигал костер для чая. Звякнула канистра с соляркой, пыхнуло черное сажинное пламя в окошечке. Панфилыч неодобрительно подумал, что Михаил льет солярку направо и налево.

Солярки, вообще-то говоря, две столитровые бочки от экспедиции осталось: одна здесь, другая у Данилыча Подземного на базе. Лет на двадцать!

— Ах, ёшь вашу клеш! Охотнички, растуды вашу мать! — заревел под окном Михаил.

Панфилыч обернулся к стеколышку — так и есть, опять собак дрессирует. Псы сидели на задах и, прижав уши, слушали лекцию хозяина.

— Кто без команды хапнет! Яссное море! Слушай меня! Саян, ты старшой, подходи! — Саян вскочил и вежливо, но без подобострастия подошел к цинковому тазу с кормом. — Удар! Твоя очередь! — Удар, помаргивая глазами, подполз к тазу и начал жадно хватать кашу. — Теперь ты, молодой! Байкал! — Байкал со щенячьей, невыветрившейся в этом огромном кобеле радостью вскочил, завертел всем телом и залез тут же в таз с лапами. — Салага!

2

— Разбаловались, — сказал Михаил, входя в зимовье с чайником в руках. — Алтая на них нету!

Алтай, лучший из трех Михаиловых кобелей, остался в Нижнеталдинске у тещи Ельменева, Клавдии Арсентьевны Кипятковой. Это был огромный выродок с примесью какой-то совсем непонятной крови, у него висели уши, хвост был некруто завернут, но масть была лаячья — черная с белым, разве только легкой рыжиной отдавал. Когда Михаил уходил на промысел, Алтай чуть не развалил поросячью стайку у тещи: прыгал там по стенкам как сумасшедший. Он и лабазных кобелей рвал. На зверовой охоте Алтай делал чудеса, хорош был по белке и по соболю, ходил много, но тут ему не уступали ни Саян, ни даже молодой Байкал, тоже способные трудящие собачки. Основной талант у Алтая был на медведя — четверых уже брал. Двух с Саяном вместе. Хоть бы царапнул один! Такой ловкий да хитрый.

Но брать с собой в тайгу Алтая было нельзя. Он Панфилыча не признавал, а это грозило большими неприятностями. Раз недоглядеть — ни одна больница после Алтая не сошьет: по-бандитски нападает, молча да на грудь, откуда только у него повадка такая, ведь ни одна охотничья собака не имеет права такое делать! Правда что зверь, а не кобель.

— Грибками, значит, сторожь пока. Да с куревом-то ох поаккуратнее. Соболишко-то отходит от табаку.

— А я в рукавичках куряю, ясное дело, — соврал Михаил, по-мальчишески ясно глядя голубыми глазами.

Стариковские причуды! Уж сколько раз специально замечал Михаил, что нет особого значения — курящий охотник или нет. Одно мнение. Равно ловят — что курящие, что пьющие. Ну, пусть пять процентов отходит от ловушки курящего, так ведь не бросать же курить из-за этого, как Панфилыч бросил. Пропади они, соболя, ведь не я для них, а они для меня. Гоняться за ними с утра до вечера, да еще думать! Нет уж, не сесть на валежину и не покурить, не обдуматься!.. Это же первейшее дело!

Попивши чаю, охотники оделись, привязали лыжи, Михаил махнул рукой и крикнул:

— Львы! За мной!

Обе собаки как с ума посходили от хозяйского окрика, бросились сначала в одну сторону, в другую, потом определились, куда бежит хозяин, обогнали его на мелком-то снегу и побежали впереди, да на махах все, на махах, пока не скрылись за Талым ручьем в темном молодом ельнике.

Панфилыч давно уже не бегал просто так, от избытка сил. Он отвязал Удара и взял его на веревочку, потому что кобель тоже норовил за компанией.

3

Малоснежье — самый ответственный период сезона. Позже собаки не смогут работать, будут ходить сзади по лыжне, тонуть в снегу по уши, жалобно поскуливать.

Удар показывался время от времени то там, то здесь между деревьями. Панфилычу хотелось увидеть свежий ночной след соболя, в километре от зимовья он и увидел его, как подарочек на снегу лежит. В вершину ключа вел след.

— Удар! Куда ты, старый хрен, попер! Удар! — усовещал Панфилыч умного кобеля, который впопыхах —

сильно много жирного запаху было на следу — сунулся в пяту. Но кобель уже и сам во всем разобрался и прыжками исчез в кустах, мелькнул в вершинке, потом перевалил сопочку, и стало не видно его и не слышно.

Панфилыч прошел по лыжне немного, оставил лыжи, чтобы не путаться с ними в кустах, не поломать, и полез за собакой вверх.

Через полчаса сквозь стучавшую в ушах кровь донесся голос собаки.

Так и есть, на гари. Панфилыч сильным ходом перебежал через неглубокую черную падь, открывшуюся за вершинкой,— сначала вниз, потом вверх наискосок, всего-то километра три-четыре,— утирая пот с бровей и вслушиваясь в голос помощника.

Кедр, под которым мячиком подпрыгивал Удар, стоял отдельно, довольно далеко от соседних деревьев, соболю не уйти.

Но соболь и не думал перескакивать, затаился, пережидает, когда собака отвяжется от него.

Удар показывал соболю, что совсем выходит из себя, потому что сам-то слышал приближение хозяина, но время от времени — хитрый же кобель! — замирал, выглядывая и выслушивая зверька, уркавшего на него сверху, и тогда по умным глазам собаки было видно, что просто напускает она на себя весь этот псих, роль разыгрывает.

Панфилыч встал поудобнее и шлепнул пулькой по стволу кедра.

Ни души, ни дыхания. Потом прошуршало, мелькнуло. Панфилыч еще раз выстрелил, и, немного подержавшись за ветку, соболь, развевая хвостом и ударяясь о нижние сучья, полетел в снег. Упал соболь на четыре лапы и поднял голову. Удар одним прыжком придавил его.

— Замри! — крикнул Панфилыч.— Удар! Замри!

Удар и не думал рвать добычу. Уж сколько палок обломано о бока — можно и наизусть выучить: найди — отдай!

Соболь оказался редчайший, темный как ночь, с голубоватой сияющей волнистой подпушью, на семьдесят пять рублей по шунгулешским ценам.

Обычно здесь соболь светлый, рыжий и дешевый, хоть и много его. Цвета распределяются приблизительно так: шесть раз меховой, три раза воротовой, один раз темно-воротовой, а вот такой красавец-головка — один

из сотни, а то, считай, и из двух сотен не прибежит. Головка головке рознь. Еще пару таких, и сравняться с Михаилом можно. Уж поахает, поахает.

4

В этот день Михаил тоже гнал соболя. Только начал плашки сторожить, как собаки подхватили ночной длинный след, уж после обеда где-то.

Далеко забежали собаки — шел, шел к ним, пока голос услышал, да на голос сколько идти пришлось. Добыл соболя уж к вечеру, изрубил одну колоду чуть не в щепки, а соболь — под другую, да оттуда в третью, в дупло! Собаки упустили!

Выкуривал куском дымной шашки, остаток был. Торопиться надо было на ночевку, а он вошкался с соболенком.

Михаил ругал соболя и собак почем зря, жалко было и шашку, и термитную спичку: по большому знакомству старшина с полигона принес — остаются там неиспользованные.

Заловили соболька кое-как, замучили бедного.

В вонючей саже с головы до ног, с порванной штаниной, ободранным о сучок коленом, сунув добытого соболя в карман, побежал Михаил искать лыжи, где их бросил, а оттуда — в зимовье, стараясь прямить путь, а в зимовье холодном, при свете коптилки, где-то уже к полночи, разглядел Михаил, что цвет у соболя подло рыжий, а стрелял в темноте, сблизи, разорвал чуть не пополам, да еще собаки, стараясь помочь побыстрее, чуть не напрочь откусили соболю голову, и теперь там лоскут оторван, да еще от сажи его стирать не отстирать! Возни сколько! Пошел день общим счетом за пятерку.

5

На обратном пути с круга в зимовье Петр Панфилыч Ухалов шел уже едва-едва, присаживался на пеньки.

От усталости в нем, несмотря на удачу, нарастало какое-то раздражение. Он вспомнил, как нынче напрасно совсем поссорился с охотоведом Балаем. Надо было, конечно, взять свое, пусть паренек знает, что с Панфилы-

чем не стоит связываться: в дерьме вымажет, если сам съесть не сможет.

Дело было с северным оленем. Ухалов с Мишей Ельменевым, пользуясь поблажками, какие добывал Ухалов своим особым положением, всегда получали задание на северного оленя. Промхоз нанимает на эту охоту вертолет. Бригаду — Панфилыча и Мишу — завозят и вывозят, нужно только убить и мясо к площадке стаскать. Считается, что добывать северного оленя сложно. Панфилыч это мнение всячески раздувает и поддерживает.

Мало знают северного оленя шунгулешские охотники, навострившиеся на лосях, изюбрах, косулях и кабарожках. А что олень? Охота, как и всякая другая: в нужное время в нужном месте точно стрелять.

Хороший куш — две тысячи рублей за неделю — не хохотушки. Нынче чуть не сорвалось дело, если бы Панфилыч не полаялся с охотоведом, не прижал бы его через власти.

Охотовед же знает эту охоту и подговорил каких-то транспортных начальников, мол, заработаете, ребята! Простая вещь, он из них бригаду оформляет: забросит, вытащит, поохотятся, заработают. И всем хорошо!

На этих трех охотников охотовед и отложил половину лицензий. Транспорт ему нужен, понятно! Вертится перед ими и так и эдак. Пойми, мол, Петр Панфилыч, люди-то нужные!

Ну, это ты сам как-нибудь, мы свое дело знаем. Пошел Панфилыч куда надо, пожаловался, попросил заступиться за простых охотников, которые трудящие передовики!

Кто же не заступится: с одной стороны — обиженная простота неграмотная, с другой — высшее образование.

Охотовед, конечно, не ожидал такой подлости.

Панфилыч знал всегда, к кому пойти жаловаться: к кому — на охотоведа, к кому — на директора, к кому — и на тех и на других вместе, и на третьих...

Позвонили из райкома, охотовед отдал лицензии Панфилычу, но, что и плохо-то, слова не сказал, не грозился, не ругался, не материл.

Погрозись он — потом ему и руки связаны: травит, мол, из личной ненависти, за критику. Видно, ушлый малый. Такого берегчись надо. Отдал и посмотрел с умом. А что он, дурак — с простым охотником на глазах

у начальства воевать?! С передовиком тем более. Да и сложное это дело, между прочим, кто понимает. Что с него взять, с охотника? В должности на понизишь.

Панфилыч все это понимает, для него это как шашки! С правды, говорят про него, живет, неправду поддаивает. А чо? Кто сгребет — тот и уведет, если по-нашему, попростому.

Ну и другой стороной тоже умеет ударить. Встанет на собрании, медленно, внушительно: «В нашей Советской стране! При Советской-то власти, передовиков зажимать? Простых охотников? Разве так велит нам, значит, партия и правительство, чтобы передовых зажимать, а лентяям блага? Если, значит, ход этому делу дать, нас по головке партия и правительство не погладят! Кое-кто думает, мол, закон — тайга, прокурор — медведь? Не выйдет, товарищи!»

Панфилыч устал и на пеньке сидеть, встает, пошаркивая лыжами, начинает спускаться в белую долину Талого ручья, в Теплую падь. Теплая она потому, что ручейки бьют незамерзающие, но не теплые, а как огонь холодные.

У самых лыж мелькнула мышка — маленькая, едва лапками гребется. Панфилыч пригляделся, а это и не мышка вовсе — землеройка. Холодно и глубоко ей на снегу стоять лапками, медленно пробирается босиком. Панфилыч с необычайной резвостью ударил два-три раза по снегу, где унырнула мышка, придавил ее палочкой ольховой.

Вкус свой имеет каждый зверь. Соболь, например, очень любит землеройку, возлюбленный его запах. На одну такую бурозубку Панфилыч как-то трех соболей поймал, во как лезут за сластью! Панфилыч поднял бурозубку и рассмотрел мордочку с хоботком и множеством мелких зубов. До чего мала, с палец не будет, а хищная зверь.

Ночью, со сна, Панфилыч будет время от времени вздрагивать, покрикивать, просыпаясь от своего храпа. Будет в полусне растоплять печку и греться, а утром, покормив Майка, опять пойдет на охоту, настораживать второй из трех кругов, находящихся в его ведении. И эдак до глубоких снегов. Там полегче, делов-то мало останется: раз в три-четыре дня по кругам обежать.

Такова прекрасная жизнь охотника по мелкому снегу.

Ну, а бывает, что мелкого снега вообще не бывает — сегодня чернотроп, а завтра — на метр, и нет сезона с собакой. Или дождем хватит, чиром снег заледенеет. Тогда всем сезонникам конец, у штатных-то плашки выручают, ну и с капканами, кто умеет.

Нынче-то хорошо, удобно получилось. И побелочили хорошо, и пособолевали. Теленка Михаил стеганул на дальнем кругу, мясо подтаскивает. Хорошо нынче. Пусть идут, пускай ложатся в черную тайгу белы снеги!

Глава шестая

ДАНИЛЫЧ

1

Заведующий задуваевским участком Ефим Данилыч Подземный — человек небольшой, не то чтобы толстый, а сытый, сырой и тяжелый. У кого и кудри под шапкой не потеют, а у Данилыча лысина всегда отпотевшая. Снимет шапку, платок достанет специальный, оботрет. Он никогда-то хороших волос не нашивал, но это забылось, и он рассказывает, что были волосы, густые были, как у медведя, и крепкие, как свиная щетина; баба висьмя висела, держалась — в семейной жизни все бывает, когда особенно мужчина яровитый.

— Твоя-то? — с сомнением качнут головами слушатели.

— Не всегда я лысый был, мужики, не всегда и Домна была необорная, школьница была, тоненькая была.

— Куда же волосья делись?

— А сопрели,— скажет Данилыч и, трусовато оглянувшись и поморгав глазками, усмехнется.

2

Сейчас Данилыч ехал на свой участок.

Впереди лошади бежал его старый и неплохой кобель Бурхало. За ним, под ногами у лошади,— сучка Шапка, а сзади — уже два раза битый в это утро, рыжий, сильно смахивающий на простую дворнягу, кобель Гавлет. Ехал Данилыч на один из складов своего участка, в уха-

ловскую, или, как он ее иногда еще называл, чтобы уколоть Панфилыча, князевскую тайгу. Ведь она раньше-то князевская была!

Ждали Данилыча на базе нетяжелые дела. Скоро замдиректора Балай обещал ему транспорт для вывозки ореха — болота подмерзли, брод перехватило льдом, вывозить давно уже можно. И теперь вот нужно сделать для аккурата учетик, посмотреть баланс-хозяйство.

Маленький учетик. Что там может случиться? Махнову-малому оставлены продукты открыто — украдет кто? С орехом что-нибудь? Махнов, конечно, оплатил продукты. А воров отпугнули хорошо.

Была история. Баба одна, Тамарка, воровство ореха организовала. Но Данилыч сумел, правда не без помощи Ухалова, дело выправить и под суд воров подвести. Теперь воры, как понимал Данилыч, напуганные строгой охраной задуваевского участка, долго не сунутся. Разве тарашетцы-хулиганы — теперь их власть приближается — забредут. Ну, сильно-то не побалуешься возле Панфилыча. Это такой крючок, Петр-то Панфилыч Ухалов, что лучше не цепляться — не отвертишься. Ухалов и есть Ухалов, фамилия-то жиганская, Ухалов!

3

Интересно заметить, что в своей редкостной фамилии Данилыч не замечал ничего такого особенного, хоть и часто за нее над ним безвинно потешались. Серьезная фамилия, чего там, звучит солидно — Подземный! В чужих же фамилиях Данилыч не упускал случая отыскать порочное значение, видел он таковое и в фамилии своего давнего друга-недруга Петра Панфилыча Ухалова. Сам же, отвечая на подкавыки, усмехался: «Мы Подземные, наши дела темные!» Намекал этим на большие тайные дела, каковых, собственно говоря, и не было в действительности. Какие дела у заведующего участком — усушка, утруска, бой, мышье яденье... Малый все оборот!

Данилыч не любил Панфилыча, но часто о нем думал, говорил, вспоминал. Панфилыч же его будто и не замечал, презирал, можно сказать. Данилыч чувствовал презрение к себе и имел за это на друга-недруга немалую злобу, или, как говорится, зуб.

Теперь вот Данилыч вез с собой официальные слухи

и, как ни странно, даже будто бы радовался немного, что большой кусок кедровой тайги надо будет тарашетцам отдавать, хоть это обстоятельство в первую очередь — и больнее всего — ударяло его же самого! Ведь задуваевский участок придется ликвидировать, и тогда, чтобы остаться «наверху» — а он считал себя наверху,— Данилычу надо будет переезжать в другую деревню, в Золотоношу, вить новое гнездо, строиться!

Но возникали при этом неприятности и для Петра Панфилыча Ухалова, а вот это-то и доставляло удовольствие Данилычу!

Во-первых, круг — сотня плашек — прямо уйдет от Ухалова к тарашетцам; во-вторых, нахлынут соседи-разбойники, будут промышлять рядом, разгонят, выбьют зверя из ранее нетронутых резервных таег! А беспокойства-то, беспокойства!..

И хоть самому плохо, а все-таки как не порадоваться: ведь и Панфилычу неприятность!

Петр Панфилыч Ухалов не из тех, кто без звука свое отдает, переживать будет, письма сочинять, сети плести: «Мы, нижеподписавшие, передовые охотники Шунгулешского коопзверпромхоза...»

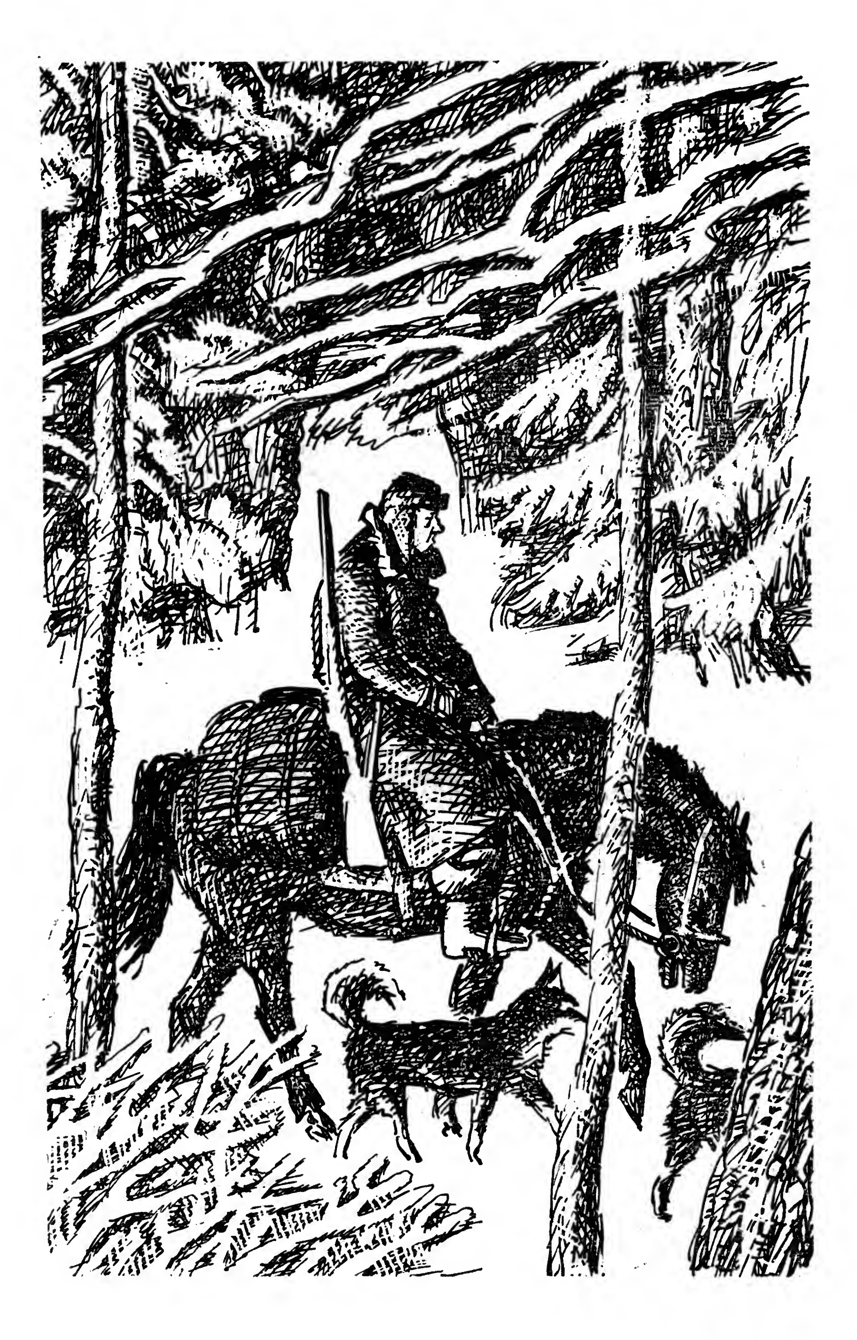
Крючок. Ведь, в сущности, ну кто такой? Неграмотный человек! Кто он против Ефима Данилыча Подземного? Можно сказать, подчиненное лицо-о! Охотник, и все. Передовик ты, не передовик, пусть богатый, а все ж таки не торговый работник!

4

Посреди таких мыслей обомлел Данилыч — по тропе прямо на него катился заяц. То есть заяц крутился по кустам, а Бурхало его ловил и давил. Так и задавил, случайно как-то. Данилыч, правда, успел дробью трахнуть, когда заяц еще раз выскочил на тропу, а Бурхало завяз в кустах.

Заяц выскочил и обезумело повалил навстречу, Данилыч стрелил и попал. Заяц сел на снег и заверещал, закрутился на месте, разбрызгивая кровь крупными каплями. Бурхало додавил.

Данилыч слез с лошади, зайца к седлу приторочил победно, головкой вниз.



5

Теперь кончилась спокойная жизнь. Раньше-то тарашетцы далеко были, горлопаны. Отняли назад Замайскую тайгу. Она и верно ихняя была, в ранешние-то годы. Отняли и теперь подступили своими ордами.

Данилычу всегда казалось, что тарашетцы — это дикие орды варваров, а шунгулешцы — стройные колонны трудящихся охотников и орешников. Теперь как саранча будут налетать тарашетцы во главе с перебежчиком-предателем Тиуновым. Вместо спокойной жизни теперь нужен глаз да глаз.

А до этого, вот уж сколько лет как дети подросли, жил Данилыч, как он сам про себя считал, слава богу. Участок у него меньше всех, заготовки больше всех, заработки больше остальных заготовителей. Сторожами — дочь, тесть, пока не умер, жена Домна, старший сын, пока не уехал жить на океаны, даже младший, Костик, и тот бывал оформляем еще школьником. Вот Костик техникум кончит, приедет!

В хороший год — кедрач на участке очень удобный и сравнительно легкий — выходило иногда по семи окладов. Это, значит, так надо считать; семьдесят твердых берем — раз, за тонну ореха пятнадцать рублей идет заготовителю — это два; третье — сам с сынами сдаст. А кому сдаст-то, кому? А сам же себе! Сыны в охотку помашут колотами, а уж принять-то Данилыч примет во всеоружии.

Усушка, утруска, бой, мышье яденье!

Главное, умел Данилыч радоваться своим маленьким хитростям.

6

У зайца вся требушонка в горловину ушла, в животе заяц вытянулся, талия тонкая стала. Заяц уже обболтался, уши у него и те красными стали, и бок лошадиный красный, все кровью вывозил, сапоги и мешок, все в крови. Данилыч поругал себя маленько, что сразу не сообразил. Ведь на горячем лошадином боку заяц кровит, а положить его сверху на мешок — давно бы заколел, мороз-то к тридцати пяти.

Хотелось как покрасивее.

7

Ефим Данилыч Подземный весь в маленьких тайнах. Роется в них, копается, выглянет на божий свет — вроде не туда копал, поправку надо делать. Иной раз и сам себя перехитрит. Когда тайн и хитростей не хватает, Данилыч их из ничего организует. Вот не знает еще Петр Панфилыч Ухалов, что решение состоялось. Данилыч ему скажет, конечно, да и как не сказать, когда Балай специально велел предупредить, чтобы с тарашетцами какого конфликта из-за плашек не случилось, но скажет не сразу, потаится, попрячет, выждет подходящий случай!

Или вот Шемяка-пасечник обезножел, бросил участок, Данилыч не поленился, раз пустует участок, съездил за ручей Кобылку, поднял двести плашек, кое-как чем попало наживил, но поднял. И молчит, таится. Украсть могут, кто забредет, а могут и не украсть. Только вот теперь лыжи надо сделать, чтобы можно было проверять, ходить время от времени.

Никто не запретил бы Подземному взять на время участок, пожалуйста, бери, без план-задания, дали бы с радостью — уважаемый же человек! Не то! Тайком слаще. Может, и узнают о проделке, ну тогда вместе с другими посмеется, но уж сам-то нет, не скажет. Пусть думают, что в субботу-воскресенье он из Задуваева выбегает на ходовую охоту, чести больше.

К Шемяке он заезжал, пособолезновал, но собачку шемякинскую, Дымку, какой-то головорез уже купил. Тут промашку дал Данилыч, но все-таки пособолезновал. Может, и понял Шемяка, что по собачку приезжал Данилыч. Понял — ладно, а прямо сказано ни слова не было.

Пикалов-пилорамщик какого-то городского привозил, взяли собачку за сорок рублей. Сорок-то, конечно, Данилыч не дал бы, дорогая забава, но все равно жалко. Вот всегда так!

8

Шапка вертелась и все отставала, чтобы соединиться с Гавлетом. Данилыч замечал эти маневры, ругал и стыдил сучку: «Мать по соболям, а ты по кобелям!»

Гавлет, заслышав голос хозяина, щурился и отставал на тропе, садился. Не удастся тебе, хитро думал Данилыч, гулять начнет — с Бурхалом запру в стайке, пусть толковые щенята будут, а не от приблуды какого-то.

«А, тварина-а! Сунься только! Застрелю!» — крикнул Данилыч на Гавлета.

Сейчас она не гуляет, играет ишо, молодая. Щеночки могут хорошие выйти. По десятке если кинуть... Иная и по два раза щениться изловчается.

Да, кругом деньги, кругом!

9

Уже сумерки спускались на вершины старых кедров, когда дорогу, угадываемую лошадью под снегом, пересек лыжный след,— это начались ухаловские путики.

Собаки убежали за Бурхалом, он-то знает базу, работящий Данилыч сделал крюк, чтобы посмотреть на первую кладку орехов.

Стараясь не ломать ухаловскую лыжню, проехал по целику, обдираясь о кусты, рядом с лыжней, как строчку в кодексе подчеркнул. Данилыч вежливый сосед. Миновал две плашки: в одной кедровка была задавлена, другая настороженная, с темнотой в раскрытой пасти. По-приятельски если, кедровку выкинуть, плашку насторожить, но Данилыч этого делать, разумеется, не стал, потому что такую любезность Ухалов не оценит, спасибо-то, может быть, и скажет, а сам подумает про себя, что у него белку утащили. Уж такой человек.

Штабель был покрыт толстым слоем снега. Видно, что Панфилыч не поленился, недалеко от штабеля делал крюк — проверял, цело ли хозяйство Данилыча, а может, смотрел, не проложил ли соболь следок к мышам под штабель. Но тоже — аккуратный человек! — шагов на пять не подходил: чистый снег вокруг штабеля, как печать государственная.

Мешки с виду все были целые, мышами немного наброжено. Есть следки, но не сказать что много. Птичьи следы, как водится. Орехи в мешках лежали на бревенчатом настиле. Вот между бревнами, наверное, мышей ужас сколько. Мышь — от нее не спасешься.

Кедровки — вот тварина истинная! — не столько со-

жрут, сколько растащут. Кедровка напрячет, напрячет, а потом ищет в голодное время свои похоронки, ну вот как старуха забывчивая, все чекотит, скандальничает. Глупое поведение! Умная птица немного бы прятала, да помнила лучше. А эта — ой, гдей-то у меня-то? Тварина, одно слово.

Наведя проверку, Данилыч вернулся на дорогу и начал спускаться в падь. Пока туда-сюда, зелень над тайгой осела вечерняя, потемнело небо, приехал Данилыч на базу уже по темноте совсем, собаки ждали, дал им хлеба.

Прежде всего он затопил печку, накидал дров, проверил картошку — оставлял полкуля, в старом рваном одеяле закопанную под нарами и закрытую сверху картонными ящиками. Диво дивное, картошка не замерзла! А ведь махнув рукой оставлял, не везти же ее было в Задуваево! Вот тебе и на, не замерзла!

Данилыч от удачи повеселел. Он расседлал лошадь, отвел ее, звякавшую колокольцем, за барак, в затишок, дал ей сена и овса. Проверил замки на складе, прислушался. От зимовья Панфилыча — километр до него через ручей — ни звука. Или нет никого, на дальние круга ушли? Не мальчик, решил в гости не идти по ночи, дожидаться, пока сам Панфилыч заявится к нему за новостями.

Он бросил зайца на чердак, в зияющую темноту, настрогал привезенного мяса, сходил за водой и заварил суп.

Дождавшись чаю, напился, поел привезенной с собой вареной говядины с луком, сводил лошадь к теплому ключику, попоил немного и, запустив Бурхало и Шапку в барак, лег спать.

Гавлет поцарапался в дверь. Данилыч мстительно улыбнулся.

Желудок привычно побаливал. Он и так и эдак ложился, побаливал желудок.

Данилыч уже заснул и стоял за прилавком огромного магазина, когда в стенку стукнуло. Он испуганно сел и пожалел сразу, что не сходил к Панфилычу,— было бы спокойнее.

Еще стукнуло.

Челюсть ослабла, зубы клацнули сами собой!

Копытом в стенку брякала кобыла.

Данилыч заставил себя встать и принести кобыле попить в ведре, а с ней и так бы ничего не случилось, простояла бы у другого-то хозяина.

В тайге было светло от снега, отражавшего лунный свет. Всю падь далеко было видно — синюю и зеленовато-черную.

Кобыла благодарно всхрапнула, теплым влажным дыханием нежно обдала заботливого хозяина. За это Данилыч еще сыпанул ей овса и подложил сена, в изобилии имевшегося на базе.

Было хорошо, тепло и просторно в бараке. Данилыч подбросил в печку дров, попробовал, уварился ли суп, да незаметно распробовал половину котелка, подумал, подумал, сокрушаясь доел и остальное, удивляясь своему аппетиту, и полез на нары под одеяло.

Он замечал, что стоило хорошо поесть — и ни про воров, ни про медведей-шатунов мысли не появлялись, страха не было. Вот не поевши хуже, самое неприятное — еще червяки приснятся. Ружье он положил рядом, у стенки, и не от медведя. Медведь что, он в избу не войдет, а вот в пятидесятом году шарились по тайге бежавшие зэки...

Но об этом Данилыч и думать изнемогал.

Глава седьмая

ЗАБОТЫ-ЗАБОТУШКИ ПЕТРА ПАНФИЛЫЧА УХАЛОВА

1

Удар разволновался, подошел к двери и взлаял негромко, потом вернулся под нары, угнездился и оттуда поваркивал. Панфилыч лежал с радикулитом и слушал радио, тоненько пищавшее в темном тепле избушки.

Конечно, пора бы уже Ефимке Подземному прибыть, тут склады его в экспедиционных бараках, орехи. Не чешется! Удар зря не лает, не ворчит. Вот ведь, собачье чутье, километр до Подземного, а слышит чужую жизнь.

Панфилыч, нехотя и покряхтывая — хоть можно было не покряхтывать, потому что радикулит угомонился, по-

кряхтывал он как бы в укоризну приехавшему среди ночи, растревожившему его Данилычу,— вылез во двор, щупая впереди себя темноту руками (в печке осталась зола, и свету от нее не было).

Вытолкнув дверь, на снежный ночной свет вылез Панфилыч. Ветерком его охватило. Из-под звезд спускался завесой синий стеклянный мороз.

Помочился Панфилыч, прислушался в сторону бараков.

Конечно, приехал Данилыч, колоколец брякнул. Лошадь.

Удар молчит, умный, не для кого лаять, теперь хозяин и сам все понимает.

Ленивый мужик, Данилыч-то Подземный, другой бы прибежал, но должен у него быть мурашиный спирт. Попросить надо, может, даст, сколь ему добра сделано.

Панфилыч остыл и убрался обратно в зимовье и загнал Удара, тот еще хотел выскочить между ног хозяина и побежать к собакам Данилыча драться, а там... кто его знает, какую свору привел этот Данилыч, попортят Удара ненароком.

В темноте зимовья ждали и сразу обступили Панфилыча три заботушки: первая — о пенсии, вторая — о дочери-карлице, третья, новая и повеселее двух других, даже волнующая и бодрящая, состояла в том, что Панфилыч случайно набежал на свежий медвежий след и переживал теперь, успеют ли они с Мишей Ельменевым найти медведя, не навалит ли снега, ведь большие снега на подходе...

Михаил сейчас был на своих кругах, обходил плашник и должен с большой добычей появиться не сегодня завтра, а мог и подзадержаться.

Одному же теперь медведя не взять. Ну его к лешему, одному-то все равно пополам делить надо.

Вот в этом-то положении и была мука. Будь он один — сразу бы пошел, пошел бы и убил, и мясо бы на Майке вывез, и все бы сделал, ну а раз пополам — пусть и напарник рискует.

С пенсией же вот какая история. Правда, если говорить о пенсии, то надо начинать с тех дальних времен, когда все запуталось, когда Панфилыч был еще не Панфилыч, а Петька двенадцати лет.

В те еще дальние теперь годы стал образовываться Петр Панфилович Ухалов в то, что он теперь есть.

2

Родился Ухалов в четырнадцатом году, а когда отец с семьей откочевывал из голодной России, на сибирскую сказочную жизнь нацеливаясь, подправили Петьке документы, подмолодили на два года, чтобы дешевле были билеты и чтобы на два года позже идти от предполагавшейся земли в солдаты. И вот такой пустяк сказался, пенсию он не получает уже два года — аж через полвека аукнулось! Обстоятельства всегда так обступали, что между обстоятельствами и рос, как растут какие-нибудь фигурные кабачки или тыквы у любителей: кто в бутылочке растит, кто в банке, кто шестеренками обложит — и шестеренки отпечатаются, кто в коробочку засунет — кубом получится, третью калачом свернут, шестую вырастят с перехватами, вроде человечка. Жизнь знай себе выкладывает клеточки, делая слепок направляющей ее формы,— клеточка за клеточкой, клеточка за клеточкой; такие чудеса навыкладывает — руками разведешь!

В Сибири, под Нижнеталдинском, четыре года жили на заимке. Подняли елань, пусто было после войны, свободно. Зажили; кажется, хозяйство сгоношили, сыновья поднялись, впряглись рядом с отцом...

Утонул отец на переправе, на глазах у людей унес его Шунгулеш, захлестнул волнами, не нашли: видно, унесло тело на север, в тундры, к Ледовитому океану. Остались заимка, елань, мать и четверо детей.

Старший брат пошел наниматься, посылал помочь, а потом уехал на дальние северá, помогать перестал; наверное, женился — ни слуху от него, ни духу.

Остался в семье Петр за мужика. С землей ему было не справиться, мал; пошел работать по людям, мать его далеко не отпускала. Работал он у скорняка, там ему нравилось. Скорняк был приезжий, семья у него жила где-то далеко, дети учились, а он, не жалея сил, сбивал копейку для них. И мальчишка скорняку понравился, он бы его и выучил ремеслу, но что-то помешало, в два дня свернул скорняк дело и уехал из Сибири. Говорил скорняк Петьке: «Вот зачем вор ворует? А грамотному человеку все само собой открыто! Учись — и все дороги будешь понимать!»

Пригляделся у него Петька, как шапки шьют, для себя потом делал, но до настоящего мастерства не дошел, да и мода на такие шапки прошла вскоре, другие стали

шить. Про грамоту он и так знал, грамотный найдет, где деньги лежат, замки сами собой спадут.

Но семья на шее, приходилось не о грамоте думать, а в ярмо идти. Тогда Советской власти по сибирским загольям еще не было, тот же бывший партизан Фемисов держал трех работников, а при расчете кивал на бога, крестился, хватался за наган, обсчитывал, бил даже кого послабее.

Не то что ума не было у Петра — не учился, а обстоятельства жизни: в зимовье бы он теперь не лежал, кабы грамота, сидел бы в кресле. Он и без грамоты рационализатором считается. На Выставку, как передовика производства, посылали. В Москву с зампредседателя облпотребсоюза летал, по имени-отчеству друг с другом.

Панфилыч умел говорить с крупным начальством. Он и погрубливал, а умело! При всем народе, и похоже на правду-матку, но в то же время не обидно для начальства, даже нравилось, хоть и морщились. Другие охотники дуром зубатятся с мелкими домашними шишками, а большое увидят — и пришипятся, примолкнут, молчок молчуном, будто это все лес да все медведи: чем больше — тем страшнее! Не так это, ума-то нету понять: мелкое начальство все время над тобой ходит, ему не лень станет и прищучить тебя в узком месте! А большое, большое — оно поморщится да и забудет. Но уж мелкое-то начальство, видя твой скок, само тебя боится.

Понимать надо, где прижмет, а где отпустит. Вон, таракан в шкафу живет, двери-ящики ходят, сколько смертельно тяжелых для таракана вещей передвигается, а живет таракан, плодится.

Отец-покойник подвел! Если бы Петьку не в землю вгонять с малолетства, а в школу! Велика ли прибыль в хозяйстве от малолетка! И в армию бы раньше взяли, кабы не приписка, и с войной, может, что-нибудь лучше сошло, если бы со своим-то годом. Глядишь, и там бы успел на сухое место выбраться, может, и без ранений обошлось бы. Хотя тут уж кто знает, война — это война, ничего с жизнью общего. Сколько их, грамотных-то, полегло!

Судьбу тоже уважать надо, другие и раньше пошли — головы сложили, и позже пошли — сложили, и без рук, без ног вернулись, калеки калеченые! Ох-хо-хошеньки, вспомнить-то! Грех жаловаться, война обошлась Панфилычу более или менее...

Но вот с пенсией! Два года полных уже пропадает пенсия! По сто двадцать рубликов на месяц! А? Это же две с половиной тысячи рублей, старыми-то — сказать страшно! — двадцать...

Грех, грех на отца жаловаться, чего уж там. Тоже, сермяга, вертелся из-за рубля. Мать рассказывала, не простой был мужик Панфил Ухалов. Умный.

Или вот, приехал раз на мельницу, в России еще, молоть зерно, а там очередь. Сидел он, сидел в уголку, народ-то все злой, голодный, не подступисся. Скажи им, что семья в тифу горит, не поможет, никакой слезой не возьмешь — очередь! Подумал, подумал. А мельница-то была паровая, а мужикам было скучно слушать стук мельницы. Вот и учудил отец-то. Вышел на середку, шапку оземь:

— Эх, мать честная, распрекрасная музыка зазря пропадает!

— А ты бы сплясал! — мужики-то говорят.— Попляши!

Панфил и глазом не моргнул, выходку сделал, приноровился — и давай лаптями гукать оземь, плечами водить, руками да кудрями потряхивать. У него кудри были, у отца-то.

Вот, значит, хоть волком вой, а пляши. Детишков жалко, дак и под паровой двигатель спляшешь.

Так и пролез без очереди, и мешки ему помогли стаскать, мужики-то. Приезжай еще, мол, плясун!

Что уж тут, на отца-то. Ума не занимал, а если вбивал в землю, дак он на нее, на землю-то, всю ставку и делал, испокон веков земля не подводила. Где ему было знать наперед, что захлебнется шунгулешской волной.

3

В войну умер сынишка Павлик, как раз был бы Мишке Ельменеву сверстник. После войны поправились с детьми. На другой бок. Со старости уродили утешеньице... Сразу видно было, что баба нездоровую девчонку принесла.

Сестра Фиса окрестила девочку потихоньку — не помогло. Старуха сдуру молиться начала по ночам. Панфилыч же этим молитвам спуску не давал: нету мне утешения и надежды, так и тебе не будет. С постели скараулит, будто заспит, дождется, пока Марковна зашепчет, и тут

ей яду и подпустит. Молись, мол, молись, старая дура! Спасибо скажи за дочку-то!

Марковна в отместку деньгами дразнит, дескать, за деньгами жизни ему уже не видать. Куда копишь?

Мы знаем, куда копить! Без денег кому ты нужна будешь? Родня и та в гости не придет.

4

Деньги Панфилыч уважает. Любит, можно сказать.

Пережитки прошлого? Побольше бы этих пережитков на нашей сберкнижке! Перевоспитывайте меня, перевоспитывайте!

Мишка Ельменев — вот действительно его и перевоспитывать не надо: бери и веди в коммунизм. Он там обрадуется сразу. Мишка был, Мишкой и останется. Ему все равно, хоть в солдатах служить, хоть в певцы, в шофера, в лесорубы! Хороший, конечно, мужик, артельный, а не возьми его Панфилыч в свою тайгу — пропал бы парень. Вот уж точно, за деньгами не гонится, есть у него — поет, нету — тоже поет.

Другое дело — серьезный человек, тяжелый который, такой без денег и жизнь возненавидит, откажется. Да и нельзя без денег, как же так, все же остановится на белом свете!

5

Жерновом давят заботы Панфилыча, глаза блеск потеряли.

Разумеется, пенсия обеспечена. Даже если удачи не будет — квитанциями похимичат, выведут на Панфилыча максимальную выработку, будто Михаил проболел в тайге месяц, никто не подкопается. Михаил, конечно, согласился с таким планом, проявил товарищество, а все-таки и этого мало Панфилычу, выгрызает он все до последнего, совсем зубов не будь — деснами отмочалит свой кусок, да и не только свой...

С пенсией тайга связана. По положению, пенсионер имеет право охотиться на угодьях общего пользования, а участок передается работающему охотнику, в данном случае — Михаилу Ельменеву. Мишка может и не пустить к

себе Ухалова. Не согласен, скажет, и все; он молодого напарника возьмет, будет его сам обдирать. Тайга налажена, любой согласится за треть в ней работать. Ее только поддерживай в порядке, и — ваших нет!

Нет, не позволит этого Михаил, благодарность тоже надо иметь.

Панфилыч криво усмехается, уж он-то знает, почем досталась тайга Мишке Ельменеву. Да и Михаил все понимает: кто тут хозяин, кто работник эксплуатируемый... Может быть, даже знает Мишка, зачем каждый сезон к ним в далекую тайгу за мясом — будто нельзя мяса ближе добыть — приезжает младший ухаловский братан, бабник Митька. Но об этом молчок, кровью пахнет.

Другое дело — медведь. Каждый год тут медведи проходят. Дойдут до Шунгулеша, смотрят, лед ненадежный, и по берегу идут вверх, те, которые поздние, не легли вовремя. Справные медведи ледостава дожидаться не станут, спят давно.

Хороший след, заоглядываешься.

Успеют не успеют, это как Михаил подгадает. Но и медведь себе на уме — как хватит на Предел, тут его и поминай как звали. Говорят, что там сильно медведя накапливается, правда — нет ли, но следы в большинстве, которые проходные, туда ведут. Есть, наверное, там такие места.

Молодые бы годы да теперешняя техника, вертолеты эти, самолеты! А оружие-то! Слов же нету, артиллерия! Можно бы развернуться. А тут спина еще позванивает, на улицу позывает, хоть совсем чаю не пей на ночь. Опять вставать надо, сна-то нету ни в одном глазу.

6

Снова вышел Панфилыч на мороз, и Удар за ним, потягивается на лунном снегу, ногу за ногу выправляет, и зевает, как хозяин.

Звезды померкивают, и нету в них никакого страху для Панфилыча, страх у него куда ниже звезд — облачность, не навалил бы снег, не пропал бы медведь... Но небо было стеклянно чистое, звезды осколочками, луна обмылочком. Надо же, как далеко! Правда, что ли, машина там ползает автоматически?!

Уж больно краюшки неровные.

Глава восьмая

СОЛНЦЕ И ТЕНИ В МОЛОДОМ ЕЛЬНИКЕ

1

Михаил Ельменев не очень торопился в центральное зимовье, где ждал его Панфилыч.

В тайге хорошо, никто не вяжется, не пристает с разговорами.

Вниз по мелкосопочнику — тайга необъятная, вверх — кедры громоздятся, будто один другого перерасти хотят. Выше — гольцы. Облачко перышком висит.

Все устроено и прилажено одно к одному, лучше не надо, не придумаешь. Медленно покачиваются высокие вершины, чуть заметно поддаются невидимому течению воздуха.

Михаил вышел очень рано, обошел последний из шести подотчетных своих кругов, соболя вынул и восемь белок, повыкидывал синиц, летягу, перезарядил плашки, сделал всю работу и сейчас, в три часа дня по хронометру, когда снег уже заметно пожелтел (утром был синий и розовый) под желтыми лучами склонившегося солнца, сидел в красивом распадочке, не имевшем названия, попивал чаек. Здесь, если прикинуть, середина всего участка, одинаково идти — что на базу к напарнику, что в ближайшую избушку. Избушки стоят на участке не в линию, а треугольником.

В этом распадочке Панфилыч когда-то двух соболей добыл за час, года три, однако, назад. Это все чайные распадочки, середина, вот и чаевничают здесь.

Собаки лежали на снегу и ждали, пока человек попьет чаю с сухарями и несоленым сливочным маслом. Им ничего не полагалось в середине дня. Человек кормил их утром и вечером, а они — вежливые собаки — в рот человеку не смотрят, но чутье у них сильное, да и масло так легко и тонко пахнет на морозе.

Не хотелось Михаилу идти на базу. Сидит Панфилыч, ждет его с пушниной. Приболел! Зачем только хитрить? Все равно пройдет по своим кругам, принесет добычу, сделает свою долю работы. Мог бы и просто сказать: не хочу, мол, что-то, Миша, из зимовья вылезать, ты, мол, побегай, а я полежу. Да и лежи ты себе, разлежись! Нач-

нет с утра охать, притворяться. Какие могут быть хитрости между четырех глаз! Все же видно! Сколь же надо совести иметь, чтобы врать прямо в глаза?..

2

Лет пять будет после Панфилыча называться тайга ухаловской, потом начнут называть ельменевой.

Может, Андрюшка Пороховцев в напарники пойдет, или Зотова позвать, или из Зуйков кого. Добрые все ребята, работяги, честняги. Уж они бы жили по-товарищески, артельно, не ловчили бы на каждом шагу, не обманывали!

Что говорить, сколько хороших мужиков в Шунгулешской тайге! Есть настоящие товарищи!

А и старики есть хорошие. Вон, Князя ругают оба, что Панфилыч, что Поляков! А что Князь? Он же уступил, злобы нет в человеке, жадности, он и уступил — нате, жрите!

Таурсин рассказывал. Лежал он в зимовье, ногу сломал, а тут Князь мимо со своей сворой идет, в город выходил, пьянствовать среди сезона. Князь ведь как, захотел выпить — сезон не сезон,— встал на лыжи и пошел за семьдесят верст в Нижнеталдинск или еще куда, погулял да вернулся, а сдаст все равно больше всех! Вот и шел он мимо таурсинского зимовья. Глянул — видит, дело плохо. Таурсин сделал себе лубки и думал, что порядок, а там загнивать стало, в лубках-то, перетянул чего-то или по какой еще причине. Князь и остался у Таурсина, лечил его, вылечил. Таурсин сам рассказывал, а этот врать не будет.

Панфилыч и Таурсина не любит: алкоголик, дескать. Никакой не алкоголик, другой напьется и — никому ни слова, как хомяк, а Таурсин — он же гуляет, а не пьет, по гостям ходит, смеется, шумит, все и видят: опять Таурсин выпивши. В столовой Панфилыч ему говорит: здорово, мол, Таурсин! А тот его и спрашивает: ты чо же, мол, Петр, аж два слова сказал мне, а ведь тебе от меня никакой выгоды нету, или боисся, что я тебя насквозь знаю? Дескать, слова не скажешь и пальцем не пошевелишь ты, Ухалов, без выгоды, дак я тебя за это презираю и «здравствуй» не скажу! Такой намек дал — на всю столовую прогудело.

Сидел потом Панфилыч — как по горло в ледяной воде. Михаил тогда с ним был, пиво привозили в столовую на станции.

А Таурсин — в своей компании, поглядывает, усмехается.

Умные слова сказал: дескать, я, говорит, Панфилыча не боюсь, хоть он может мне зло сострoить, а боится его пусть один человек, Миша Ельменев! Вот как. В том смысле сказал, чтобы Миша таким же не стал, как старший напарник.

Но пока про Ельменева Михаила никто не сказал, что он товарищество нарушил, или сплетни разводил, людей ссорил между собой, или другое какое зло посеял. Не будет этого никогда. На автобазе, в армии, на лесоповале — везде Мишино плечо надежное, не подводил; как люди к нему, так и он к людям!

3

Когда первый год Панфилыч оформил Ельменева учеником, то сразу сказал:

— Ты, Михаил, понимать должен. Беру тебя в обстроенную тайгу, в ней мой пот-кровь. Отойду от охоты — тебе оставлю. Пока же я тут хозяин, и мои порядки. Старость придет — без куска не оставишь, сына у меня нет, твоего сверстника...

Это он умеет — про старость да «без куска». Хорошо «без куска»! Пенсию какую отрывает, да на книжке у него тысячи! Но, как говорил Суворов, не давши слова — крепись, давши — держись. А он слово дал Панфилычу.

Обижаться нечего, уж такое у Панфилыча понимание об жизни. Пусть при своих понятиях век доживает, а люди не скажут, что Михаил старика из тайги выживал, скандальничал. Пока сам охоту не бросит, до тех пор у него право на тайгу. Может, он для всех плохой, а все же в трудное время помог. Денег дал на санаторий для Паны, пятьсот рублей как копеечку, лицензии на пантовку достал, когда панты нужны были. Пану лечить. Да и вообще, если бы не Ухалов, кто его знает, может, никогда и не стал бы Михаил классным специалистом-охотником, а это большая гордость. Ведь охотовед тогдашний наотрез отказался взять Михаила в штатные охотники! Панфилыч сам выхлопотал, заступился...

Конечно, тяжелая работа вся на Михаиле, дальние круга, кухонное хозяйство, да и привычка понукать — поди туда, поди сюда, делай так, а так не делай! — много значит. Ну и во внимание надо взять — пожилой человек, войну прошел...

Первый год Михаил работал из трети, но от премии Центросоюза Панфилыч принес ему законных сто рублей. Тогда много на Панфилыча записали — надо было передовое место забрать. Михаил же сдал пушнину попозже, сотню белок да соболиную рвань. Но без обмана, условленную треть Панфилыч выплатил, с деньгами он всегда без спора, условлено — отдай.

Умные люди понимали, что Мишкина пушнина на Ухалова пишется, но поди проверь. А как Пана радовалась первым хорошим деньгам! Побежала с ними в сберкассу, смеется, всем показывает: Миша заработал! До этого Михаил шоферил, от получки до получки жили. А тут чистыми две тысячи, да еще, считай, рыба, мясо. Пьянки кончились, как ножом отрезало. Шофер — он все время возле магазина. А таежный человек? Вот то-то и оно! Ну, выпивки небольшие остались. Обстановку новую купили, Пану одели, Гришку.

Так что вот старик-то, может, и не имея в виду, а на путь поставил.

Что с человека требовать, у него сознание такое. Всю жизнь зверем отжил — кто кого сгребет. Дотерпеть диктатуру, а потом вот так: «За науку спасибо. По гроб жизни. Но больше ты меня не эксплуатируй. Давай по-честному все. Ты, понятно, старик, пусть на мне остаются тяжелые котомки, дальние круга, но по кухне ты теперь сам хлопочи, по товариществу. И не командуй больше. Никто у нас не будет в зимовье командовать! Ходи в тайгу, сколько будет желания, а перестанешь — тебе и Марковне и мяса и рыбы всегда. Вот так, слово мое ты знаешь!»

Прямо сейчас загорелось Михаилу пойти на базу и сказать все это Панфилычу, но представился ему стариковский взгляд, насмешливый, хитрый, и настроение сразу пропало. Усмехнется Панфилыч, как укусит. Ну его...

Однако пора трогать, остыть можно.

Обхлопал Михаил лыжи, положил на тропу, привязал, рюкзак поднял, патрончик в тозовке проверил. Собаки встали и побежали в темноту под елки, в сторону базы,

а Михаил зашуршал лыжами в обратном направлении. Ну его, старика, ничего он не понимает в хорошем отношении, а собаки — те оглянутся и вернутся.

4

Внизу по наледи Михаил перешел ручей, полез в сопку, разогрелся, и усталость будто прошла. Оглянулся — собаки взапуски догоняют. Байкал тяжелый, вон какую крепкую лыжню проваливает, вездеход, а Саяша легкий, лапки подбрасывает. Догнали, обрадовались, пошли по кустам отплывать, шариться.

Через утренний след лоси прошли, набродили, набороздили.

Плашка спущена, часа три прошло, а вот птичку и прихлопнуло. Две! Один поползень на краю сидел, а другой залез вглубь, за наживку дернул, обоих и жмякнуло. Застыть еще не успели, мягкие. Чуткая насторожка.

Михаил оглянулся вокруг и ни с того ни с сего вспомнил деда. Тень, что ли, такая в елках была, солнечный свет?

Дед был с войны сильно раненный, но затейный, Акинтич-то. Однажды сделал он Мишке саночки на березовых полозьях, вроде кошевки, высоконькие, на копылках. От живости воспоминания Михаил дрогнул всей душой. С чего бы такое далекое — дедушка с этими санками?

Из школы Мишка прибежал, с уроков сорвался, потому что пирожки с картошкой мать обещала, он и не смог усидеть на уроках, все пирожки мерещились. Голодовка же. Прибежал, дверь в сарай открыта, и видно — дед в темноте что-то делает, тюкает. Воробьи по навозу роются, навоз теплый, парит.

Дед саночки ладил, когда Мишка в школе был, втихую, а вот нежданно прибежал внучек и застал старика за баловством.

— Мне, деда?!

— Воду возить на тебе будем! Но-ка, запрягайся, жеребчик без узды!

Эх, санки были!..

Видно, солнце так же стояло в то далекое детское время или в сарае темнота была, как в ельничке вон. Так ожил дедушка, что, выйди он сейчас из ельника, не удивился бы Михаил. Встанет против и скажет: не сер-

дись, мол, и не завидуй, Миша! Завись худым людям в наказание, она покою не дает!

Бабка вмешается:

— Все-то начитываешь да начитываешь, зачитал мальчишку-то вовсе! Иди ко мне, внучек! Его головка этого еще понимать не может! — Руки бабкины сухие, шершавые.

Краем уха слушал дедовы наставления Михаил, не подозревая, что так вдруг и всплывут когда-нибудь целыми островами в памяти.

— Умирать собираюсь, глупая! — дед-то отвечает, посмеивается.— Учу напоследки!

Легкие саночки были, а крепкие-е!

На них воду, конечно, не возили. Летал Мишка на санках с яра, через всю деревню, через прыжки-трамплины, как птица, быстрее, быстрее, кувырк — в сугроб!

Какие крепкие были! Пьяный Евстигней-сосед скатился на них! Едва-едва Мишка забрался на яр, а Евстигней из конторы шел. Отнял санки, будто посмотреть, а сам уселся на них, боров здоровущий,— аж скрипнули, бедные,— покатился. Заплакал Мишка, глаза закрыл — сейчас на прыжках саночки развалятся! А боров пьяный хохочет внизу! Побежал Мишка к реке. Стоят на льду саночки обиженные, дожидаются.

Крепче деда оказались, крепче бабки...

Все-то дед жаловался, что живет, а сына убило. Выпьет рюмку и плачет, что перепутали в верхнем ведомстве, не того Ельменева убило.

Остался Мишка с матерью.

5

Про Михаила Ельменева говорили: как был огольцом, так и помрет, мужиком не станет. А он сразу после школы и женился.

Среди одноклассниц Пана выглядела взрослой девушкой. Шумно забредали белые ее ноги в воду на троицу, придерживая руками косынку на пышно завитых волосах, большой сильной грудью мягко ложилась на воду, заплывала как корова, медленно поводя задранной головой, далеко от берега поворачивала обратно, поднимая волны мощными рывками, «по-бабьи» подплывала, начинала вставать на глубине, шла на берег, отлепляя лиф-

чик на сжавшейся круглой груди, просвечивали через мокрый белый сатин темные соски, поднимала руки к волосам, за шею — мокро курчавились рыжие волоски под мышкой, приседала широким крупным задом, подтягивала, отлепляя, трусики, вся выходила из воды, сгоняя ладонями с плеч, с живота, с белых, кругло и заметно расширявшихся вверх ляжек воду.

Девчонки-сверстницы визжали в реке, гонялись друг за другом, убегали от парней. Ну, а Пану так не пожмешь. Спокойно смотрели большие серые глаза: ну-ка?

Во время экзаменов на реку ходили, по кустам шарахались, счастливые, на комарах, с дымными кострами, с песнями.

У Паны не было пары, не было ее и у Михаила. Слишком серьезная была Пана, взрослая, можно сказать, не для игры. Слишком узок был в плечах, худ в спине, покрытой пятнами грязного загара, Михаил — прокуренный нижнеталдинской хулиган. Постарше парни на Пану поглядывали. Но когда они собрались бить Мишку в клубе, то побоялись подойти к отчаянно и смело стоявшему в углу за уборными Мишке.

Прошелестело слово: «Нож!»

Нечаянно, вернее — совершенно спокойно выпила Пана водки с мальчишками, деликатно пожевала пирожок рыбный и опьянела. Тут-то ее и состерег Мишка.

Свадьба была стриженая, перед самой армией. Пластинки на проигрывателе крутили пальцами — моторчик сломался — по очереди.

Пана выпила красного немного, нельзя ей уже было. Мишка не сводил с нее глаз, за руку ее держал.

Сказала Пана в тесной спаленке за перегородкой, чтобы служил спокойно, ни о чем плохом не думал, будет она верной женой до последних дней жизни, до гроба.

Как далеко казались последние-то дни, только пирог закусили...

6

На восточной границе Михаил служил образцово, хоть и допускал иногда мальчишеские срывы. Все знаки отличий, какие можно было заслужить, заслужил.

Товарищи его любили. За ловкость и веселую исполнительность ценили командиры.

В положенное время родила Пана Гришу.

Никто не верил, глядя на безусого сержанта, что на фотографии красавица с мальчиком на руках — жена.

И сам-то Михаил не особенно в это верил, привычки к жене не было, сына не понимал, относился к нему как к родственнику, как к младшему, например, братишке, хоть не упускал случая к месту и не к месту вставить, что он мужик детный.

После армии еще норовил жить огольцом. Ходил с холостыми товарищами, женатых мужиков среди друзей не было — все у него были ребяты.

— У Гришки ребятишки, и у Мишки ребятишки,— с горьким смехом говорила Пана.

Работал Михаил шофером, потом в леспромхозе, потом опять к машине потянуло.

Но если другие умели извлекать из машины все блага, какие она может дать в сельской местности, Михаил этого не умел, да так и не научился. Привез как-то Буслаевне навозу на огород, а ей пенсию выдали, и вся-то она, эта пенсия,— за навоз отдать. Разве руки поднимутся?

По дороге на морозном ветру пассажира подобрать — какие тут деньги? Говоришь с ним как человек, а потом он тебе сует деньги? С накладными мудровать — мешок кормов сюда, мешок туда?

«Беспечность» — это качество в личное дело в армии внесено было.

Ну, ничего, надо же и беспечным жить на белом свете.

Заметно постарела Пана с заботами, подруги ее еще замуж не выходили — гуляли, учились. Забегали бывшие одноклассницы как к старшей, с тайнами своими девичьими, поболтать, Гришку потискать.

Дошли до Михаила слухи, что было у Паны в Мареве, еще перед тем как переехала ее семья в Нижнеталдинск, что-то такое в школе с учителем физкультуры. И не верил Михаил, а отрава подействовала: начались загулы, скандалы, бить стал Пану, хоть на коленях клялась, что до него никто не притрагивался. Что тут сделаешь, если с сердца не отлегает!

Но пришла беда — забылись маленькие бедки.

Сделала Пана неудачный аборт, и — то ли простудилась после этого, то ли еще почему — привязались женские болезни. С Шарапутовой Настасьей сдружилась, с фельдшерицей, из-за лекарств, травок. Врачиха эта, фельдшерица, путаная была баба, мужиков водила, ну и прочее. Известно, если балованная...

— Подругу нашла,— зло говорил Михаил,— лахудру!

— Ведь состарела я, Миша, покамест ты казакуешь. Нам с Настасьей одне года дают, а она меня на девять лет старше.— Пана заплакала, подошла к нему и ему же на грудь упала.

Вот так всегда у нее было, с ним же поругается, и к нему же плакать идет. Никакое сердце этого не выдержит.

Болела по две-три недели, едва по кухне ползала, самому приходилось все успевать в хозяйстве, научился и полы мыть, еду готовить, и тряпки стирать, и скотину кормить.

Катились год за годом. Гришка уже в школу ходил, весной бурундуков отцу в план стрелял из тозовки.

Собиралась Пана на курорт, переодевалась, сменила будничное белье на заветный черный гарнитур с кружевами, посмотрела на себя в зеркало на шифоньере, а и груди висят в сморщенном лифчике, да и ноги не те под кружевами. Не то, не то, Пана! Заплакала, упала на кровать. Верно говорила Настасья: «Разве тебе такой мужик нужен, Паночка? Ветрогон! Он в женщине-то еще ничего не понимает, а поймет — ты уже старуха станешь!»

Михаил увидел в окно, что жена перед зеркалом вертится, комбинацию примеряет. Бросил сверху лопату в мягкий мокрый весенний сугроб. Слез со стайки — снег на ней чистил,— закурил, успокоился. Ревновал последнее время как бешеный.

Капельки с черной крыши бежали, брякали в перевернутое ведро на крыльце. Солнце желтое, жидкое, глаза заливает, ломит.

Вроде шутя сказал, облокотившись в спальне о косяк:

— Правильно! Там красивым бабам внимание уделяют!

Но когда подняла Пана лицо от подушки, пожалел о своих словах: не такие глаза были у жены.

— Пропала моя красота, Миша?

— Куда же делась? — Скинул валенки, подсел, сильный да здоровый, ласковый, снегом пахнет весенним, папиросой, легким хмелем.

— Сквозь твои руки красота моя ушла, как вода расточилась!

Дошло до мальчишеских мозгов, до сердца.

8

Какая весна была!

За несколько дней все протаяло, сплыла грязная вода по Шунгулешу, по Талде. Мосты посносило. Большими объездами катанул из Нижнеталдинска в Усолье.

Отпросился у завгара на пятницу и понедельник. Весь «газон» свой латаный-перелатаный разбил — добрался.

Где-то на середине дороги, сидя в чайной и глядя на свою грязную машину, стоявшую у обочины под окном, Михаил вдруг понял: не то беда, что Пана лицом к стенке поворачивается неделю-другую, что хозяйство на его руках, а то беда, что умрет она от этой болезни! Умрет и оставит его одного с сыном Гришатой! Не то беда в болезни жены, что тело у нее ослабело и нет в нем прежней веселости и упругости, мягко сжимающей нежной силы, а то беда, что уходит все это бесповоротно, как ушла давно грудастая девочка-одноклассница. Не будет теплой и надежной, как печка, бабы, говорившей в темноте: «Кому пожалуюсь, Миша, если не тебе? А тебе все — товарищи-приятели».

Не будет голоса этого ласкового, с укоризной, не будет поднимавшейся по ночам к сыну, легко приваливавшейся на обратном пути, жарко обнимавшей, не будет той, что в хмельной полутьме расплывалась, стаскивала с него склизлые кованые сапоги, той, что воскресными утрами настряпывалась до всеобщего подъема и сама уже не ела, а только своим мужикам подавала!

Утра эти воскресные! Да возможно ли вообще такое счастье! Страшно подумать, что другая женщина...

Страшно было подумать, а думалось!

9

— Вот тебе и раз! — удивилась Пана, выйдя на терраску в больничном халате.— А мы паужинаем!

— Какой же здесь курорт, все больные ходят!

— Дак я не знала, что ты приедешь,— голову опустила.

10

Спать Михаил уезжал в санаторную рощу. Днем было тепло, а ночами закалялся в брезенте под деревьями. Жарил на прутике колбасу, выпивал чекушку.

Гулять Пану не пускали — дальше санаторной рощи нельзя было ходить. Спина у нее под пальто в халате стала совсем узкая, выделился хребет, выпирали моклоки, тело стало слабое, жидкое.

В роще, на машинном сиденье, Пана тепло прижималась к нему, бодрилась, а он гладил ее плечи, прощупывал косточки, сердце обливалось жалостью, но тоже бодрился.

Показалось ей, что он с особым значением прижал ее, встрепенулась, взмолилась:

— Нельзя, Миша, никак нельзя. Врач лично меня предупредил. Вот, мол, у вас муж приехал. Зачем приехал? Имейте в виду!

— Ты чо, дура! Ничего я и не думал такого. Худая ты стала, вот чего щупаю. Сейчас вернусь, с Ухаловым на пантовку побежим, свеженьких достанем. Желочи медвежьей обещали принести, барсучьего жиру. Встанешь, Пана! В лепешку разобьюсь! Знаешь, какая сила в природных веществах? Это не то что у докторов — все лекарства фальшивые! Тут сама природа!

— Не буду я больше пить. Нам специально говорили, чтобы ни у каких знахарей, бабок не лечились и не советовались даже. Особый курс лечения, все другое категорически запрещено. Напрасно я прежде принимала да с Настасьей советовалась, сразу надо было по врачам. Может, оттого и хуже.

11

От настоящего горя нет спасения, не запьешь его, не загуляешь.

12

На часах было семь, когда Михаил соступил на снег и бросил рюкзак.

В стекле зимовья тускло и холодно отсвечивали последние кровиночки заката. Часы были верные — «Победа». Сколько он на них пива выспорил: солдатское еще развлечение обмениваться часами на спор, для проверки, у кого точней. Никогда не подводили, сколько лет работают.

«Махнем, не глядя?..»

Такие часы не глядя не махнешь, как бывало с другими.

Зимовье не успело выстыть до конца.

Хорошо одному!

Как это?

Напарника нету, чтобы человек! Одному плохо!

13

Занявшись делом — кормежкой собак, обдиранием шкурок, ужином,— Михаил забылся от печали, давившей сердце, а один раз даже засмеялся над собаками.

О Фросе Цаплиной он старался не думать, неудобно перед памятью жены. Да и вообще, бестолковое дело, молодая.

Не то слово — девчонка! Девятнадцать лет... разве можно. Никаких же общих интересов. Совестно думать о ней, пусть живет, радуется, как плотичка в реке.

Какое ее горе, подумаешь, девочка внебрачная у нее. Радоваться надо, только и всего. Хлюст какой-то, бросил потом...

Дела все были переделаны, печка раскочегарена, спать не хотелось. Тянуло смотреть на огонь и ни о чем не думать.

Не думать — значило опять и опять возвращаться

в прошлое, к причитаниям женщин, вспомнить Гришаткину спину, как у него ребра, подвздохи ходили, жутко.

— Мамочка, мамочка,— заладил оголец.

Эхма! Вдвоем с ним остаться невозможно, мочи нет. Как вздохнет, вздохнет, а ково вздыхал бы, мальчишечка! Что ему скажешь?!

Какая там Фрося, разве она такое понимать может?

Думая такие тяжелые думы и размывая постепенно думами этими свою горесть, сидел Михаил перед огнем и не заметил, как потихоньку запел старую молодежную песенку:

Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка, Мишка,
То, что ты уходишь от меня...

Я с тобой неловко пошутила,
Не сердись, любимый мой, молю!
Ну, не надо, слышишь, Мишка милый?
Я тебя по-прежнему люблю-ю!

Голос у него начинает подрагивать, он замечает это и, чтобы вывернуться, избежать, заводит то же, но повеселее:

Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка,
Полная червонцев и рублей?
Самая нелепая ошибка, Мишка,
То, что ты уходишь вместе с ней!

Насмешливый куплет он повторяет два-три раза, дыхания у него не хватает, и он слышит, что кто-то в зимовье некрасивым чужим голосом плачет.

Он пересилил этот плач и быстро проговорил:

— Чо, паря! Таки-то дела! Таки дела, что мать родила, хошь не хошь, а живи... Хотя бы денечек вернуть, Пана!

Лет десять, больше, как пели эту песенку про Мишку.

Перед кино лектор газетку читал, чтобы песню эту бросили! Обидно было.

«Эх, Андрюша, нам ли жить в печали...» — эту можно, а ту нельзя.

Пана любила ее. В клуб свою пластинку носил. Тогда у него были бурки на коже, танцевать в них ловко, скользкие. Ставил Михаил свою пластинку, курил молча, кончались танцы — домой ее уносил. Заездили, потом по-

ломали, маленькая была пластиночка, в карман «москвички» влезала.

«Ну, не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю-ю...»

Таких слов и не говорила, петь только насмеливалась, вроде из песни слова не выкинешь и тому подобное. Пока счастливы были. А потом уж обабилась, болеть начала. «Милый, люблю!»

Правда, он и заслужил к тому времени, не пил уже. На руках носил, а поздно уже, поздно!

Сам говорил: люблю, мол, Пана, так люблю! Грудь разрыват!

«Нелепая ошибка» — вот уж правда сказано. Видно, человеку самому пришлось пережить, без сердца такие слова не скажешь. Может, у него тоже подруга умерла, не дай бог... Он сам с собой ее голосом и разговаривал, от женского имени поется. Хотя не так. Он же уходит, по песне-то, Мишка, то есть она ему поет: не уходи, мол, нелепая ошибка, не сердись, и я тебя люблю по-прежнему! Почему такое понятие получается, будто она умирает у него? Там и слов про это никаких не поется! От совпадения имени — вот и все, и больше ничего. «Мишка, Мишка!»

— Эх, да что вы, собаки, понимаете!

Глава девятая

МОЮ ЖИЗНЬ НЕ ТРОГАЙ!

1

Данилыч и Панфилыч знают друг друга с парней. Вместе в Ямы к девкам своим пеша ходили, гуляли когда-то вместе.

Но жизнь у них разная получилась. Данилыч все как-то тянулся в одну сторону, к торговле, завмагом был, председателем сельпо числился, а последняя его крупная должность — замдиректора свиносовхоза — была случайная, как раз свиносовхоз разгоняли, а когда снова восстановили, то Данилыч намного ниже летать стал.

Нигде он толком не тащил и не вез. Размах нужен, а он — мужик несмелый, трусоватый, можно сказать, мужик...

Замдиректора был — только и достал что жене чесанки новые да каракуля на воротник. Не пришлось похозяйствовать, согнали сокола с нашеста.

В это время и обида большая между них произошла, когда Данилыч заведовал сельпо, потому что год целый Панфилыч был у него в подчинении как пекарь! (Один раз подвезло Панфилычу подучиться, да попал в кондитеры и проработал год пекарем, потому что кондитеры не нужны были нигде по всему Шунгулешу!)

Данилыч не прижимал пекарню, но власть Панфилычу показывал, муку проверял, выпечку; накладные на память помнил, все больше по мелочам досаждал.

Былое начальствование не простил Ефиму Данилычу Петр Панфилыч. И не раз впоследствии выместил!

У Панфилыча с грамотой совсем плохо было, но как стал он охотником, а потом и передовиком, планета у него высоко пошла: почет, деньги. Данилыч тоже было в тайгу сунулся, глядя на Панфилыча, но там нужно здоровье, сила, умение, и ничего у Данилыча не получилось, и перешел он из охотников в завучастком.

Но хоть и заведует задуваевским участком Данилыч, а главный здесь — Панфилыч, у Панфилыча медаль ВДНХ, его и начальство-то остерегается. Если бы Панфилыч захотел, запросто согнали бы Данилыча с участка, но это ему невыгодно, потому что Данилыч, чувствуя себя слабее, всегда старается Панфилычу услужить.

Вот в нынешнем сезоне, например, дефицитом оказалась тушенка, другим охотникам и свиной не добиться, а Панфилычу с Михаилом — баранинка да говядинка, сколько хочешь: прямо в тайгу сто банок привез Данилыч. Нате, пожалуйста!

Панфилыч презирает Данилыча, но все же без надобности зла ему не делает. Он и вообще-то без особой надобности зла не делает, если не задевают его. Это ласка давит мышей: сколь попадется, умается, хлопотавши, а съест — чуть, глупая хищница. Да что там зло, он и доброе дело может, если мимоходом или интересы совпадают.

2

Через год-другой, после того как Данилыч принял участок, промхоз взял обвальный урожай орехов, и в тайге лежало больше ста тонн мелкими партиями в ожидании транспорта.

Сторожами Данилыч, как всегда, оформил родню. Та из Задуваевой не выезжала даже — один Данилыч мотался по участку.

Панфилыч же, тоже как всегда, был на промысле и как раз ночевал на тот случай в одной из дальних избушек, а по пути у него был орешный штабель, у самой дороги, доступный. Утром он пошел на круг и никаких следов не видел, а потом далеко внизу, в пади, услышал, будто машина поревывает, буксует.

Панфилыч, конечно, подумал, что это Данилыч приехал по орехи. Сделал крюк — спустился в падь узнать новости и договориться, чтобы Данилыч заодно забросил бы в Нижнеталдинск машиной мясо.

Подошел Панфилыч к орешному штабелю и видит (близко-то еще не успел подойти) — два мужика и одна баба, незнакомые, орех уже погрузили, завязили машину в снег и сидят, чай греют. Номер машины — АГ 48-59.

Панфилычу картина эта очень не понравилась, он записал номерок, оглядел публику повнимательнее — и взад пятки от греха. Кража происходит, слепому ясно.

Только на следующий день вернулся Панфилыч на свою базу. Пришлось ему обежать тайники дальних избушек — было там десяток шкурок оставлено, как бы не набрели воришки. Вернулся на базу, видит — дым над зимовьем, думал, что брат Митька, потому что Миша Ельменев в это время был в Нижнеталдинске, Пана у него умирала уже, и он бегал к ней через хребты, покою ему не было.

В зимовье Панфилыча сидел Данилыч с растерянным лицом. Ограбили, говорит, меня, Петра, обокрали, по миру пустили, три тонны ореха нет!

Панфилыч, не показывая вида, снимает лыжи. Давай, говорит, чай пить, рассказывай, может, и помогу, раскинувши умом. В чем дело?

Залетал Данилыч по зимовью, чай варит, охает, жалуется, домашнюю закуску на стол ставит, с собой привез.

— А ты кому сторожевое жалованье платил?

— Недостатки, Петра, недостатки. Вот кабы ты согласился, за одно твое согласие, без всякой ответственности, тебя бы сторожем оформил, в месяц шестьдесят целковых, а?

— Уж не мне ли перед тобой отчет держать? Материальную ответственность? Мне твои копейки — раз чихнуть!

Но ты должен сознавать! Шевелил бы своих, если они у тебя деньги государственные получают! У твоей бабы зад какой? Во!

— Моя живет за человеком, оттого и добреет! А твоя стареет из-за тебя!

— Мою жизнь не трогай, не у меня орехи украли. Могла бы твоя Домна и в тайгу съездить, если деньги получает. Не разорваться же тебе! Если мужа жалеет! — засмеялся Панфилыч.

— Ты свою в тайгу много таскаешь?

— Ты меня с собой не равняй, знай свое место! Я семью обеспечиваю, не тебе в пример, а чужого, промежду прочим, сроду в карман не положил, так ай нет?.. Так ай нет? Ну, отвечай, так ай нет?

Много чего сказал бы Данилыч и насчет семьи, и насчет чужого в карман положить, тут у него были точные данные про Панфилыча и даже кое-какие свидетели, на случай чего. Но ведь не у Панфилыча орехи сперли!

Данилычу обиду глотать надо было. Он и проглотил.

Усмирив приятеля, Панфилыч сжалился. Все-таки он сидел в собственном зимовье, пил чай с сахаром, а давний соперник стоял перед ним униженный, и лысина у него блестела от пота, и глаза были растерянные, собачьи, да и воров-то надо отваживать, а то понравится им орехи воровать, они и по зимовьям пройдутся, за пушниной.

Помолчал, помолчал Панфилыч, а когда Данилыч с жалобными причитаниями налил и себе кружку чаю, Панфилыч сказал:

— Ну, тебе-то, Ефимка, чаевать нечего, однако. Как ты думаешь? Становись на тропу и беги лошадью в Нижнеталдинск.

— Чо ж бегать-то?! Горю не поможешь, бегай не бегай.

— Твои обидчики — вот они у меня.

Записал Данилыч номерок, выслушал описание, губы искривились:

— Ну, Петра, век не забуду, спасибо!

3

Поймали воров аж в области, а машина оказалась из соседнего района. Шофер был не виноват — его наняли, и он не разбирался, чей товар. Виновата во всем была

эта женщина — Тамарка. Она по Шунгулешу-то сколько болталась на орехах с мужиками, запомнила все ходы-выходы и привела машину прямо куда надо. Долго она маячила на шунгулешских горизонтах, наловчилась с мужиков деньги брать, в дупло куда-то прятала. Трое мужиков нижнеталдинских от нее заболели сразу, и Тиунов в их числе, предатель-то. Убежал от разъярившейся жены и от детей в Тарашетский госпромхоз. Бросил семью, подлец.

Судья спрашивает у ее соучастников:

— Как же так получается, она одна виновата? Ведь пятьдесят-то кулей орехов вы сдавали на свое имя?.. Ага! Она вас попросила, значит. Попросила... Ну, так не будьте такими добренькими. Вас в следующий раз попросят из любезности банк ограбить, вы тоже поможете бедной женщине? Получите-ка за любезность по пятерке.

Орехи-то были уже на балансе промхоза, а это уж другой цвет и срок, чем если бы они личного орешника обокрали. Ну, и Томку тоже спрятали. Вот какие бабы попадаются. Болезнь, которой она наградила своих любовников, оказалась нестрашной, как сначала слух прошел. Но Тиунов от стыда забежал и теперь злобствует в Тарашете. Знакомые тарашетцы говорили, что он угрожается: дескать, всю темноту шунгулешскую на белый свет выведу, восплачут они у меня горючими слезами, дайте только силы набрать.

Но такому человеку кто поверит? Болел дурной болезнью — раз, жену безногую бросил с детьми — два. Жена-то — вот кого жалко: поездом ей ноги отрезало, по огороду — мур-мур-мур — помидоры общипывает, лук пропалывает, из-за огуречной грядки ее и не видать совсем.

Куда ей теперь без него, без предателя?

Глава десятая

ЗА ЧАЕМ !

1

Панфилыч проснулся хорошо. Глянул в окно — погода, и это было тоже хорошо, без намека на снег. Он вспомнил, что ночью приехал Ефим Данилыч Подземный, обвязал поясницу полотенцем, потеплее оделся и пошел с

батожком в гости, со всем видом больного человека. Старичок да старичок.

Удар тоже было собрался, хвост уже калачом завернул, настроился, никак на подзыв не подходит, отбегает. Крикнул на него Панфилыч. От грозного голоса там и лег Удар, где стоял. Понимает, что значит такой голос, как убитый лег. Пришлось Панфилычу лезть за ним в глубокий снег под елки, тащить оттуда за лапу. Удар и встать-то боялся, так и ехал, зажмурившись от страха. Привязал Удара Панфилыч: попортят подземновские ухорезы ценную собаку.

2

Солнце уже стояло над ельником, кидало сине-розовый свет на тайгу, на болото, на сахарный снег.

Тропинка поскрипывала. Заметно было сильное против вчерашнего понижение температуры.

На ручье, на перекате — отчего ручей и звался Теплым или Талым — были незамерзающие полыньи, пробивались там роднички, висел парок. Перекат этот всю зиму будет пробиваться через наживляющийся ледок, будет наплывать вода, будет пучиться, желтеть, толстеть и расти ледяной бугор.

Панфилыч батожком поколотил лед по закрайкам, постоял, подумал.

Зима, зима, зима!

Оттого, что в густом и низком ельнике ворочалась спутанная Данилычева кобыла — она к тому же бурая была,— Панфилыч остро вспомнил, что медведь стоит под вопросом, и жалко — пропадет, по всей видимости, ведь Панфилыч на его бы месте, на месте медведя-то, ох как уходил бы из этой тайги...

А славно бы, кабы оборудовался медведь где-нибудь недалеко, мало ли хороших мест в той, к примеру, пади, которая так и называется — Старые берлоги, оборудовался бы, да и лег бы, и ждал бы своего часа, когда Панфилыч с Михаилом придут за его салом, желчью, мясом и шкурой.

Долго нету Михаила; может, улов хороший? А отчего же, должен быть хороший, отчего же!

3

Ефим Данилыч Подземный пил чай в жарко натопленном бараке.

С лица бледный, серый — заботы обступили,— дерганый весь, нервенный.

Лысина потная, так бы и кокнул батожком.

Одет Данилыч в ватные штаны, в резиновые новые сапоги с раструбами, все себе вредности этой надоставали; то есть, как понимал Панфилыч, приятель его был одет не по-людски: ни для тайги, ни для зимы, в частности.

Так, подумал Панфилыч, и ехал, поди, верхом-то в резинках.

Эх-ха-а, глупость человеческая, кругом она!

Но, разумеется, какой спрос с торгового работника, как с издевкой называл Данилыча Панфилыч и как без тени улыбки и с чувством тайного превосходства называл себя сам Данилыч.

Торговый работник — хрен собачий! А если ты торговый работник, дак чего же ты мостишься и упромыслить чего-нибудь по дороге? И еще хуже думал про приятеля Панфилыч, что не прочь Данилыч и по чужим плашкам пройтись! Хоть за Данилычем ни одного подобного поступка сроду не числилось, Панфилыч так считал про себя за верняк, и не без удовольствия. Ведь можно так сделать? А раз можно и не поймают, значит, сделает этот крохобор!

Не любил Панфилыч Данилыча!

А кого он любил?

Да никого не любил. Себя разве уважал и собой гордился? Да и то — больше на людях, для авторитета, а если глянет на себя в зеркало, то и себя не любит. Это, мол, кто еще тут вылупился? Смотрит из отражающего обломка какая-то красная морда, и морда эта, пожалуй, не родня тому Петру Панфилычу Ухалову, какого он из себя ставил и в уме воображал: «Ухалов-то Петр Панфилыч? Молодец мужик! Себе на уме, как же! У него голова на плечах, не тыква! Он во как, да во как, нам, сиромахам, не чета!..»

Тьфу ты, какая блажь в голову взойдет!

— Чай да сахар, Ефимушка!

— Спасибо, да здорово! Да садись-ка ко столу! Горяченького на-ка!

— Как хозяйство? — спросил Панфилыч, присаживаясь с покряхтыванием поближе к печке и разматывая с поясницы шерстяной платок, полотенце, вынимая из-под телогрейки потершийся кусок собачьей шкурки.

— Он и не приходил, пол-ты! — Речь идет о малом Махнове, молодом охотнике, которому по его просьбе Данилыч оставил в сенях незаперто кучу добра: два мешка сухарей, тридцать банок тушенки свиной, тридцать — сливок и пять килограммов масла. — Знает, что товар лежит открыто, и не пришел. Следа нету даже заходного. Как вышел в Нижнеталдинск, так и не заходил обратно.

— Теперь, пока праздники не отойдут, не вернется.

— Не знаю, как с товаром и быть, зайдет кто, возьмет. Не наши, тарашетские уташшат.

— Он после бани, он пусть и царапается. Твое дело сторона, деньги он тебе, надо думать, оплатил?

— Оплатить-то оплатил, да ведь жалко, молодой парень.

4

Махнов-малой был отделенным сыном старого Махнова, от какой-то то ли первой, то ли второй, но не третьей и не четвертой жены. Последние жены были бы слишком молодыми для взрослого парня матерями.

Перебежал он из отцовского промхоза на эту сторону, с матерью и братишкой живут, теперь напрягается, мечтает отцу доказать что-то. А охотник хороший, выучка у него махновская, но ни грабительства, ни хитрованства махновского у него нету. Все напротив отца,— видно, в мать пошел.

Дали ему неудобную тайгу, маленькую, а он еще приятеля взял. Веселые ребята, молодые. Зуек с ними на пару Видно, не сладко было со стариком Махновым: жох, папаня-то, даже семилетку доучить не дал, с малолетства и начал эксплуатировать. Да ведь кого — родную кровь!..

Встречал Панфилыч осенью младшего этого Махнова, вежливый мальчишечка. Плашник они кололи, ставили. Да так умело у них это — зимовья рубят, тропы ладят, плашки разносят. Плашки Махнов ставил отцовские, у

того известные плашки, махновские-то: широкие, длинные, глубокие; труда не жалел, зато в работе они лучше. Соболя — и того всего покрывает, ино хвост не видать, сохраняют лучше от птицы, от мыша. Но тяжело их растаскивать, такие-то плахи, по путику, из-за этого, кто поленивее, делают плашки маленькие, на арапа.

Чего же им не быть веселым да молодым, все время на отца обижаться, что ли? Радуются на свободе, не наше стариковское дело — норная жизнь, у этих по-новому.

Младший-то братишка за ним в тайгу, говорят, бежит, плачет! Старший же поймает его, отлупит и домой отводит. Учись, оглобля, учись! Младший хоть старшего и перерос уже, а морденка-то детская. Старший ему обещается: вот школу кончишь — возьму в тайгу. Ну, подерутся — мать разнимет. Все же ходит в школу, старшего-то боится.

Мать у них больно безответная, забитая женщина. Махнов, говорят, ее выгнал ни за что. Просто-таки придрался, и все!

Был у них корреспондент, спрашивает: как вы добились таких результатов, что сдаете за пятерых охотников? Но тот давай рассказывать, величается, хвастает — я так, да я так, ум природный у меня, смекалка и прочее! А что же ему — трое работников-то! Пишут если все на одного Махнова!

Потом корреспондент спрашивает жену: вы, мол, чем занимаетесь, когда в тайге с мужем? Создаете ему условия, домашность ведете?

Она и отвечает: плашник-то, дескать, на мне с сыном! Полторы-то тысячи плашек!

Правда вся и вышла, ну, корреспондент не сильно понял, что это значит...

Опять писали, хвалили Махнова!

А Махнов на жену и взъелся: сказала бы, мол, что по домашности, с детьми, чай варишь, кашу! Так и заел, пришлось ей уйти, и сыновья с ней. Он их голыми пустил, так, платит какую-то мелочь.

Махнов, известное дело!

5

Старики пили чай, рассказывали друг другу новости, но не просто, а как бы все время в шашки играли: я тебя съем, а ты меня нет!

Потом, когда успокоились, шерсть на загривках полегла, разговорились и попроще. Теплый чай в животах угревал, расслаблял.

Данилыча интересовали орехи, оставшиеся в тайге. Панфилыч его успокоил: все на месте, кое-где мышки прогрызли, там теперь кедровки пользуются, с полмешка растащили; мимо ехал, веток нарубил, бросил, но кедровки, конечно, и ветки растащат.

Панфилыча же интересовало положение директора: кого поставят на место Колобова, который сейчас под судом и следствием? Поставить могли Балая-охотоведа, это было бы ни к чему, совсем плохо, или Любимого, или Михайлова.

Любимый был человек чистый. Не то слово — чистый, чистых нет, как считал Панфилыч, а есть гладкие, то есть взять его не за что, уцепить. Не было на нем ни одного ухаловского крючка. Вот Михайлов — другое дело, с ним и на охоту ездили, козовали, хорошо бы его в директора...

Первое — поддает, второе — есть на него крючки. Такой человек, с подмоченным прошлым, Панфилычу удобен, можно попользоваться. Сначала дать, потом взять. Или еще как...

6

Данилыч рассказывал, что, по слухам, Колобов кое-как распутывается, но еще не совсем распутался с соболями. Есть слух, что перейдет в чайную заведующим. Но уж что не посадят — это точно. Не для себя пользовался человек, для промхоза рискнул.

Данилыч рассказывал, а сам поглядывал на Панфилыча: уж не Панфилыч ли был загонщиком в облаве на директора Колобова? Вполне могло быть, хоть директор и дружил с Ухаловым и даже на чай к нему заходил. У Панфилыча нет приятелей. Заложит — раз плюнуть, если дело верное.

Одиннадцать директоров сменилось на охотничьем веку Петра Панфилыча Ухалова. Всяких он перевидал, были и с гонором, были и добрые, были умные и глупые, хитрые и простоватые. Всех пережил.

Нечего скрывать, темнее охотников нету в сельском хозяйстве людей. Отсталая отрасль, доисторическая специальность. Часто к охотнику так и относятся: глядишь, нет-нет да и прижмут по темноте. Но ошибется тот, кто всех охотников под одну гребенку стрижет. Неосторожно это.

Взять Панфилыча. Не только осекаются на нем подобрые попытки, попервости, может быть, и удававшиеся, но и сам он для директора не хуже медвежьего капкана. Да и удобное время, когда директор уходит или его уходят,— много мутной воды, отчего бы не схлестнуться с директором, если есть хороший булыжник? Что теряет охотник и что — директор?

Охотник, как правило, ничего не теряет, а директор — все.

Лицо такого человека, как Панфилыч, не дрогнет, напрасно Данилыч кидает косяки — не с его неглубоким умом тут шарить. Хитрости Данилыча мелкого свойства, и в ту стратегию, которая легко рождалась в уме Панфилыча, Данилыч простираться не мог.

7

У Данилыча утром были кое-какие дела, и он поджидал, когда Панфилыч попьет чаю и уйдет, но видя, что гость уходить не собирается — даже угрелся у печки и полешки подкидывает,— Данилыч, несколько стыдясь, достал свою заботу из-под нар: огромные, оставшиеся после великана Колохватова голицы. На этих голицах великан Колохватов собирал половую шишку. Пришел ночью из Золотоноши, отворил дверь в избу, набитую бичами, молча осмотрел. Не понравились ему бичи, кипятившие чифир, закрыл дверь и заночевал возле зимовья в наскоро собранном балагане. Да так в балагане всю весну и отжил. Посмотреть на него, дак он вроде и разговаривать не умеет, Колохватов-то великан, только песни поет. Тут же на немалых весенних морозах сделал лыжи-голицы, привязал их к ногам и стал собирать шишку и носить к своему балагану — чистить, веять и сдавать. Балаган его бичи обходили, как берлогу. Шумных, говорливых людей не любил Колохват, не любил, чтобы мимо него много ходили. Собака однажды сунулась в его миску с распаренными сухарями и тушенкой, с молниеносной быстротой мелькнула

из балагана рука огромная, схватила собаку за лапу, бросила далеко в снег. Тушенку же Колохват прокипятил снова на костерке, снова поставил на пень, остудил и съел. Стали опасаться балагана и собаки. В ночь, получив от Данилыча квиток на принятый орех, Колохват и ушел, оставив ненужные ему уже лыжи.

Помявшись еще немного, Данилыч снова полез под нары и достал ссохшуюся, искореженную лошадиную шкуру. Шкуру мыши чудом не поели.

Данилыч хотел обтянуть колохватовские голицы лошадиной шкурой вместо сохатиного или изюбрового камаса, каким обычно пользовались здешние охотники. Он и казеину привез с собой, и гвоздиков. Камасные лыжи нужны были Данилычу в соображении шемякинского участка, пустовавшего в этом сезоне.

— Узнаешь?

— Голубок, что ли? — усмехнулся строглазый Панфилыч.

— Мозговой отдал. На, говорит, обдери камасья на лыжи.

Камасами же называют шкуру с ног от копыта вверх до той поры, где у зверя вместо скользкой упругой щетины начинают расти длинные некрепкие и потому не пригодные для скольжения по снегу волосы; щетина, направленная по ходу лыжи, помогает удержаться от соскальзывания назад при подъемах.

— Уж ты все пальто с лошади и снял!

— Дак мало камасьев с одной лошади на лыжи. Вот, думаю, где не хватит, шкурой обтянуть прочей,— оправдывался, вроде и усмехаясь, Данилыч.

— Но дак! Камас не камас, напяливай, сколь требоватся! Если не поперек хода, пойдет — лучше не надо!

— Вот и я думаю, лошадиный камас же, говорят, самый лучший.

8

Панфилыч от души веселился, глядя на Данилыча. Ведь до чего жадность человеческая доходит! Шкуры с падали и той не упустит. Надо камасов — попросил бы, дали бы ему на пару-то лыж, дак нет. Чужая лошадь пала — хоть шкуру взять.

Голицы были топорные. Топором наскоро и делал их Колохватов. Данилыч, сам ничего путем не умевший делать, их подобрал. Если голицы эти еще обтянуть камасом, то на них паровоз ставить надо — человек их не уволокет, если он не Колохват.

Все эти рассуждения веселили Панфилыча, он все подливал и подливал себе чаю.

— Натягивай все, натягивай! Камаса, брюхо, спину! Натягивай, абы не против ходу лыже-то! Тяни, однако и накосяк пойдет! — похохатывал Панфилыч.

— Я и то мерекаю,— подхихикивал Данилыч,— не все ли равно, мне много не ходить. Так, по малости.

Глава одиннадцатая

ЗА ЧАЕМ II СКАЗКА

1

Возле Данилыча вертелся, поджимая лапу, Бурхало, оставлял кровяные пятна среди подплывавших ледяных ошметьев резиновых сапог Данилыча. Лапу кобель порвал, пока шел из деревни на базу. Порезался где-то на заструге, и потом на снегу через пять — десять шагов оставалась собачья кровь. Подхрамывал кобель, ложился, зализывал рану, а перед мордой нагонявшей лошади вскакивал и бежал на трех, придерживая больную лапу. Данилыч надеялся, что в тепле рана скорее зарастет.

— Кровит?

— Со вчера.

— Выгони-ка его на мороз, она и подживет! — Панфилыч сказал это просто так, вместо того чтобы сказать: «Дурак ты, Данилыч, а не торговый работник!»

Данилыч же в суете принял высказывание Панфилыча за совет и, не долго думая, выгнал кобеля на улицу, где сразу же зарычал приблуда Гавлет, чувствовавший себя уже хозяином вокруг базы.

— Но вас! — крикнул Данилыч и вернулся с крыльца.

Панфилычу по душе пришлось глупое смирение Данилыча, и он, кряхтя, нагнулся, подтащил к себе тяжелую, как доска, лыжу, стал показывать пальцем, нравным тоном советовать: «Тут затянешь, тут гвоздочками прихва-

тишь, за печку повесишь — за трое суток присохнет, не оторвешь!»

— Я завтра собирался на верхнюю базу слетать, глянуть,— встрепенулся Данилыч,— не ехать, что ли?

Привирал, конечно, Данилыч, собирался он петельки на зайцев поставить. Детская забава.

— Чо же, ехать надо, не лежать же возле них трое суток. Отволоки, ко мне поставь. Жалко, что ли! Только куда тебе такие оглобли, не знаю. Колохват-великан их таскал, дак ему хоть лесины неободраны подвязывай! Ты-то, однако, надсадисся! Ты вот подумал, кто на них ходить-то будет? Прете, что ни попало, не спросясь, а ума нету в руках! Вообще-то ладно, полову собирать и эти сгодятся, а уж на охоту — нет! Гордость все, гордость!.. Вот ты гордый, а ты спросил у понимающих людей, как лыжи-то делаются? Глядишь, оно бы и того...

— Умны-то люди разве скажут? Надсмеяться — это завсегда мы готовы, если человек, например, не в курсе. Тебя взять, зимой снегу просить?

Голос у Данилыча был сокрушенный. Лицо печальное и потное. Шкура не намачивалась, и он изводил на нее уже пятый чайник быстро набегавшего на раскаленной печке кипятку.

— А ты не гордись, не гордись. Ты спроси, спроси... Однако камасьев не пожалел бы, добра такого. Гниют иной раз пачками. Уж для тебя-то, старого друга! Разве такая шкура нужна? Волос-то у нее плохой. Не видишь, не понимаешь? Посыплется... Перегорела она, видно. А елку бери кондовую, значит, с сухого места, тонкослойную. Колохватов-великан толстые лыжи сделал, значит, свою тушу возить. А они, верь слову, сломаются. Я сразу вижу, я сразу!.. Слои у них, вишь, по пальцу. Елка быстро росла, непрочная. Без красного должно быть мясо. Без красного то ись оттенка. Белая нужна, ядреная. Красная крошится...

Глаза у Панфилыча бегали, взглядывали на слушавшего раскрыв рот Данилыча.

Хорошая, кажется, минута; все кажется — вот добро делает Панфилыч. А ведь и тут утаил, что хотел сказать! Что поделаешь, натура! Про крень хотел сказать, а не сказал! Жалко, что ли?.. Вот болезнь у человека — никогда всю правду не скажет, всех секретов не раскроет.

Крень — это если елку взять наклоненную, при всех

прочих качествах, в наклоненной крепости больше: жилочки все натянуты — особо хороша такая елка.

— Красную, значит, не надо... Колоть тоже надо умеючи. Плашку берешь не через всю чурку, а из четвертины. Разделил бревно на четвертины клиньями, а уж из четвертины колешь плашку. Середка в лыжу попадет — это уже не лыжа, середку, значит, срезай. Мои такие лыжи по восьми лет хаживали. Особо хороши были последние. Видел, желтенькие? Отходили... Маек, зараза, наступил. На копыто, конечно, не рассчитываешь. Новые пришлось делать. Главный секрет — из четвертины колоть. Истонить можно до листика, если правильно, по слоям, но под ногу, конечно, делаешь востолщение против всей тонины, сантиметра более. Тонишь, так она гибче... Парить надо тоже умеючи. Колохват вон, видишь, на костре грел, на скорую руку. Парить лучше.

2

Данилыч слушал со вниманием, переспрашивал, по лыже пальцами водил следом за корявым пальцем Панфилыча и этим оказывал уважение приятелю. Панфилыч тоже расчувствовался от своей щедрости и доброты, хотел даже под конец и о крени рассказать, но не рассказал. А увидев, что Данилыч ждет уже шестой чайник на шкуру конскую лить, все еще прежним коробом лежавшую на полу, совсем расчувствовался и завеселел:

— Да рази так кто мочит? Давай посудину поболе, счас мы ее!

Нашлась большая бочка на улице, из нее выколотили лед, проверили, снова накидали льду, снегу, и воды налили, набросали туда раскаленных камней (камнями этими были привалены бортики печки в бараке, чтобы не рассыпалась земляная подушка под печкой), спустили в теплую воду, уминая поленом, шкуру. Под печкой, в перегоревшей ржаво-бурой земле, обнаружились протертые мышиные ходы.

Довольные быстрой живой работой, старики подзаморились и опять сели за чай. Появилось угощение — домашние шаньги, ватрушки с вывалившимся заледеневшим творогом и капустный пирог. Данилыч, менее осторожный и выдержанный, расчувствовался, пустился по излюбленной дорожке коммерческих рассуждений, стал прикиды-

вать — что надо покупать, что продавать и что может при торговой сметке получиться из предполагаемых операций в смысле роста личного благосостояния. Панфилыч же тем временем остыл от своего и без того неполного благодушия, незаметно для приятеля опять посмурнел и, прервав излияния Данилыча на полуслове, вдруг рассказал сказку:

— Вот мужик один, серый, пошел на базар молоко продавать. Видит, на меже заяц лежит. Вылинял уже, уши торчат. Мужик его скрал, вот-вот за уши схватит. Сам думает: ага... вот поймаю зайца, отнесу на базар, продам. Зайца, значит, продам, курицу куплю. Ага... Курей у него не было, до того бедный, серый... Пройдет время, курица яиц даст. Понесу все на базар, продам, опять же — поросенка куплю. И так дальше соображает. Потом, значит, поле куплю, конем пахать буду, а жеребенок бегать будет. Жеребенок, значит, бегать будет, а сынишка на него кататься полезет, я ему крикну: «Эй, сынок! Спинку не поломай!» Жеребенку то ись не поломай спинку. Крикнул так-то, а заяц — скок да и побежал. Он за зайцем и молоко опрокинул: на базар-то молоко нес... Во, паря, разбогател!..

— Это, значит, как понимать?.. Намек мне делашь? Мне?!

— А то кому же бы еще? — артистично оглянулся Панфилыч.

— Это где же я за зайцем гонялся?

— Тут не про зайца.

— Я разве гонялся, а?..

— Я тебе про то, допустим, что вот ты все воображаешь!..— Руки у Панфилыча сами ходили по столу на пальцах.— Торговый ты работник! Торгаш. Коммерсан! Здесь куплю — там продам? Всего-то сообразишь — принять на дешевых весах, а сдать на дорогих! Это, паря, ума не надо много. Понял теперь, про что я?

— От зависти говоришь, чего не понять! Сыны мои тебе покоя не дают! Семье моей завидуешь! Глаза тебе колет!

— Вот ты обижаешься, ничего не помнишь!

— От зависти все! Сколь тебя знаю, все злом дышишь. Но, паря, но!

— Ково нокаш? Не запряг, не нокай!

— Съем я тебя!

— Ты-то меня? Да я тя!

— Но, Петра, я тебе яму рою! Вот уж вырою!

— Видно, я тебя закопаю, а не ты меня! С лица-то ты серый!

— Ты меня закопаешь?!

— И щуку ишо на поминках поем! Во как!

Глава двенадцатая

ЗА ЧАЕМ III. ДУША-МАЛЯВКА

1

Старики слегка подзадохнулись от волнения и неожиданно замолчали, глядя друг на друга.

И на дворе вовремя заварилась собачья драка. Данилыч, со всей злобой на заносчивого Панфилыча, выскочил усмирять дравшихся кобелей.

Опять Гавлет катал Бурхало. Бурхало был внизу, вывертывался и выползал из-под рыжего приблуды, и вся шерсть на искусанном загривке у него была ислюнявлена и розовела от крови. Гавлет, оседлав Бурхало, ловко удерживался на его боках прибылыми когтистыми пальцами и уже наглотался, набил себе полную пасть черной шерсти с загривка старого кобеля. Правду, видно, говорят, что прибылые шестые пальцы на передних лапах у выродков есть верный признак драчливого и вздорного характера.

Виновница драки, квадратная, клубочком, с пушистыми штанишками Шапка, нервно, восторженно и всепонимающе вертелась в стороне.

— Ах, твою мать! — кричал Данилыч, ловя палкой худые пыльные бока Гавлета в кобелиной свалке.— Ах, твою мать!

С помощью хозяйских сапог и палки Бурхало вывернулся, но трусливый старик не воспользовался минутой превосходства и не отмстил Гавлету. Избитый Гавлет отбежал к елкам в глубокий снег, куда Данилыч за ним не погнался, скалил там свои розово пенные клыки, смотрел на хозяина непримиримо и смело.

Данилыч визгливо, по-бабьи вскрикивая, объяснял Гавлету, что он из него в конце концов сделает, и грозил палкой. Бурхало вертелся у хозяина под ногами, зализывался. Данилыч пнул и Бурхало, стыдобушку, вернулся в барак успо-

коенный, выстреленный. От него и парок шел, как от стреляного ружья. Бурхало влез за ним.

— Подсунули, черти!

— Всегда ты свору приведешь,— примиряюще усмехнулся Панфилыч.

— Бросили мне городские. Думаю, ладно... Пожалел собаку. Рукавички, сам знаш, всегда успеются. Кормил его, падлу. А он жрет и не толстеет, не видно на нем, сколь я в него вбил. Вдруг, думаю...

— Вдруг знаш чо бывает? Кто бы хорошую собаку бросил? Уж если бросили — шкура бегает, а не собака.

— Правильно, говоришь, Петра. Я тоже понимаю, а все ж, думаю, вдруг. Жалко опять же. Дай, думаю, свожу. Бурхало-то старается, белку ищет или чего, за глухарем там побежать. А этот сядет на тропе и сидит — ждет, пока вернутся. В снег не сунется. Шапка и та следом за Бурхалом тянется: кровь-то, она себя оказывает. Пустой кобель. Стрелишь, он и скрылся, под пихтой сидит. Или уж выстрела боится, или вовсе не понимает еще.

Данилычу, если по фактам, продали за тройку непонятную рыжую собаку городские бичи. Собака Данилычу понравилась. Он вообразил себе, что это, возможно, промысловая собака, краденая. Украли и продают. Назвали собаку как-то смешно: Гамлет ли, Гавлет ли? Данилыч, пока держал его во дворе на веревочке, все подыскивал имя: Полкан, Музгар, Соболька, Черныш (иногда рыжая собака больше Черныш, чем черная), Саян, Байкал, Верный, Рваный, Когтя, Жулик! Ни на какие клички рыжий не отзывался, пришлось вернуться к изначальному — Гавлету. От смысла «гавкать». Во дворе рыжий пес был смиренный, а на дороге стал на Бурхало наваливаться, как замелькала впереди штанишками Шапка.

— Подсунули, черти, еще и денег просили. Тройку просили бичи. Не дал. Нет, говорю, не дам. За собаку дам, а за это не дам.

— Дурачков все ищешь, Ефим.

— Домой отведу и — на крюк. Рукавички сделаю.

— Гавлет и есть Гавлет.

— У-у! Тварина, лежит! Я бы на твоем месте, да с хозяином! То-то смотришь, гад!

Бурхало, стыдясь своей старческой немощи, глубоко забился под нары и ворочался там, зализывая раны.

— Может, Шапка с Бурхалом хороших щенков дадут?

— Не подступится твой Бурхало. Это сейчас видать, от кого щенки будут.

— Проследим. Чуть что у нее намякиваться будет, мы Бурхало уполномочим. В стайку запрем.

— Не любит она твоего старого. Вон, к рыжему под елку побежала.

2

Шапка действительно ушла к рыжему разбойнику городскому, и они катались в снегу под елками, радуясь молодой своей жизни.

— Ах, сволочь! Любов нашла!

— Не хуже людей. Только они не по фигуре, а по запаху. Вон, у Гохи Полозова из Талды в Ямы, к кокоревскому Собольке, сучонка убежала. Пятьдесят километров по тракту. Вместе белковали на Нерке, они ведь двоюродные братья.

— Полозов-то с Кокоревым? Они на сестрах женаты просто.

— Ну, или свояки, не знаю. Кто их знает. С белковья вернулись и — раз, сучонка у Полозова пропадает. Пропадает она, а он думал, паря, украли. Запил, значит, все ладом. Ценная собачка была. Пустовка у нее началась, кругом кобелей! Все ворота обрызгали, стаями носятся по Талде. Она же никого не подпускает, а ему уже в счет будущих щенков бутылки ставят... Она, значит, ночью отвертывает цепку — и тягу. Через месяц это Кокорев приезжает, в Талду то есть. Встречает Полозова — чего же ты, мол, за собачкой не едешь? Тот и обомлел, разиня рот. Оказывается, она, сучонка-то, живет в Ямах. Соболька у Кокорева под крыльцом на цепе сидел, остерегался тот: гоньба же, дворовые лабазники дерутся. Он, значит, под крыльцо-то глянул — вроде вошкается кто-то там... Шуганул. Выскакивает. Полозовская сучонка. Пальма вроде ее звали...

— Пальма, Пальма...

— Он ее тоже на цепку посадил. Вот, значит, свыклись на белковье, она к нему и дала пятьдесят километров.

— Бывает.

— Это еще не все. Ты смотри, какая собака умная выходит. Полозов-то как раз и увольняется из Талды со станции. Он, оказывается, год уже как в Ямы собирался, его жена там склады принимала! Понял ты, какая далекая вещь?

Продает он свой домишко, и оказывается у него в Ямах пятистенок. На углу, где дорога лесовозная в сопку поворачивает. Крыша еще такая, острая, шиферная? Ну, дом, где Пылин-то умер! Он последние дома все такие ставил: крыша острая обязательно. Перенял где-то. Это и есть последний дом его.

— Но?

— Вот они его и купили. Люди, значит, только еще обговорили, а собачка уже на новом местожительстве.

Панфилыч замолчал. В знак полного примирения придвинул чайник с края печки на середину и, покряхтывая, чтоб показать, как у него болит поясница, встал на четвереньки, начал ворошить щепкой в золе, вздувать огонь, подкладывая, умело и экономно, валявшиеся вокруг печки стружки от растопки.

Огонь потанцевал, покачал змеиными головками, помелькал, разгорелся недоверчиво, окрепнув, охватил щепочки, вздулся над полешками, загудел; накалилась вершина печки, запел, попыхивая, чайник, задрожал, закипел, булькая и поплевывая на скользкую мягкую жесть ртутно-живыми слитками кипятка.

3

Панфилычу хотелось бы поговорить о медведе, которого он собирался искать, дождавшись Михаила, но с Данилычем об этом говорить — сглазить. Жадный человек!

— Ох-хо-хошеньки! Спина-то не разгибается совсем. Проверку хотел сделать, нагибнулся, а она, эвон, гли-ка, паря, не пушшат!

Данилычу стало ясно, к чему клонит приятель, но он промолчал про мурашиный спирт, ожидая, пока гордый Панфилыч ладом не попросит.

— А у меня-то, прошлый год, слышал?

— Недостача, что ли? — съязвил Панфилыч, сердясь на молодо гнувшегося над бочкой Данилыча, не предлагавшего мурашиный спирт.

Данилыч отминал поленом шкуру, по частям вытягивая ее из бочки и отжимая через борт, но тут остановился и повернулся блестевшей потом лысиной:

— У меня недостач не бывает. Ошибки случаются. А недостач нету. Я про собак опять.

— Ну дак что?

4

Данилыч сбился с начатого было рассказа про то, что у него приблудная собака утащила оковалок мяса из склада в прошлом году, в Задуваеве было дело, и попер вдруг, сам себе удивляясь, другую историю:

— На верхнюю базу заехал, где Махнов-малой сейчас охотится. Орехи проверить... Хлопотная жизнь ведь у меня, голова трещит, про все думавши. Вот, заехал, значит, орехи проверить и вижу — вроде орехи таскает собака. Мешки рваные, следы собачьи. А она, оказывается, в складе и пряталась за кулями, двери там не было, бичи сняли и растопили на костер. Моя собака кинулась и задавила. Зараз перехватила горло...— Данилыч продолжал начатое вранье, и тоскливо металась его мысль тем временем, придумывая выход, какая же могла быть у него собака, которая перехватила бы горло приблудной нищенке, и потому рассказ затягивал за счет междометий и пауз.— У Махнова она, оказывается, все плашки проверила... Белки, соболя — все попортила. Повытаскивала, пороняла... Перелетовала, значит, мышей ела, около бродила... На осень-зиму осталась, чего делать? Давай орехи жрать. Чем не житье!..

5

Панфилыч не верил, но одобрительными взглядами и мелкими кивками, прислушиваясь, загонял приятеля в тупик и помалкивал.

Данилыч, делая вид, что увлечен голубковой шкурой, все-таки нашел наиболее правдивый конец рассказу:

— Рукавицы все же сделал. Шоферам в чайной продал. Неприятные они мне были.

Наступила длительная, тяжелая для Данилыча пауза. Панфилыч сидел молча и чувствовал, как на маленьком крючке малявкой вертится душа Данилыча,— веревочку Панфилыч наматывал на палец и подтягивал, подтягивал.

— Что-то не слыхал я от Махнова. Что-то не слыхал я, чтобы у Махнова по плашнику собака ходила в прошлом году. Видел я их нынче осенью — и Махнова-малого, и Зуйка, напарника его. Но чего не слыхал, того не слыхал. Это у тебя новость!

— Я и то думаю, что ошибаюсь. Однако не прошлым годом было, а запрошлым чуть ли? Костя в техникум поступал.

— Дак он у тебя не запрошлым поступал, а третьим годом, неуж забыл?

— Правильно! А позапрошлым годом это и случилось. Верно, худая память.

— Позапрошлым-то? Это и Махнова-малого на Верхнем не было. Поливанов там охотился, старичок.

— Вот, он самый! Я чай к нему пить заезжал. Вот он-то и жаловался на приблуду эту. Вот, вот!

— Опять неславно выходит. Значит, так. Полозов мне рассказывал. Это уж правда. У него на участке жила собака, он ее все застигнуть не мог. Так это лет пять тому было. У него собака была, Карнаухий. Он и задавил. Гоха мне все рассказывал. Обснимывать даже не стал шкуру. Больная собака была. Шерость у ней клочками! А ты — рукавички, и продал шоферам?! Эх ты!

— Врет Гошка! — всколыхнулся Данилыч, с чувством кидая полено в бочку.

— Какая же у тебя собака была? Уж не Бурхало только. — Панфилыч отпустил крючок с малявкой, побаловаться.

— Кто же говорит! Не Бурхало. Кобель-то у меня был. Такой здоровый, ну помнишь? Ты, однако, видал его? Под самострел попал! Во, паря, жалко, дак уж жалко! Я с ним осень всего и проходил, он и попал под самострел! Не помнишь? Очень замечательная попалась собака. Масти, я тебе скажу... пожалуй, что весь бусый, а ушки...

— Врун старый! Ушки! Торговый работник, крохобор! Козел ты, страмец!

— А ты не страми, не страми! Разобраться надо сначала! Гоха врет — веришь. А мне — нет! Зло на меня держишь?

— Гоха правду рассказать не сумеет, не токмо что врать. Он те лишний раз языком-то не пошевелит.

— Ну, это разберемся в течение жизни. Это вот я увижу Гошку. Я его увижу... Я его спрошу, я спрошу! Я узнаю, чья это собака задавила, его или моя!

Данилыч побежал на улицу, потер там руки снегом, сходив шага на три в глубину за чистеньким, вернулся и налил себе и Панфилычу чаю.

— Давай-ка еще по кружечке. Посласти. Настоялся, дна-то не видать,— прощающим, но и победным тоном шел на мировую и Панфилыч.

Старики обжигались чаем, и опять зло у них улегалось, проходило, остывало.

6

— Вот у меня был случай действительный! С Поляковым еще охотились. Росомаха к нам пришла. Будто из-за Нерки, оттуда, через Лавренов вверх это, вроде от заповедника. Пришла ладно, следы видим. Соболей начала таскать по кругам, белок. Ох горячий! Вот правда, как ты говоришь, как у плашки ее след — ищи в окружности. Обожрется, стервозная,— половинку спрячет. А что половинка? Бросать?

— Пробросаешься! Половинка да половинка — вот тебе и шапка. Правильно...

— Но дак как же, жалко ить. Бродишь, бродишь, а она везде вперед тебя побывала. Аж зло берет. Хитрый же, гад! Никакого с этой хитрой драконинной сладу нету. Вот после войны, лет шесть, была у меня росомаха. Та просто человечная, прошла сквозь тайгу, все посрывала, что нашла в плашках, капканах, порвала и ушла, так и не вернулась. А эта пристроилась на хорошее житье! Правда, у нас подкормка тот год была, мы, не соврать, не то шесть, не то семь зверей наваляли, по падям разбросали. Ловилось, правда, хорошо. Вот ей и понравилось. Зимует, значит, у нас. Давай мы с Поляковым мастерить. Лабаз у нас был с изюбрятиной, сочинили самострелы. Под лабаз тозовку поставили, на шнурке, а возле дальней избушки — ружье. За кость потянула — готово! Здоровая была. Я их в жизни семь штук и сдал. Редкая зверь. Но дешевая.

— Эх, опасно это, самострелы! Говорят вам, говорят, лекции читают, правила пишут, а вы все свое! Нельзя, Петра! Мне бы — пускай круг полон соболей растащит, не поставлю самострел. Человек попадет — подумать страшно.

— Не ходи на чужие лабаза. Ну, да мы на человека-то записки оставляли, на подходах.

Панфилыч на этих словах медленно веками прикрыл забегавшие глаза. Несусветная же ложь! Это вот, к примеру, если бы он у белоголового старика, которому через Митрия продает утаенные соболиные шкурки, квитанции бы получал или в ведомости бы расписывался!

Данилыч же, уличив приятеля на вранье, покачал головой и, не в пример, промолчал. Вот, мол, цени, ты врешь — я тебе не мешаю. Ведь уж как попался Панфилыч! Всему можно поверить, но только не в записки на самострелах. Можно бы и кольнуть, да только Ухалова лишний раз коль-

нуть — подумать надо. Злопамятный мужик, кусается. Данилыч и зашел с другого боку:

— Говорил я тебе, нет ли? Оттягали тарашетцы замайскую тайгу. Бумаги пришли из облисполкома. Выспорили, выхлюздили, можно сказать!

Данилыч поворошил золу в печке и поднялся с колен, отряхивал подмокшие в борьбе с голубковой шкурой ватные штаны, к которым теперь все прилипало.

Последовало долгое молчание.

— К тому все дело шло.

— Твой круг туда попадает.

— Мне не жалко.

Панфилыч сдержался, но шея у него надулась, пошла малиновыми пятнами. Крепкая еще шея, сразу не согнешь.

— Тебе и вправду ничего, вишь ты,— уже забыв про подкавыку, про свое изначальное стремление поддразнить Панфилыча, сказал Данилыч.— А мне, паря, хужее. Тебе там сто плашек потерять, а у меня, может, вся жизнь меняется. Может, переезжать надо будет. У меня с этих кедрачей завсегда план был. Во как.

Данилыч не мог долго печалиться, как не мог бы воровать по-крупному. Задумался — и прошло. Утешало его на скорую руку, что хоть несет он сам большой урон, но и Панфилычу тоже плохо. Если самому на спину лесина упала, то доволен, что Панфилыча хоть веткой хлестнуло.

Есть вот сильно крепкие люди, а укол в армии поставят — они и падают. А иной слабый — до ста уколов примет, и ничего ему, потому что слабый!

Вот и Панфилыч. Сильно переживать будет, тяжелый человек. Панфилыч сто рублей найдет на полу — не возвеселится, рубль потеряет — заболеет. Форменная это болезнь, вот и все!

Глава тринадцатая

МУРАШИНЫЙ СПИРТ

1

— Выспорили дак выспорили,— голос у Панфилыча дрогнул.— Это их теперь набежит в наши тихие тайги!..

Панфилыч громко, на весь барак, хрупнул зубом и не заметил, что Данилыч от этого звука съежился.



— Хуже слышал, Петра. Говорят, что в этом сезоне они уже там охотников своих завезли с той-то стороны!

— Не может этого быть.

— Завезли. Балай так и говорил,— заторопился Данилыч.— Передай, мол, Ефим Данилыч, чтобы конфликтов не было. Все, мол, ихняя взяла.

— Молчишь...— Панфилыч перевел на Данилыча тяжелый взгляд и больше ничего не добавил. В это слово он вложил все, что нужно было, чтобы привести слабую душу Данилыча Подземного в болезненное трепетание.

— Дак ведь тебе что, я ведь теряю... Переезжать придется мне-то. На другой участок. А ведь у меня семья, дом... Ты не переживай, Петра,— попросил Данилыч со страхом в голосе.— Что попусту переживать? Наше дело старое, годы-то!

— Однако писать надо. Охотники, мол, против. Рабочий самый класс. Передовики, а? Разве партия, правительство позволят? А?..— машинально сказал Панфилыч.

— Там тоже передовики есть. И тоже рабочий класс! Ихняя тайга, сам знаешь.

— Писать надо!

Лицо у Панфилыча отошло, краска слиняла, он даже потеплел, вроде пришел в себя.

Это удивило и обрадовало Данилыча, и он сразу посмелел:

— Тебя там побоялись!

— Побоятся.

— Это у нас ты — Ухалов Петр Панфилыч. А для них ты со всеми своими грамотами — плевок.

— Я плевок? — удивился Панфилыч.

— На примере говорю, простой охотник. Они вон с директором не посчитались, с районом! Замайские тайги мы же зажимали и мы же будем жаловаться?! Ты чо, угорел сегодня?

Отвлеченный производимыми в уме маневрами, Панфилыч пропустил без внимания дерзость с плевком.

— Старший-то у них знаешь кто? — Данилыч совсем развеселился.

— У тарашетских-то?

— Тиу-у-нов! Тиунов-предатель!

— Заразный! Всякую шваль собирают!

— Грозился, говорят, на тебя и на меня. Всех, говорит, шунгулешских с ихними хитростями так и так! Все про них

расскажу. Мне предлагали,— соврал Данилыч,— нарыскивались. Переходи, мол, бери участок, знаем о тебе, слышали.

— Нужон ты им, как медвежье дерьмо.

— Стало быть, нужон, если подсылали,— смехом пропустил выражение Панфилыча Данилыч.— Только я не пошел. Надо будет — другой участок приму у нас. Вон, в Золотоношу переезжай и бери ее. Уж Костю дождусь. Их уже распределяют. Дождусь Костика, вместе и обсудим. Ихнее дело молодое, образованное. Если он в Задуваеве будет оставаться, придется мне опять в торговлю переходить, что ли? Нельзя, чтобы семья расползлась. Вишь как, тоже неславно. Данила-то, старший мой, где-то на морях, вроде вокруг света ходит. Бесполезно ждать-то его. Елена — старшая девка — уехавши, тоже дети там. Забыла нас с матерью. Я и внуков-то толком не видел. Привезла, повертелась — скучно. Уехала. Мария, вот взять, смирная баба, дак муж бросил, куда от нее денесся? Внучки. Но уж у меня есть надежда — Костик! Это, я тебе скажу, утешение всей родительской старости. Уж такой разумный, ну просто ласковый! Вот, думаю, первое время буду ему опыт передавать. Уж чему их учат в техникуме, не знаю, а торговлю надо изнутри понимать. Он, может, и ученый, а наше дело темное.

Данилыч мог до бесконечности долго рассуждать в таком роде, лишь бы не мешали ему, пусть не слушают.

— На меня, значит, грозился? Тиунов-то. Он заразный!

— На тебя и на меня. Соседями будем.

— Ладно. Уж больших зверей нам не достать, а с маленького шкурку снимем. Это я тебе точно говорю. Он у меня попадется. Да. Значит, чего я у тебя сижу? Пришел будто по делу, а сижу. У тебя, я помню, мурашиный спирт был. Отлил бы чуть. Разломило спину, перед Мишей неудобно. Он, считай, третий день по плашнику мотается, а я отлеживаюсь. Право слово, разламыват. Конечно, другой бы на моем месте с человека за такую тайгу два пая брал. А я не могу. Совесть.

И правда, три дня ходил Михаил на дальних кругах, но Панфилыч не все три дня лежал, два из них он охотился и добыл еще двух соболей, в лесу их прямо ободрал и положил в тайник, в дупло, где накопилось уже одиннадцать...

2

— Что ж, Мишке у тебя хорошо живется.

— Как мы стали собой промышлять — на глазах переменился. Жить они стали — дай бог! Он сознает, как же. Пана его, жива была, через улицу здоровалась. Они мне как дети будто.

— Жалко парнягу. Молодые бабы — и помирают, а?

— Старых-то черт не берет, с молодыми тешится.

— Что ж он думает? Жениться надо — парень молодой. Хозяйство бросил, ни скота у него, ни огорода.

— Привык он к Пане-то, скучает, видно. Я, знаешь, не касаюсь. Молодежь. У них свое на уме. Но скучает за ней. Ночью разговаривает.

— Но, паря? Видится, стало быть. С ней, что ли, говорит-то?

— Может, видится, может, жарко натопили.

— Имя-то называл?

— Известно. Пана, мол, платок одень. Холодно, ветер.

— Это он ей говорил?

— Платок, мол, одень. Я, мол, сейчас встану, сам подою, корову, значит.

— Видится. Видится она ему. Уж ты гляди, жалей парня-то. Приглядывай, чего бы не нагрезил. Портнов-то, помнишь? С кладбища пришел, гости сели, а он в анбар, да и застрелился. С ночи там ружье спрятал. Жену тоже любил. Все специально и сделал, ни слезинки, спокойно, чтобы не следили за ним.

— Да уж что говорить! Мишку жалко. На похоронах мимо него в сенях прошел — не узнал. Стоит чей-то парень, а не Мишка Ельменев. За стол усадили, а он есть не может, не пьет, давится. Костюм новый залил вином, никого не узнает.

— Говорят, на кладбище сказал, мол, закапывайте и меня с ней. А?

— Врут. Стоял в сторонке. А тут поезд прошел, как даст сирену. Он и очнулся, на поезд поглядел, поглядел, потом подошел к могиле. Дайте, говорит, я ей помогу в последний раз.

— Зарывать то есть?

— Ну да, зарывать. А закапываться не хотел, врут люди. Сын ведь на руках, не закопаешься.

— Выправится. Женится еще. Все проходит, зима, лето...

— Нет, он на меня не обижается. Вы, говорит, со мной

останетесь, Панфилыч, спина, дескать, кругла, рано вам на пенсию. Пенсия, мол, не пенсия, тайга, мол, по гроб ваша, и я этого не забываю.

— Справедливо. Сколь же крови тайга стоила, хоть Полякова взять, ломал с ним спину. А теперь — отдай за просто так? Несправедливо.

— Я тоже говорю, несправедливо.

— Значит, Миша предлагает выходить на пенсию и охотиться с ним? Позволяет, значит? Благородный парень.— Данилыч немного перегнул, голос его выдал.

— Как понимать «позволяет», а? — побагровел Панфилыч.— Мне — мою тайгу? Старый ты дурак! Я из него человека сделал, у него ковры дома-а!

Данилыч между тем залез под нары и вдоволь насмеялся там, елозя ватными штанами и телогрейкой по пыли. Достал оттуда грязный пузырек с деревянной струганой затычкой. Мутная вялая жидкость перекатывалась медленно на донышке. Стерли пыль — оказалось, что там плавала и божья коровка. Похоже было на осадок от постного масла.

— Есть маленько,— сказал Данилыч.

— Спасибо тебе, отлей-ка малость.

— Размазывать по бутылкам! Всю бери...

Бутылка с мурашиным спиртом стояла на столе среди чашек и зеленовато отсвечивала на солнце, проникавшем до самой жидкости через мутное окно и мутные жирные стенки самой посудины.

Муравей для лекарства берется самый ранний, весенний, майский мураш. Муравьев живьем запаривают, собрав в мешок, выжимают из запарки весь сок и этим так называемым «спиртом» натираются от ревматических болей и многих других попутных болезней. Считается, что помогает. Промысел этот строго запрещен. Данилыч же делает мурашиный спирт давно, научился от тестя. У него даже давилка есть специальная, руками давить — вся кожа слезет. Тесть натирался этим спиртом и ложился в тепло, назавтра вставал, выпивал на радостях чекушку, простуживался, болтаясь по избе, по сеням и стайкам, распустив рубаху и открыв напаренную поясницу, снова охал и снова залегал, и тянулось это долгие его стариковские годы, так что муравьи вокруг Задуваева сильно поубавились, не принеся своими, страшно сказать, сколько миллионными смертями ощутимой пользы человечеству.

— Лечись, Петро,— сказал Данилыч, не очень-то веря в лекарство, простоявшее на морозе два года.

— Ты до седьмого досидишь?

— Не знаю, может, раньше управлюсь... Товар, сам понимаешь, товар.

— Это правильно,— нехотя согласился в благодарность за мурашиный спирт Панфилыч.— Заходи, чайку попьем... Досидишь, дак уж мяса тебе дам. Братан должен подойти, мясо домой повезет, на твою долю добудем.

— Спасибочки.

Поскрипев на обледенелом крыльце, Ухалов ушел в темный от сильного солнечного света лес. Кочковатая тропа была скользкой, занастившейся. Собаки Данилыча побежали было за ним следом, но от ельника вернулись. Шапка вякала молодо, трусливо, любопытно, играючи. Гавлет же, пес дворовый, не шутя проводил гостя до воображаемой границы охраняемой для хозяина территории.

Глава четырнадцатая

УЧЕТ

Данилыч вернулся в барак, достал из мешка кусок мороженой говядины, отлепил примерзшую газету и бросил мясо в кастрюлю, залив из чайника кипятком. В воде плавали чаинки, но идти на ключ за водой не хотелось, чаинки же снимутся с пеной.

Мясную пену Данилыч не любил, его даже, признаться, тошнило от мясной пены, уж очень желудок у него разборчивый, незнамо отчего вдруг заболит, заболит — и натощак и поевши. Он всегда и сам снимал пену, и жену научил, он твердо верил, что пена мясная для здоровья очень вредная.

Подкочегарив печку, он оделся и с удовольствием пошел отпирать склад.

Заскрипели, бороздя наметанный по щелям снег, двери.

Данилыч окинул взглядом свой подотчет, свой товар, свои владения.

В светлом квадрате двери, закрывая собой нестерпимо яркое солнце, холодный свет сияющего снега, черную, голубую, зеленую островерхую стену ельника, закрывая собой светло-коричневую и пятнистую березу, развесившую стеклянно замерзшие паутинно-тонкие кудри; дыша мерзлым мышасто-пыльным запахом склада, наслаждаясь чувством

условного хотя бы, но владения товаром, застыл на длительную счастливую, переполненную изысканным наслаждением секунду Ефим Данилыч Подземный.

Тушенка — здесь.

Сахар — один куль начатый, другой нетронутый — здесь.

Сливки — здесь.

Мука — и та и другая — здесь.

Сухари — восемь брезентовых кулей — здесь. Один мешок погрызенный, верно.

Мелочей — три фанерных ящика: сода, спички, поплавки, фитили к лампам давно забытых систем, крючки, подковы, банка халвы, гвозди, полиэтиленовые мешочки, бывшие в употреблении, ученические ручки, гнилые ремни, пули, бумажные носки, пистоны, женские резинки — круглые и плоские, пряжки от плащей, нитки, бруски, клещи — большие и двое маленьких, молотки без рукояток, шурупы пятидесятимиллиметровые, пуговицы, баночки с ружейным маслом, отвертки — набор, штепселя и вилки, медвежьи когти и россыпи мышиного дерьма, шуршавшие по фанерным донышкам,— все на месте!

Чай!

Ящик чая отсутствовал!

С чая надо было начинать!

«Та-а-а-к! Кто был последний?»

Чифиристы проклятые! Легко пугающийся Данилыч сразу вспотел. Самый дорогой товар! Сколько его было?

Данилыч на ослабших ногах присел на ледяной куль муки.

Так!

Он быстро вскочил и стал отдирать фанерные крышки на всех ящиках. Крышки были легко наживлены.

Нету! Нету! Нету!

Вот он, чай!

Старая голова, сам же и перекладывал, сам же и позабыл. Вот что значит не записать операцию.

Корябая фанеру ногтем, Данилыч прикинул, сколько пачек в глубину и сколько в ряду. Множа ряды на количество пачек в глубину, он успокоился. Вышло все правильно. Все на месте.

Но условный подсчет не доставлял того удовлетворения, что натуральный. Может быть, умножение есть правильное действие, но своими руками, методом сложения, спокойнее. Данилыч перевернул легкий ящик и высыпал чайные пачки

на пустые орешные кули, переложил обратно ряд в ряд в ящик.

Девяносто семь пачек, семь безрядных, нестроевых.

Посмотрел в учетик волнуясь, как смотрит школьник ответ на только что с трудом решенную задачу. Все сошлось. Так и есть, как было и как держал в уме, как значилось в учетике — девяносто пачек.

Семь было лишних, заработанных.

В учетик левую, торгашескую, коммерческую продукцию Данилыч не заносил — из осторожности.

Мешки в углу — крапивные, нетронутые — это свои, которые в обороте не бывали. Резерв главного командования. Новехонькие — пятьдесят штук.

Сбруя экспедиционная, доставшаяся по случаю, по дешевке. Ее давно надо было вывезти и продать в хорошем месте. Хотя бы на конюшню свиносовхоза. Сбруя новая, считай. Особенно на вид: масло, а не кожа, хоть, по правде сказать, ломкая уже. Договориться с Кешкой Косым, на пару, списать, новую взять за нее, вот ту — продать!

Два ящика с капканами. Лом. Найти человека, чтобы отремонтировал, тоже полезная операция.

Ичиги, две пары, новехонькие. Бичам продать, это надо придержать в уме на подходящий случай. Проходным бичам продать, свои могут и побить, ичигам десять километров прожить — расползутся.

Валенки — семь пар с половиной, подшитые, правда. Их в экспедиции-то списывали раза два! На часах стоять, для сторожей...

Эх, экспедиция, экспедиция!

Завхоз Ханаматов мог бы вообще всю экспедицию продать, будь у Панфилыча рука полегче, будь он посмелее, поразворотливее, сообрази он вовремя появиться. Пока робко принюхивался Ефим Данилыч Подземный, подбирался, отскакивал, напуганный, все сплыло дымом из глаз, видением, сном растаяло.

Ведь все толковое, в том числе северную спецодежду — цены ей нету! — отвез Ханаматов в город на вездеходе. За ночь реализовал.

И по пути-то к нему же, к Данилычу, заехал в Задуваево, чай пить.

— Есть у тебя в подотчете две тысячи? — пьяно спросил Ханаматов.

Данилыч вспотел и отрекся от полутора тысяч, помалкивавших в щели между бревнами коровьей стайки.

— Нету!

— Жить надо с деньгами, счастье можно упустить,— засмеялся Ханаматов и уехал.

Большой мужик!

Чего же только не было в этом вездеходе!

Поил он Ханаматова, поил, а дальше валенок подшитых и трижды списанной прогнившей сбруи не пошел. А такие деятели, как Василь Прокопыч Ханаматов, редко встречаются.

«Добрые люди воровали, а ты где был? Так-то и проспишь все царствие небесное»,— слышались или сами собой говорились отцовским голосом стариковские вещие слова.

В молодости удалым ямщиком был Подземный Первый, кормился Сибирским трактом. Темный слух есть, что с кошевочниками гулял.

А кошевочники-то? Просто сказать — разбойники!

Девушка из богатого дома за ворота вышла, пробирается, да вдруг — ах! — вихрем налетели кошевочники, в санки подхватили, не стало купеческой дочери! Ох да ах, пока люди погоню снарядят, а — и след простыл!

Или подрядятся седока везти — глаз-рентген,— не поопасся денежный человек, поминай как звали. Бойкий тракт.

Лошадей держал отец таких, каких львов и тигров теперь в зоосадах не держат! Мясо сырое кони ели!

Эх, да что говорить! С испугу, видно, мать Ефимку родила, не иначе!

Солярки, правда, две бочки осталось. Спасибо Ханаматову, что на землю не вылил. Одну бочку солярки Ухалов себе укатил — солярку на растопку, а из бочки со временем печка будет. Да не жалко Данилычу — солярку не попрешь из тайги в деревню. Вот сено сначала было жалко...

Панфилыч его как пищуха перетаскал от базы к себе в зимовье. Потом оказалось, что сено нехорошее, что-то в нем было такое, конь не кушал. Посмеялся Данилыч над Панфилычем. Саранча у него была тогда, у Панфилыча-то Ухалова.

А вот в торговле-то, в прямой-то специальности, и такую промашку допустил!

Широкий человек Василь Ханаматов; как понял, что потный, испуганный размахом мужик будет у него каждую ру-

кавичку, каждый валенок отдельно покупать,— затосковал, изматерил Данилыча и прервал торговую операцию.

Даром! Даром оставил в складу кучу старья, да еще на прощанье спирту флягу выставил!

А Данилыч? По зернышку, по зернышку...

Вездеход вещей — ума можно решиться!

Сварит голова у Данилыча, если мышь ящик прогрызет — целые печенья отдельно, поломанные отдельно, крошку в сахар, вот и реализовал.

Отсталые все методы. Ведь как надо было? Привезти в экспедицию мяса туш пять, спирту, денег — всю родову обойти, с книжек поснимать, поджаться, в долги влезть, сделать оборот!

Не торгаш ты, Ефим Данилыч Подземный, не торгаш! Не быть тебе черпалой, так и сдохнешь на подхвате.

Загоревал Данилыч, наскучило ему его кротовое хозяйство, закрыл склад.

Суп ел со скучной физиономией, вытирал пот рукавом.

Колотисся, колотисся, а Ханаматов — раз — и в дамках! Утешало, что Ханаматов сильно пьющий человек, любые капиталы пропьет, нутро глупое, здоровое. А уж он-то, Данилыч, малым оборотом — а в семью!

Рюмочку в красный день календаря. Только, а более ни-ни. Разве на чужаку.

Трое детей не в счет, списанные дети. Костя — одна надежда! Кончает торговый техникум, скоро приедет. Магазин в Задуваеве освобождается, может, его примет?.. Ну про Костю ни слова, чтобы не как Петра рассказывал: «Сынок, спинку не поломай!» Ни слова.

По зернышку дак по зернышку. Мы — Подземные, нам много не надо, мы люди серенькие. Ничего, сереньких видать меньше... Они, серенькие, и того...

Суп благотворно подействовал на Данилыча. Он даже в лес пошел. Свернул с тропы, вытянул ботфорты — вот и пригодились длинные голенища,— поставил на заячьем ходу пяток петель. Всегда в запас возит с собой отожженные петли. Детская стыдная забава; не дай бог, Панфилыч углядит за этим делом.

По зернышку, мать вашу об угол!

Медные, медные деньги делал Ефим Данилыч. Орехи принимать на тяжелых весах, сдавать на легких, пушнину

пересдать в соседний район: две-три сотни белок — там цены выше, с северной надбавкой, но это опасно, потому — редко, грибы, ягоды. Усушка, утруска, бой, мышиное яденье...

Собаки пришли следом: Бурхало и Шапка. Гавлет виновато и опасливо маячил за деревьями. Собак Данилыч прогнал, покидал в них легкими сучьями.

Нашел еще следок, приспособил две петельки, одну сверху подвесил, другую сбоку насторожил.

Вернулся. Вот и обновился интерес к жизни. Завтра дождаться, пойти проверить, в одной-то уж точно будет зайчишка.

Самоуничижение Данилыча Подземного — процесс глубоко скрытый, редко проявляется, и только наедине с самим собой.

— Толку-то с тебя! Добры люди мешкам тащут, а ты за щекой принесешь и хвасташ! — попрекнет, бывало, Домна.

— Глупая-а! Кто я тебе? Простой охотник? По лесам за зверями? У меня люди! Я торговый работник, вот и запомни!

На Домну такие доводы действовали, она успокаивалась, стихала.

Глава пятнадцатая

ЗАПИСКИ

1

Эту ночь Панфилыч опять ночевал один на один с неотступными заботами, к которым прибавились теперь еще и мысли о тарашетцах; с Ударом, спавшим в зимовье; с Майком за бревенчатой стеной, слышно переступавшим с ноги на ногу, всхрапывавшим, ворочавшимся в тесном закуте; с мурашиным спиртом на пояснице.

Мурашиный спирт если и вел свою целебную работу, то незаметно, и Панфилыч подумывал, что спирт этот уже состарился, может, перемерз, и силы чудесные его оставили. Чтобы не простудить поясницу — черт его знает, а может, и оказал спирт такое действие, что выходить после него нель-

зя,— Панфилыч остался с утра в зимовье поджидать Михаила.

К Данилычу не пошел, а сидел в тепле и перебирал, раскладывал по кряжам, цветам и дефектам соболиные шкурки, местами подчищал, сдирая ногтем жир на огузках, подправляя неподсохшие на правилках.

Культурный вид пушнины — первое дело. Цвет соболя не изменишь. Есть чудаки — подкрашивают, но это глупость смешная: какой подфартил, а уж вид — дело рук охотника. Есть такие раззявы, им все равно: комком кинут — принимай! Посадка, чистота мездры, какой-нибудь катышек смолевой в соболином пуху — и шкурка теряет пять процентов!

Ведь куда проще, спиртом смочить и гребешком расчесать. Минута — а сохранил себе трояк.

2

Вот чем занимался Панфилыч, когда услышал, что посыпались в дровянике полешки, Удар рвался на цепи и давился от злости. Сначала Панфилыч подумал, что Подземный тащит сушить колохватовские лыжи, накинул одеяло на пушнину и вышел глянуть из-за угла — не показывая голову — в щель.

По тропе переходил ручей какой-то незнакомый человек в кожанке — кожа блеснула на солнце,— с двустволкой, с собакой, понуро бежавшей сзади.

Панфилыч метнулся в зимовье, сгреб пушнину в мешок, сунул под свои нары. «Длинное ружье», место которому обычно было в тайге в тайнике, сунул под Михаиловы нары: эта винтовка прекрасных свойств — с пулеметным стволом — за Панфилычем нигде не числилась (самодельная), а числился за ним древний карабин, многие годы уже клавший кувыркавшиеся в полете пули плашмя и на шаг мимо на ста метрах.

Для большей конспирации он даже налил себе чаю. Ждать от базы человека всегда неприятно, в ту сторону избушка не имела окна — дверями и окном зимовье было настроено навстречу солнцу, на юго-восток, к плавно и медленно, волна за волной, вершина за вершиной поднимавшимся на водораздел сопкам. В хорошие дни отчетливо был виден из окна хребет Предел, три его похожие на облака головы.

3

Здороваться парень начал еще перед закрытой дверью.

Был он малоусый, в летчицкой, легковатой для такой поры куртке-кожанке на свитер, в болотных сапогах. Назвался сыном тарашетского Анатолия Тяжелого. И действительно; обличьем был тяжеловский, хоть никого из тяжеловских Панфилыч и не видел лет двадцать — тридцать, но вспомнил.

Парень что-то вертелся, подхалимничал, скромно пил чай, сдвинув кружку на самый уголок, без сахару,— руку нужно было тянуть через стол, а он робел,— с одной сгущенкой; выбежал наглядно бить свою собаку, которая сразу же свалила с полки в сенях слипшийся комок мороженых беличьих тушек.

Собака была дурная, тигровой масти — полосы были чуть заметны, но были,— голая с выпиравшими углами остовом, с крупной, вроде чемодана, головой. Кто-то постарался, подмешал сибирским собакам договой крови — улучшил породу. Бедная доходяга, когда отняли у нее белок, выкопала где-то в снегу тушку соболя и начала его мусолить. Она рвала эту тушку против окна, наступая когтистой огромной лапой, развязанно слабой в пальцах, гнущейся. Оторвав кусок и проглотив, собака пугливо оглядывалась, готовая отскочить, вихляя огромным несуразным телом, отбегала в сторону — ждала, что пнут или поленом кинут.

Удар просился в драку, рычал на чужака.

— В уборную, извиняюсь, с собачкой ходишь?

— Прожора, дна нету! — Парню было стыдно за собаку.

— С такими собаками ваши хороший план возьмут!

Соседи пришли, нечего сказать! Панфилыч давил в себе ненависть и внутренне от этого еще больше разгорался на парнишку, который пришел соседствовать, знакомиться.

Но не то еще ожидало Панфилыча!

Парень предусмотрительно поторопился — сам взял чайник с печки и налил себе чаю, когда Панфилыч сделал только намек на гостеприимное движение к чайнику. Что-то мучило паренька, и он явно забегал вперед.

— Тиунов у вас заведует участком-то?

— Сергей Семеныч.

— Но-но, голова-а!

— Я от него записки принес. Велели на плашник наколоть, да я подумал — прямо сходить лучше.

Записки были сложены в восемь раз.

Панфилыч взял с окна очки, медленно натянул их, загибая оглобельки, и стал разбирать против света каракули Тиунова.

Он ни слова не сказал, прочитал, и сложил записки снова в восемь раз, и спрятал в карман, и пуговицу на кармане застегнул, потом снял очки и положил их на окно, и руки сложил на толстых коленях.

Парень не выдержал гнетущего молчания:

— Выходит, значит, получается... Тайга вроде ваша была, а теперь наша. Значит, чтобы по-соседски. Я просил Сергея Семеныча — выражениев поменьше, он сначала такие записки написал, сердитые...

Панфилыч ждал, пока парень кончит пить чай, а потом спросил добреньким голосом:

— Чай попил ли?

— Попил. Спасибочки.

— Катись теперь отцедова.

— Как так?

— А как умеешь. Напарник, видишь, шибко сердитый у меня. Греха бы не было. Тиунову, заразному сифилитику, скажи, пусть не попадается, с головой съем. Если ворохнете что на наших путиках — сам знаш, что быват за это дело.

— Да я, Петр Панфилыч! Рази я бы позволил, например?

— Ты ба еще...— усмехнулся Панфилыч.

4

Парень долго уходил по тропе, откуда пришел, за ним бежала понурая собака. Потом они скрылись в ельнике.

Идти парню до своего зимовья было километров сорок, и вполне возможно, придется ночевать ему — ночь застанет на середине,— но Панфилычу и этого было мало, и он даже подумывал, не сходить ли проверить, чтобы не заночевал тарашетец у Данилыча — прогнать чужака.

Муторно стало Панфилычу, руки у него дрожали, когда он снова достал записки и снова начал их изучать, стоя у окна.

Записка

Михаил или ты Панфилыч давай не будем скандалить и не вздумай касаться к плашнику который на нашей стороне Находится через конную дорогу Если еще сунешься я вас буду как собственных ишаков...

Тиунов Сергей Семеныч

Записка

гр. Ухалов или Михаил не доводи до греха и не переходи на эту сторону конной пути раз тайгу передали значить и плашник мой. А ты еще имел наглость и настоpожить плашник и проверять ходишь еще

Тиунов Сергей Семеныч

С такими бумажками, где матерщина на матерщине и про ишаков прямо сказано, можно много неприятности сделать. Дурак Тиунов, и не на того напал. Петра Панфилыча Ухалова ты бы не трогал. Зуб в земле отроет, а укусит в голову.

На улице раздался задорный чекот кедровки. Откуда прилетела сюда эта глупая любопытная птица! Уж, кажется, должны бы они кончиться, сколько их передавилось в плашках, сколько упало от тозовочных пуль. Нет же!

И еще прилетела прямо к зимовью!

Кедровка вертелась туда-сюда на высокой кедрушке, потом кокетливо, с пируэтами, спланировала на елку пониже и там, где по геометрически точным углам расходились молодые веточки-торчки, написалась — пестренькая, свеженькая, новенькая, дикая. Она вздорно чекотала, восхищенно вскрикивала и шипела. Сколько тянула она над сопками, и все была тайга-тайга, а вот дым из трубы, снег перетоптан, в щепках, много всяких вещей выделяется на поляне, магнитно притягивая любопытство птичьего глаза.

Таежная веселиха, чекотуха, чекотунья.

Панфилыч посмотрел в окно на кедровку и спустил босые ноги с нар. С тозовкой подошел к двери и, мягко отворив ее, вышел на снег в сенцы. Через большие щели в дровянике он приложился по глупой птице, она же подергивалась на мушке и кричала от восторга, кричала, удивляясь, должно быть, что в такой доброй кедровой тайге, где так много висит по хмурым кедровым вершинам сиреневых сухих, легко шелушащихся шишек, располным-полных орехом, подсохшим и жирным, никто не отвечал ей: ни родные сестры-кедровки, ни двоюродные — кукши, ни троюродные — сойки, лазоревы перушки.

Она делала играющие кивки, приседала на тонких цепких ножках, булькошила горлышком и жеманно шипела в осмоленные перышки в углах клюва: ж-ш, ж-ш, ж-ш-ш-ш!

Выстрел уронил кедровку с дерева. Она полоумно закрутилась от боли и по странной дуге, сложившейся из прямой падения и судорожных толчков крыльев и хвоста, упала в снег, размягченный солнцем, и ушла туда полностью, только крыло чернело тонким изысканным штрихом пера.

Поджимая босые ноги, Панфилыч сердито вернулся в зимовье, поставил винтовку перед дверью на улице, а сам сел на нары.

«Плодущи, черти! Не бить, дак хоть плашки не сторожи!..»

Ему что-то вспомнилась елань, вспомнилась сорока на колу на сеновале. Детство, комары ночью, навозный дым, в котором спасались коровы от гнуса. Молодой отец, так и не состарившийся. Солдат верхом. Потом орудие какое-то. Опять сорока на колу...

А?! Овсы зеленые, мокрые, холодные-е... А!

Тихо было в тайге. Поднимался струистыми теплыми волнами прозрачный, текучий, как жидкое стекло, дым, и хотелось думать, что жизнь невинной глупой и смешной птицы осталась в лесу как-нибудь чудесно.

Может, из снега вместе с теплом, уходящим из остывающего тельца, поднимается такой же простым глазом не видимой струйкой тонкой, растворяется жиденькая птичья душа...

5

Панфилыч уверен, что есть звери вредные и есть полезные.

Те, которые ему непосредственно полезны,— те полезные.

А которые ему пользы не дают — те бесполезные.

Ну вот мышки, например, ими соболь питается, мышки полезные.

Дальше эту цепь Панфилыч, к сожалению, не развивает.

Кедровки вредные — едят кедровый орех! А что они его расселяют, этого он не знает, а как в плашки лезут — видел, мешают: покричит, повертится, потом спланирует, молча сунется и задавится!

Что кедровки рассаживают кедр, Панфилыч узнает, почитывая на пенсии охотничий журнал, а пока что в своем личном опыте находит он опору и обоснование действовать на мир так, как надо для пользы.

6

Сорока-то, а! Сидела на колу сорока, а он подкрался с рассверленным из винтовки дробовиком тяжеленным, через стайку выцелил, в щель так же стрелил и обмер! Сорока соскользнула и улетела низом, молча, а огненный пыж описал дугу и упал под кол, на котором сидела сорока, в сеновал.

Долгие томительные секунды — в пот бросило Петьку!

Сухая жаркая осень. Сухое, порохом, сено. Сейчас ахнет, пыхнет, поднимется, вспучится крыша сеновала! Что будет?

Нельзя стрелять ни сороку, ни ворону — беда будет, говорил отец!

Богородицу зашептал, половину прошептал — не пыхнуло, вторую половину не стал читать, успокоился, теперь не сгорит.

Не сгорело. Но сорок и ворон больше не стрелял Панфилыч, до старости!

Вот отчего вспомнилось — через дровяник стрелил, в щелку.

С детства ведь осталось, ты смотри! Многое с детства осталось.

Сахар вот любит. По куску отец выдавал и по прянику, мусолили дети. Сахар раньше вкуснее был, слаще. Сколь его переел, а такого сладкого больше не было. Скоромный считался у матери. В пост не давала.

Эх-ха, ха! Глупость человеческая, от бедности постились, боговеры!

Глава шестнадцатая

РАЗГОВОРЫ НОЧЬЮ I. ЕСТЬ ЛИ ЧИСТЫЕ?

1

Рюкзак был тяжелый. Михаил не поленился, тащил от дальней избушки кусок шеины, губу и вырезку от бычка, филейных кусков пару, жира две горсти, тащил также полста белок с тушками, не рюкзак был, а мешок цемента.

По неотвязным просьбам заповедника промхоз согласил-

ся заготовить четыреста белок в тушках, решено было платить вдвое, и Панфилыч Ухалов добился того, что половину этой выгодной задачи возложили на него и Мишу Ельменева. Много — мало, а двести рублей чистоганом лишних урвал. Вот эти-то белки и нагибали спину Михаила.

Но шел он нескучно.

2

База Подземного дышала теплом. Нахожено было лошадью, людьми, собаками, значит, приволокся Данилыч. Самого хозяина не было. (Данилыч в это самое время собирал себе за шиворот снег с кусточков и молоденьких елочек, проверял петли.)

Михаил остановился, снял рюкзак, достал кусок мороженого мяса, килограмма на четыре, внес в барак и положил в миску на столе.

Приятная будет неожиданность Данилычу, пусть сосед радуется.

Три круга дали очень хорошую добычу, и Михаил предвкушал удовольствие, с которым он поразит напарника.

Утром еще он, на ходу, можно сказать, сбросив на полчаса рюкзак, поймал соболька: собаки перехватили рядом с тропой.

Гордые собаки весело бежали впереди по утоптанной тропе, следов тут уже не попадалось — прямой отрезок до зимовья. Но в ельнике возилась подземновская кобыла, а где-то недалеко были подземновские собаки, так что Саян и Байкал свернули в сторону, сначала к кобыле, потом услышали чужих собак и на махах убежали в лес драться.

Покричал на них Михаил, ну да ладно. Догнали хозяина Саян и Байкал уже возле зимовья. Вид у них был хулиганистый.

3

Панфилыч стоял возле зимовья, закутанный и завязанный платками. Он, заметно было, ждал Михаила. Готова была и жратва.

Михаил вывалил мясо-сохатину, вынул соболиные шкурки и остамевшего подстывшего соболька сегодняшнего, раз-

ложил на нарах, белок, лежавших внизу, отнес в сени на полку.

Панфилыч следил за всем этим как-то равнодушно, даже не посмотрел как следует на соболей, а все поглядывал в окно.

Михаил разобрал соболей: пять снятых шкурок были светлые, сегодняшний потемнее был соболек, но сильно кровил и выглядел помято и рвано.

— Помыть надо будет казака!

Панфилыч ничего не сказал, сходил чашку сполоснул в углу за печкой.

Когда Михаил поел, закурил и довольно разлегся на нарах, Панфилыч хмыкнул.

— Кто это приходил? — спросил Михаил без любопытства.

— Вон на столе. Читай, тебя касается.

— В кожанке, что ли? Видел я с сопки, вроде блестит плечами. Думал, думал, что блестит у человека? Наверное, кожанка. Из тарашетских, значит. Сапоги-то новые — в Тарашетском давали всем рыбакам-охотникам. Схимичили где-то сотню пар. Вот это да! Оскорблениев-то!

— Заразный, гад!

— Это по ряшке надо,— весело сказал Михаил.— Вот выйду на круга денька через два, махну к ним. Здорово, мужики, и — сразу по ряшке, Тиунову-то! Я ему дам ишака! Чаю сначала попью, отдохну, чтобы бежать легче, а потом по ряшке дам, и — ходу. Он с ними сейчас, наверное?

Михаил нащупал у себя в волосах катышек смолы и вырезал его ножом с пучком волос вместе и бросил в печку. Настроение у него не испортилось, он снова окинул взглядом добычу и засмеялся:

— На добро вино заработали! Там солярка-то кончилась, светло-коптилофикация закрылась, не забыть надо пару литров оттащить. С лучиной, как первобытный, пушнину драл.

— По ряшке — это он легко отделается. Нет, мы его за горло возьмем. Покажу ему ишаков. Я его с костями есть буду. Акта о передаче тайги мы не видели. Пусть он лежит в конторе, мы ничего не знаем, этот сезон наш. Тайгу передавали — это карта, а пушнина — товар, деньги. Тут тихо, уголовное дело. Пусть-ка возьмут. По ряшке. Он с ошибки начал это дело, ряшкой не расплатится. Записки эти у него теперь как крюк в гузке.

— Длинное дело. По ряшке смазал, и хорошо. Пусть с битой рожей по нашему плашнику и лазит. Обязательно дам по ряшке.

— Не вздумай. Всю мне игру испортишь. Они тебя же и отдуют компанией, и ты же будешь виноватый.

— Ельменева, Панфилыч, никто не бил. Запомни.

— Судом!

— Вам бы прокурором работать или следователем.

— Нельзя. Я бы всех посадил. Один вдоль зоны погуливал бы, сплошной бы лагерь был.

— Всех не посадишь. Меня вот, например, за что?

— Чистых нету, Михаил. Кто хитрее — тот и чище. А чистых нету.

— Ну ладно, пусть так. А вот за что бы меня?

— Нашел бы и на тебя строчку. Ну, вот, ларек перед армией кто разворотил и два ящика коньяку уволок и конфет шоколадных? Я все знаю. Думаешь, Панфилыч не знает? Я все знаю! — Панфилыч радостно засмеялся своей шутке.

— Не-ка! Неправда! — Михаил тоже засмеялся, он лежал на нарах и пускал дым в потолок.

— Не должно быть ошибки.

— Не-ка! Неправда! Я бы сказал, кто это сделал, да ни к чему.

— Все-таки ты там был. Можешь и не доверять, но был. Есть люди, которые покажут.

— Зря, Панфилыч. Угостить меня угощали.

— Во-о-т! Угощали, стало быть? И это годится для дела.

— Парни, которые это делали, в лес оттащили, за линию, закопали, шалашик построили, бегали туда пьянствовать. Все равно в армию надо было идти. Военком дознался, ну, замял это дело — рекрута. Я был сбоку припека. У меня, Панфилыч, сказать не хвалясь, на совести черных пятен нету. Пить — хулиганил маленько, дрался маленько. После армии Пану обижал, это было. А уголовного ничего нету.

— Пану ты зря обижал. Она вся была на виду.

— Глупый был, молодой. Кабы знатье...— Михаил так спокойно говорил, что можно было подумать, будто Пана жива, сидит в Нижнеталдинске и ждет, когда мужик ее вернется из тайги. И голос у него был обычный.

Панфилыч про себя удивился даже, но промолчал. Заполошный парень — сам смеется, а другой коснись до места,

не заржавеет. Пулю в башку можно получить. Крайний человек, по шерсти из него можно веревки вить, а против — лучше не пробовать.

— Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Вот как. Бобыль я теперь, понял? Тиунову-то я по ряшке дам. Как увижу, так — вместо здравствуй! Ни за что ни про что такие оскорбления — ишак. Понял ты? Кто там грешил сначала, Кулик или Тиунов Сережка? — Михаил потянул на себя телогрейку.

— Оба грешили,— сказал Панфилыч. — Ты вот сначала собак накорми. Спать разлягавашся. Сам мясо приташшил, сам и вари. Шеинку положь, люблю шеинку сохатиную.

— Это правильно! — вскочил Михаил. — Я там Подземному кусок занес, на стол бросил в миску. Удивится, однако.

— Ну и ладно. А где его черти носят?

— Не знаю, вижу — приехал, а самого нету. По штабелям, наверное, пошел, дак кобыла его в ельнике.

— Придет — и шарится, шарится. Ково шарится?!

4

А на улице уже было темно.

Михаил развел под треногой костер, нагрел и намешал месиво для собак, поставил студить.

Собаки сели вокруг тазика и ждали команды.

Ельник на правой стороне, к Шунгулешу, потемнел. Смерзшаяся корка подплавленного за день снега проблескивала, отливала сиренью — смешивались синий ночной цвет и опитки жидко-розового заката. Над черными остриями елей вставали звездочки, помаргивали в космической стуже. Там было холоднее, чем голому в тайге.

Удар сунулся в тазик, но его настиг окрик:

— Отзынь! Кому сказал!

Удар отполз. Ельменевские же собаки и не трогались с места — профессора, ученые, дисциплину понимают.

Михаил попробовал рукой месиво и барственно скомандовал:

— Приступай, Саян, Удар, Байкал!

Псы не смели драться у пищи, даже коситься им запрещалось друг на друга — можно было схлопотать пи-

цок. Удар, впрочем, потихоньку поваркивал. Михаил и сам недолюбливал Удара за некоторую нечестность характера, но все-таки справедливости не нарушал.

Михаил вернулся в зимовье и заметил, что продрог. Он сел к печке и вспомнил, что к нему в плашку попалось вчера два поползня. Панфилыч тоже сказал, что у него попало две синицы зараз, а потом уж спросил:

— След хозяйский стрел, нет ли?

— Стрел,— вспомнил Михаил. Он все вспоминал, вспоминал, а тут записки подвернулись тиуновские, медведя-то и забыл. — Здоровый, два ичига становятся!

— Можно завтра пойти.

Михаил закурил. Панфилыч навел густого чаю со сгущенкой. Михаил еще покурил, а потом сказал:

— Митрий вот где? За однем-то двумя конями и вывезти. Интересный медведь. Тяжелый должен быть.

— Если идем, надо спать ложиться, чего торчать-то...

— Спать дак спать, — согласился Михаил.

Он подтянул дверь плотнее, насовал полную печку поленьев и скакнул, как мальчик, на нары.

— Что радикулит покажет... Вроде отпускает, а вроде опять же нет.

По голосу Панфилыча было неясно, пройдет у него утром радикулит или не пройдет. Видно, не решил еще.

Михаил пробурчал как бы про себя:

— Я сбегаю гляну. Вдруг да лег где-нибудь недалеко, на наше счастье.

— Разгибатца буду — поищем, а не буду — пойдешь на круга. Заломат — возись с тобой. Я осяду, кто тебя поташшит? Вот уж спина пройдет если — придется мне еще раз медвежью смерть попытать. Уж сколь я ее пытал.

Панфилыч дунул на лампу. В темноте запахло солляркой.

Печка из угла, разгораясь, кидала отсветы.

Михаил в армии привык закрывать глаза, ложась спать. Мыслей о жене не было, наверное потому, что близко дышал Панфилыч.

Все было ясно-понятно, а жалость скрывалась, пряталась...

Панфилыч ворочался, подкладывал под спину, укутывался; ему все казалось, что где-то снизу поддувает сквозняком, через мышиные ходы-норки.

Глава семнадцатая

РАЗГОВОРЫ НОЧЬЮ II. МЕДВЕДИ И МЕДВЕЖАТА

1

Медвежью смерть Панфилыч уважал, но страху у него перед медведями никогда не было. Вообще мало было на свете таких вещей, которых бы Панфилыч боялся. Нельзя сказать, чтобы он особенно любил добывать медведей раньше, когда медведь не давал такой выгоды, как теперь. Панфилыч предпочел бы поймать трех трудовых соболей, чем рисковать с медведем. В пятидесятом году ведь как вышло — половина сезона накрылась...

Медведь попался злой, хитрющий. После выстрела скрылся в кустах, крови на следу зверя не было, или, может, Панфилыч не поискал как следует кровь сгоряча-то...

Полякова не было тогда на участке, он по кляузным делам выходил на неделю в контору. Мороз стоял сильный, снегу было еще мало, как раз для удобной охоты.

Панфилыч в эти кусты и пошел за медведем, потом и ельничек с колодником начался. Известно, что медведи со зла, бывает, делают засаду на охотника — обходят свой след и ложатся сбоку.

Панфилыч где-нибудь метров через триста взял бы тоже меры предосторожности, но тут думал, что медведь пошел не раненый — крови-то не нашел, — и никак не ожидал засады так скоро.

Метров через сто пятьдесят...

На этих-то ста пятидесяти метрах Панфилыч и бежал изо всех сил: выскочить на чистое и издалека стрелить убегающего медведя. И не успел он рук поднять, как медведь сбил его с ног.

Панфилыч сразу пришел в себя, мгновенно, и увидел, что здоровый медведь в пяти шагах смотрит ему в глаза.

Ружье лежало рядом, и ремень был на локте, запутавшись.

Панфилыч даже не успел сообразить, что зверь ждет

от него только движения. Он потянулся рукой по ремню, стараясь двигать руку незаметно, ползком.

Медведь скакнул, как лошадь, и ударил по руке, потом два-три раза куснул придавленную передней лапой переломанную руку человека.

Кричал ли он или сразу потерял сознание от непереносимой боли — Панфилыч не помнит. Когда он второй раз очнулся, медведя не было.

До зимовья, где стояла лошадь, Панфилыч за один раз добраться не смог, ночевал в летнем балагане, лежа чуть не на головешках на костре. Рука распухла, отзывалась горячими толчками, казалась очень большой, как ни шевельнись, все ее задевает. На другой день поскользнулся и упал прямо на нее, потерял сознание.

Так и брел, белый свет в глазах смеркался.

Лошадь — тогда Майка еще не было, а была кобылка по имени Саранча — стояла голодная. Правой рукой и зубами запряг лошадь, забрал пушнину, завалился в санки, а было это, на счастье, в князевских избушках, где они тогда охотились с Поляковым, там и дорожка пролегала санная.

Так он и вез себя вместо двухсот килограммов парного медвежьего мяса.

Коня понужал жердиной, лежа; рука горела, пальцы же, когда он разматывал руку посмотреть, были белые, желтовато-прокуренные.

Одна была мысль: а ну как падет Саранча?! А с чего бы ей пасть?

Приехал живой, свалился прямо возле больницы, его без очереди к врачу пустили, потом забегали, заохали. Уж потом и Марковна прилетела — кто-то сбегал, сказал.

Поляков прибежал:

— Чо же ты, Петра, рыскуешь?

2

Рисковать Петр Панфилыч Ухалов умел! Кругловатый, неуклюжий на первый взгляд человек. Спрятанные глазки, толстоватые щеки, коротковатые руки и ноги, но только сверкнут глаза, только пальцы нетерпеливо шевельнутся — будто пробегут, — ого! Здесь риску много, в этих глазах, некрасивого, неброского, но выверенного — молни-

еносного грубого риска, удачливого, опасного! Так нельзя себе представить в перевалистой походке медведя способности к тем двадцати смертельным прыжкам, которыми догоняет он рванувшегося во весь опор самой природой предназначенного к бегу длинноногого лося; той ловкости, с которой, избегая острых рогов, ломает медведь гордую, сильную его шею.

3

Вот Махнов-старый тоже был на войне, и не сказать что слабый человек, но в одно и то же время рядом с нахальной смелостью психа в нем — истерика, бабья распущенность какая-то рядом с ловкостью, вялость рядом с выносливостью.

Вот теперь сменивши четырех жен, накопивши денег, растерявши сыновей, ставших врагами ему, гордясь своей удачливостью в тайге, своей славой первого охотника, а и то по пьянке заплачет, как вспомнит войну, плен, как били его конвойные и заставили съесть таз яблочного повидла.

Махнов случайно оказался в складе; увидел повидло, кинулся — голодный же,— тут и поймали его за этим делом. Долго били Махнова немцы. Весело развлекались, а потом под автоматом заставили съесть таз этого повидла.

Он как вспомнит теперь, аж корчит его всего, ногтями бы изорвал, деснами бы зажевал, гадов! Ан нет! Да еще за этот же плен пострадал потом от своих.

Он бы учителем был, как до войны, но ушел в тайгу от людей.

Панфилыч смотрит на Махнова сверху вниз, хоть и славы у него махновской охотничьей нету.

А почему?

Потому что он сам немцев-то бил, как косулей. Махнов же после плена и не видал их в глаза, а что воевал до этого, не считается — не отомстил!

Панфилыч иногда рассказывает о войне. Чаще о том, как в него стреляли, да не убили, бомбили, да недобомбили, как сам убивал — реже. Раз подфартило, уложил трех немцев из шедшей в контратаку цепи. Батальон был прижат минометным и артиллерийским огнем. Ухалов как лежал лицом в снег, так и лежал, только подтряхивало; поднял голову, когда огонь передвинулся назад, а их, снарядами и минами недобитых, шли добивать контр-

атакой. Бывший батальон отвечал огнем одного пулемета, и показалось Ухалову — да почти так и было,— что, кроме одного этого пулемета да его самого, больше никого от батальона не осталось.

Сзади землю дергало взрывами, да и не добежишь до леса — пехота немецкая идет из кустиков, застрелят сразу.

За кустиками мелькали немцы, много, но прямо на Панфилыча шли три сгорбленные фигуры, падавшие время от времени. Они огибали болото, чтобы не попасть под пулемет.

Ухалов подпустил их на хороший выстрел и убил,— сначала одного, потом второго. Третий упал в снег и стрелял в сторону Панфилыча дуром из автомата. Ухалов, лежа на боку за кочкой, вставил в винтовку два патрона, и стал ждать, пропадать было все равно — много немцев, где пулемет работал, опять мины стали рваться.

Третий из шедших на него немцев чернел в снегу, плохо ему было возле убитых товарищей. А Панфилычу и еще хуже: стреляют вразброд с нашей стороны, кто остался, да где-то далеко, рядом никого нету. Пулемет молчит.

И тут из-за леса выстрелы пушечные. Оглянулся Панфилыч, а из-за леса — откуда была произведена наша атака до этого — появились два танка, идут по гривке, по кустикам, тоже огибают и вбок время от времени бахают.

Были, наверное, и другие танки, но Панфилыч не видел.

Немцы по всему болоту стали откатываться в свои кустики, а который лежал против Ухалова, боялся встать — видел, что Ухалов сделал с двумя его товарищами. Но наши танки уже обогнули болото гривкой, уже стреляли по кустам, и немец вскочил и побежал, вспахивая снег. Он петлял, падал, запинался за кочки, потом поднял руки и встал. Деваться ему было некуда. Выцелил Ухалов в голову, лицо видно было. Немец завертелся в снегу. А не ходи в чужие тайги, на фиг потом руки поднимать.

4

Или взять трофейную часть. Таковой у жадного скопидома Ухалова не было вовсе. Были часы золотые — раз, второе — шерстяное одеяло. Из-за одеяла он и не просту-

дился ни разу от самой Польши. Так что зря посмеивались над ним в магазине товарищи, ничего смешного в этом одеяле вовсе не было, одна только чистая шерсть толстая, и веса в нем мало. С грузом же трофеев идти до глупого глупо, не зная, что ждет тебя впереди.

С умом воевал Ухалов.

Как-то винтовки получали. Кто выбирал — чтобы ложа неоцарапанная, кто — чтобы воронение без пятен, кто номер счастливый, а Панфилыч зажал патрон в кулаке и пулей дула проверяет, сует, по рядам ходит. Посмеялись над ним: дескать, девочку ищешь?

«Девочку».

Потом он из этой «девочки» всем на удивление стрелял копытных в европейских лесах, где ему удалось побывать, на мясо.

Легче жилось на войне, если вспомнить, забот было меньше, живым остаться — одна забота.

Жить же, накопляя деньги, труднее, хлопотнее. Трофей — Панфилыч легко понимал — вещь дешевая, убьют — и нету тебя, и трофей тебе не надо. А вот до такого понимания жизни мирной не дошел, как будто умирать в ней не предстояло. Он знает, что про него по этому поводу говорят: «Ухалов-то? Богатый Ухалов, да у него и вся-то жизнь в деньги ушла...»

И все же!

5

Спина у Панфилыча успокоилась, и на рассвете, по темноте, побрав с собой собак, охотники своей обычной тропой поднялись сначала на перевал и по трем вершинам, по целику, обрезали медвежий след.

Выхода на перевал у медведя не было. Медведь мог еще низом пройти, вдоль Шунгулеша, и перебраться через реку на другую сторону.

Панфилыч взял собак и пошел с ними по следу, а Миша должен был сбегать вниз — посмотреть, нет ли там перехода через реку, и, если перехода нет, вернуться к напарнику на след.

Михаил сбегал, проверил.

Ну медведь, конечно, не свинья, и такую хорошую тайгу, как у Миши и Панфилыча, не бросит. Михаил и не ходил далеко по реке.

Нашел он Панфилыча сразу, тот сидел на валежнике, а собаки были привязаны на веревочках.

— Нету, однако, выхода. Похоже на то, что в нашей тайге лег, где-то тут. — Михаил сбросил на снег шапку и рукавицы, пар от него шел столбом, отвязал лыжи и сел рядом с Панфилычем на валежину.

— Шапку-то хоть одень, простудишься.

Напарники долго отдыхали, и Миша начал торопиться и торопить Панфилыча искать берлогу. Панфилыч усмехнулся тогда и сказал:

— Тут он. Эвон, набродил по сопке. Там и лег.

— Да вы что же, берлог нашли, что ли? Да не может быть! Чо же молчите! От те на! Я думаю, что он собак попривязывал. И молчит сидит, и молчит! Но, зараза!

— Нашел да нашел. Так ить ночь уже. Вот и думаю-решаю, если взад-назад сходим, ноги вытянем, ночевать здесь морозно.

Из распадка километров десять было только до тропы, да по тропе еще идти, да ведь и к тропе — не по лыжне, по целине!

— Это вы решайте, Панфилыч. Как скажете, так и сделаем. Мне едино, что в лоб, что по лбу. Устали — ночуем, сейчас соорудю, живой — побежим дак...

Михаил уже чувствовал под лопатками холодок мандража. Медведь — это медведь, пять минут делов — полгода в больнице.

— Но пойдем. Спина, однако, дороже ног.

Михаил был очень доволен стариком. Он с удовольствием шел впереди, справедливо оставляя более слабому напарнику готовую лыжню. По тропе они пошли ходче, но все равно было уже темно, когда внизу под сопкой испуганно заржал, услышав охотников, Маек.

Низко кланяясь от дымного жара, расходившегося под черным потолком зимовья, Панфилыч макал в чай кусок рафинада размером с грушу, отгрызал намокший, ослабший угол крепкими зубами.

Михаил, напившись чаю без сахару — иначе вкус не разберешь и не напьешься, — лежал на боку, вытянув босые ноги к печке.

За печкой на стене парили портянки, куртки, штаны, ичиги.

— На всех хватит, — улыбается Михаил.

Разговор идет о тарашетцах-горлопанах.

— Вот так и говорили, которы теперь голым задом на

морозе. А ты наживал, чтобы раскидываться? Эх, охламоны!

— Сотня плашек, ково там, ерунду буровите, мы и не почувствуем.

— Дурак ты, Михаил. У тебя под боком ловить будут. Из-за чего я за эту тайгу держался? Она вроде улова, сюда все стекается с каких площадей агромадных! Она вроде горлышка у бутылки, понимаешь, нет? А теперь с собаками будут шариться, плашник ихний по нашей границе стоять будет. Эхма! Куда только у тебя мысли повернуты? Не жалко ему. Ихняя тайга была у нас — как мешок, мимо нас ни одна зверь не ходила из нее. А теперь они и своих зверей поймают, и наших, если наши пойдут туда, к Шунгулешу.

— Тут ее и с той-то стороны вон сколько, аж до Предела, и за Пределом не пусто. Чего мелочиться? Много ли надо для жизни? Всех зверей не поймаешь, всех денег не заработаешь.

— Мне эта тайга просто так досталась? Как путешественнику? Сколь мы с Поляковым тягались!

— Она до Полякова князевская была, — резко сказал Михаил.

6

Панфилыч замолчал, сахар положил в кружку.

Айсберг намок, раскис.

— С Князя началась моя охота. Я с ним сезон отходил, учился соболя понимать. Наградил меня Кирша, что правда — то правда. Всю семью одел, обул. Мать-старуха на руках, тесть с тещей доживали, царство им, как говорится, небесное. Тайги у Князя было как моря. Тут меня в пекарню взяли. Сам понимаешь, продуктовая работа — свиней стал откармливать, то да се. А я уже соболей понимал и белочил, но оставил тайгу. Зиму прожил на пекарне, лето. Вижу — воровать надо, не проживешь. Годы тяжелые были. Мука, сам знаешь, сколь за нее дадут. Тут Поляков ко мне и подсыпается: давай вместе охотиться собой. Он хорошо жил, Поляков-то, собака. Предлагает в пай мотоцикл.

Куда деваться, думал я, думал...

Князь-то, правда, обиделся на меня, что я его бросил, а мне тяжело было еще ходить-то сильно, привычки еще не было, ранения открывались. А тут богатый мужик в

напарники набивается. Ладно, согласился: Поляков, мол, покупай лошадь, если охотиться, мотоцикл нам пока что ни к чему. Ну, он понял и лошадь купил, и мотоцикл предоставил. Не прогадал. Он же меня на мясную охоту звал-сманывал; на плашник свой, конечно, не позовет, дурак он, што ли! Это вот тебя я взял — дак я разве такой человек, а? Ну вот то-то, а люди скажут... Люди скажут, а что люди знают? Известно, что про меня говорят.

Я по копытным и по медведю смолоду был удачный, но тут ходить не мог, мясо таскать не мог, а с мотоциклом — рай небесный. Начинаем мы козовать по полям-перелескам возле Талды, прямо между деревнями. У Полякова вся документация налажена, без задержки, бьем-сдаем! Он в конторе вертится-оборачивается. Мы и сдавали, и сами ели, половину чистым весом продавали, одну козу запишем — пять убьем. Тогда мясо против теперешнего много важнее было, ни крупы там, ни тушенок никаких. Голод, в общем. Болтушку еще сколь хлебали. Вот мы и встали у самого выгодного дела. Он на мотоцикле туда-сюда, я по мелкосопочнику хожу, по полям, где подъехать можно, постреливаю. Он приезжает, перевезет меня на другое место, мясо заберет. Коз найдем, пока он возит мясо, я стадо выхлещу. Повоевали до зимы, ему в тайгу надо, а я опять не у дел. Ондатру половил маленько, тьфу, ничего не стоила. Если бы на нее такая цена как теперь — ох и денег было бы! Тыщами сдавали... ондатроловы которые.

— Коз раньше много было.

— Не то слово, как грязи! Но в тридцать шестом, не забуду. Поехал я к немцу сани отдавать. Немец у нас в соседней деревне свой был, ну, наш, крестьянин, но немец натуральный, урожденный. Поехал, как сейчас помню, утром. Сани у него брал большие, на подвозе зарабатывал. Поехал это, винтовку взял, правда. Тогда строгости начались страшенные с оружием. Запрятал в сено, в ноги, думаю — на обратном пути перелесками верхом поеду, никто не увидит, козенку зашибить. Еду, не гляжу. Вроде козенки дорогу перелетели. Дай, думаю, проверю. Пошел за ними. Они в кустиках пасутся. Стрелил. Они стоят, одна упала. Еще стрелил, еще одна упала. Остальные девять на махах пошли. Хорошо, думаю, вот и с мясом. Оттащил парочку эту в сани, с дороги лошадь свел, за кустами посвежевал. Глянул — что за волшебство: те же девять штук обратно идут по-над краем. Далеко, а сошек я не

взял. Стрелил наудачу, одна кувырнулась, остальные встали. Стрелил — еще упала. Четыре, стало быть. Ну, теперь, думаю, уйдут. А они круг дали — опять вернулись! Все одиннадцать взял, до одной! Они по кустам как потерянные ходили, пока я их не выхлестал. Стреляю и думаю себе: сошки надо быстренько сладить, только за топор — они опять появляются, круг дадут. Стаскал я их в сани, глазам не верю. Дай, думаю, посмотрю, что за приточа такая? А они, оказывается, от тетеревей!

— Как это?

— Тетерева в снегу по всем кустам лежали, сотни две!

— Я уж столь тетеревов и не видал.

— А то и поболе! Видно, как в снегу лежали. Что твое минное поле! Как дернут из-под снега, козы и повернут на меня! Я тетеревей-то видел — разлетаются, но не подумал, что они мне коз держат. Ну, досидел я до ночи в кустах, печенку жевал, потемну домой вернулся. Мои все ужахнулись, как я коз начал в амбар кидать. Утром сани отвез, уж винтовку с собой не брал — от греха. Во сколь козы было. Я счастливый на копытных, ты ведь знаешь...

— Что не отнимешь — то не отнимешь.

— Вот бригадой пошли по плану мясо выполнять. Кинули нам лицензии — это уж не так давно было,— выручайте, мол, мужики. Недалеко ушли, за Талдой в сопки. Заночевали в избушке, давай сговариваться, кто как пойдет и с кем, чтобы не постреляться. Ну, крик, гам, каждый свое успоряет: тот хорошо места знает, а другой и еще лучше! Я говорю: один, мол, пойду, ну вас всех. Я плохо еще ходил — раз, второе — веры нету: как много народу с ружьями, берегчись надо, пуля — дура. Поляков с нами был. Говорит: пускай, мол, Петро один идет, у него, мол, удача такая. Пошел я по кромкам — они больше по кромкам лежат. Вижу — встали сохатые. Если, думаю, они меня поняли, уйдут, и далеко уйдут — я за ними не ухромаю. Стрелять надо. Стрелил. Подошел — бык, повернуть невозможно. Кое-как кишки повытаскивал сбоку, замучился. Черный такой сохач. Пошел дальше — изюбря стрелил через падь — на восток. Подошел — десятерик, десять отростей на рогах. Повытаскивал из него кишки. Пошел дальше, на юг поворачиваю, склоном иду, ветер удобный. Снега было четверти полторы — ноябрь месяц. Смотрю, вроде мои знакомые сохатые выходят наверху. Трах, трах, трах! Трех и положил. Один все ж таки вста-

ет — плохо я ему попал — и пошел. Отпалил я по подранку, свалить-то свалил последним патроном, а патронов больше нету! Искал, искал, все карманы обшарил, стою голый, с пустым ружьем. Прихожу это в избушку, голову повесил, говорю: так и так, мол, патронов нету. «Стрелок, мол! Ну, стрелок!» — мужики-то на меня. Стал разуваться, и что ты думаешь? Патрон-то из портянки выкатыватца! Ах, чтоб ты пропал! Я его за голяшку потерял! Спать ложимся, опять сговариваются: ты так пойдешь, я так, от тебя пойдет на меня, от меня на тебя, ветер так! Я молчу, смеюсь про себя. Потом, уж полегли, я говорю: ладно, мол, поспать завтра разрешаю. Как так? Отпромышляли, мол. Брось! Чего бросать, план я ваш выполнил на сто пятьдесят процентов, теперь вывозить надо, лошадей берите, показывать буду, что где лежит. Что ж ты, мол, печенки-то не принес? А посмеяться над вами хотел — охотнички! Поляков послушал — знает меня — правду, мол, говорит Петро. Характер у него такой, посмеяться любит. Молодой-то я тоже был веселый...

— Рукам сделано!

— Во, Поляков-то, видя мою удачу, говорит: пойдем, мол, говорит Петро. Характер у него такой, посмеяться приглашал, а в князевскую, вот в эту нашу! Приходим к Князеву. Много, мол, тайги у тебя, Князь. Нам бы маленько уступил. Ладно, говорит, Князь-то. Видит, конечно, волки те еще пришли. Тайги у меня много, говорит, берите, только по-честному. За плашник и за две избушки просит с нас три тысячи. Я молодой был еще — деньги шевелились после зверовой охоты — за карман, замашки-то фронтовые. Поляков на меня цыкнул. Нет, мол, у нас бумага, давай даром, пожалеешь. Князь, понятно, затресся. Пугать, меня, Князя!

На меня тогда Князь-то посмотрел! Глаза — как зимняя вода. Истинно, Миша, вот моя вина. Он же меня из пролуби вытащил, а я отдышался — и его же беру за горло. Эх-ха-ха! Никогда не делай так, Миша, счастья не будет. Век я этого Полякову не простил, что он так дело повел. Ну и за Поляковым, конечно, правда. Всем хорошо тоже не бывает и не будет. Кто сгребет, тот и уведет, как говорится. Верно — нет? А, Михаил?

Панфилыч тихонько посмеялся над слабохарактерным молодым напарником. Михаил же промолчал и затянулся густым дымом.

— На Шамановском доживает, живой ли, умер ли...

Поляков сразу второй дом построил, старшей дочери, Таисии, — сказал Панфилыч.

— Вы же ему и строили дом-то, — напомнил Михаил, чтобы дать почувствовать, что слушает старика.

— Я же построил, а он меня же и обманул. Но ему тоже расчет пришел. Митрий мне помогал, мы тогда с Митрием наладились собой охотиться.

— Ну, Поляков — понятно, а чо вы с братом-то не поделили, ясное море?

— Несамостоятельный человек. Одни бабы в голове.

— Брат зато.

— Поляков-то меня чуть не положил. Тоже вот так, с медведем. Медведь у нас здесь ходил. Мы заехали, помню, сено подкосить, плашник разнести. Это где болото, возле той избушки. Там у нас солонец был еще, бросил я его потом, далеко выдергивать мясо.

— Там и сейчас зверь бывает. Теленка-то я там стрел.

— Вот, на солонцах дело было. Медведь ночью набродил. Слышали мы его. А кобыла у нас была ходучая. Утром я пошел за кобылой, Саранча была. Я ведь за все в ответе перед Поляковым: дрова, кормежка, чашки, ложки. Кобыла ушла — опять же я виноват. А Поляков говорит: по следу посмотрю, куда медведь пошел. Где-нибудь поближе в россыпя если, можно и добыть скрадом. Кобыла зашла в край болота, в кустики. От мошки легла в голубичник и давай кататься. За то, что ходучая, я ей узду к путам привязывал. Каталась она каталась, да так закрутилась, встать не может. Лежит, волчья сыть! Давай я ее распутывать. Дергается, Мошки же было много, я был в сетке коричневой, гимнастерка у меня была старая, немецкая, коричневая тоже, суконная. А он-то шел медвежьим следом, и видится ему: на болоте медведь кобылу дерзает! Он трусливый был, Поляков. Побоялся сблизи, давай подале отходить, где здоровый лес. Не будь трус — конец бы мне, и все. Резнул бы он меня, и вся недолга. Заскочил он за листвяжку, а я услышал как-то. Обернулся, а он целит меня наместо зверя, стрелять будет! Я его спрашиваю: «Ты чего же это мудришь там, а? Чего же ты, сука, мудришь? В кого же ты, спрашиваю, целисся?» Помертвел мой Поляков, ружье из рук выпустил. «Ах, говорю, подлец ты, подлец, а?»

— Видно еще не смерть.

— Мы с ним много медведя добывали, каждый сезон, считай. Но он трус правильный, надо сказать. Я ведь ему

жизнь спас. Вот он теперь враг мой, а спасал его. С медведем надо на пару. С напарником, чтобы, значит, спевшись. Знаешь если, что напарник не подведет. Правильно я говорю?

— Иначе лучше не ходить.

— Вот ты молодой, а смелый. Всем я говорю, мол, Миша Ельменев молодой, а смелый!

— Завтра посмотрим. Смелый. Как рыкнет, так не знай, что со мной сделается. Я их каждый раз боюсь.

— Я, думаешь, не боюсь? Каждый смерти боится. Я их всю жизнь боюсь и всю жизнь бью. Вот если страха человек не превозмогнет, вот с ним тогда не знай что и происходит. Рассудка нет, а что-то совсем другое вместо человека делается. Будто и не человек совсем. Над Поляковым-то я посмеялся.

— Круг-то сосны?

— Но, но! На Старых берлогах было. Там завсегда медведи ложатся. Вот где мы обрезали сегодня, в этих-то вершинках, там и нашли берлог. Сосна, а возле нее колода. Число-то помню, двадцать второе октября, а год забыл. Собаки лают. Подходим — берлог. Он копал, медведь-то, под колоду, а из-под колоды под сосну. Большая нора, корни ему, видно, помешали, и он сделал поворот. Я говорю: руби, мол, затычь. Он боится. Карабин, знаю, доверять ему нельзя. Даю ему тозовку с четырьмя патронами. Сам возле дыры стал. Ну, говорю, стреляй в щель под ногами, авось достанешь, а я его ударю под тобой прямо. Стрелил он раз, стрелил другой, потом как фыкнет пыль оттуда! Проверили когда — обе пульки застряли в ем, близко лежал, об кости расплющились. Она выскочила да за Поляковым! Промазал я сразу же. Он круг сосны. Она обратно, ему встречь. Он к другой сосне, с топором, тозовку бросил. Передернул я, в лопатку. Вот что собаки делали, окромя как он за них запинался, не помню. Мелькануло в глазах. Он стоит, белый, слова сказать не может. Обмочился! Вот тебе и возрастной мужик, и охотник тоже!.. Осень затяжная была, белка еще не спелая, зеленая была в ту осень. Тепло-о!

— А медвежата у вас были, помните? Я на машине еще работал тогда.

— Были. Если завтра медведица меня задавит, знать буду, что за них. Медвежий год был. Когда возле конюшни-то лег, помнишь? Ну дак вот, медведицу ту мы убили на покосе на глазах прямо у колхозников. Взял я двух

медвежат, большенькие уже. Директор говорит: хорошо, мол, тебе за них заплотят, из звероцентра приедут, ты корми. Ну, докормил я их до осени, зооцентровские не едут! Жрут же они дай бог, трех поросят цельных можно бы выкормить. Смотрю, как они добро мое харчат, зло берет. Сначала-то у меня собаки их хотели задавить. Жулик был, зверовой кобель, не хуже твоего Алтая. Отдул я Жулика, можно сказать, изуродовал цепочкой за медвежонка, чтобы, значит, не трогал. Он и обиделся.

— Обиделся?

— Но! Обиделся, не глядит. Медвежонок цепку открутил и ушел в лес. Жулик даже не пошевелился. Назло, мол, тебе, Панфилыч. Один, значит, остался медвежонок. Злой был. Шел я вечером как-то мимо стайки и забыл по пьяному уму, что там медвежонок-то у меня. Он и выскочи! С ног сбил меня, коленку искусал, костюм хороший порвал. Рассердился я на него по-страшному, за ножом сбегал. Жулика отвязал, сел на чурбачок и уськаю, уськаю. Жулик посмотрел, посмотрел, делать нечего, ну службу справлять, задавил медвежонка. На меня тоже азарт напал, помогаю прирезать. Так мы, значит, с Жуликом в стайке и поохотились. Жена выбежала, ругается, Калерочка на крыльцо выползла, тоже плачет. Визг бабий стоит, а мы охотимся, а мы геройствуем с Жуликом!

Жулик их совсем не боялся, дак и разорвал его медведь. Проходной был, не какой-нибудь сонный из берлоги. Весь требух его на лапу взял. Вот, значит, судьба у него такая, у Жулика.

7

— Медведь-то ушел? — спросил после долгого молчания Михаил.

— Какой медведь? — опомнился Панфилыч, углубившийся по колее воспоминаний в длинную жизнь и заплутавшийся там.

— Жулика-то порвал.

— Тот-то? Ушел... Жарко что-то.

— У меня вчера зуб кольнуло, ну, думаю, на стенку полезу, а он раз — и замолк, зараза!

— Жарко, говорю, дверь открой.

— Пожалуйста! — Михаил босиком добежал до двери и толкнул ее ногой. — Однако снег будет? — сказал он, подышав на пороге морозным воздухом.

— Теперь пусть идет, знаем, где он лежит. Двери-то закрывай! — недовольно пробурчал Панфилыч, ему поддуло, и он опять осердился.

Он все снова и снова возвращался мыслями в прожитую жизнь, шел там от главы к главе: как вернулся с фронта, как работал в пекарне, как родилась Калерочка, как охотился с Киршей Князевым, как продал Князева, как потом с Поляковым...

Все-то ему вспомнилось худыми сторонами, потери и убытки вспомнились, а хорошего ничего не припомнилось.

Вспомнилась война, что-то было в эти четыре года, кроме страданий вокруг, кроме страха. Было. Другому бы хватило гордости и достоинства на две жизни, а как-то испохабилось, изогнулось, ушло куда-то вбок, сам собой перекис, как, бывает, вино, незаткнутое, в тепле превращается в уксус. Всего добился, чего хотел, а не радуется, только считает, считает.

Досчитать бы до той точки, где радоваться, а нету точки.

— Что же, война есть война! — сам себе вдруг сказал Панфилыч. — Четыре года в квартире не ночевал, вот как!

— Теперь больше не с кем воевать, — откликнулся Михаил и выключил транзистор,— всех повоевали.

— Как это не с кем? Найдутся. Говорят, в книжках написано, как двадцать пять лет проживут люди, непременно война получается.

— Сейчас не полезут, кнопочки боятся.

— Все боятся. А вот лежали мы в карантине в казарме и ждали, чтобы на фронт скорее. Лежим, гадаем, какой паек выпишут, на пять дней — на восток, японцев караулить, на десять дней — на запад. Прибегает этот, фамилию уже забыл, кричит: «На фронт, ребяты!» Повскакали, а уж паек дают, пошамали, и на фронт.

— Ну, а куда лучше хотелось?

— Даже не помню. Вообще-то записывались мы, подавали бумагу. Я на фронт просился. Чем сидеть, ждать да догонять — хуже нету. Тут уж, знаешь, всенародное дело. Отец говорил еще: или, мол, грудь в крестах, или голова в кустах. От дизентерии-то лучше, что ли, помереть? А там, махнувши рукой, душа не болит, что там да как там. Ну и молодой был, здоровый, вспомню, дак... Подходим, помню, под Москву. Полушубки у нас новенькие,

отъелись, морды красные. Как песню дадим, ну все сразу: «О, паря, сибиряки идут! Вот уж эти сделают немца!» Правда, смотрели на нас все, сибиряки, мол, сибиряки! Ни курить у них, ни жрать нечего. Семером одно бревно волокут, отощали. Часть какая-то была, оборону строили. Мы им говорим: чо, мол, вы, ребяты, на нас так смотрите, те же русские люди! Не-е, говорят, вы сибиряки, у вас медведи по домам ходят! Потеха. Табак весь поразобрали. Мы им хотели бревна перетаскать, команда — отставить! Я бы один такое бревно шутя понес, а они всемером. Доходяги, жалко смотреть.

«Вставай, страна огромная!» — пошли.

Ужас это, когда тысяча человек идет сразу. Ну, кажется, давай кого хочешь — разорвем.

Вот ты заметь, по окопам, по землянкам, в люльке крючком спал, как последняя собака! Ну, в общем сказать, любые трудности, а на душе спокой!

— Вполне понимаю, — встрепенулся Михаил, — вот уж верно, воистину так! Это и на охоте так. Дома чего-нибудь напартачишь, накеросинишь, ну, думаешь, скорее в тайгу бы! Ну, не дай господь, не равняю, война там — и тайга.

— Подхоже. Встречали нас знаешь как? Плачут люди, родные, мол! А мы в валенках по грязи. Развезло, ростепель, скверная у них зима, надо сказать. Дож в январе! Это же что такое, на западе-то! Я примеривался, как у нас, валенки приберег. Ну, смеются надо мной.

— Климат другой. На востоке тоже, с океана как принесет среди зимы. Чирии у всех, кто из Сибири.

— Все я на войне сберег, только зад не сберег. С лейтенантом ехали, заблудились. Он велит — туда, я смущаюсь. Туда, сюда, мостичек! Первую-то пулю я услышал. Чик! Понял, что на засаду налетели. Мостик-то охранялся, а у нас догадочки нет, премся с ним. По мотоциклу чакнуло, я разворачиваюсь, на уход. Вторая тут мне и угадала повыше ляжки. Будто хребет перебило, я — раз, и вывалился из мотоцикла. Потом вижу, лейтенант-то мой плашмя лежит в кювете, головой крутит. Мы уже за кусточком, откатились. А они наобум лазаря поливают нас, как зайцев. Потом снова очнулся, смотрю, лейтенант меня в люльку запихивает, а у меня сапог будто болтается, ногу не чую. Лейтенант на мое место да по кювету, по кювету, мышом! Плохо немцы стреляют. Люльку всю избили, колеса повредили, а так все целое. Если бы я с

ихнего места стрелял, метра бы не проехали. Это, значит, первое ранение.

— Молодец лейтенант.

— Сам погибай, товарища выручай, а как же. После я его не видел, попал в другую роту, тоже на мотоцикл. Вот там-то меня ранило осколками. На Висле уже. Полетели с самолета бомбы. Испугался чего-то, очумел. Все бегут; блиндаж как до поленницы, мотоцикл я бросил на дороге, кинулся в блиндаж, там места-то много еще было, вся наша команда попряталась. Сунулся я закрымши глаза. А тут, как на грех, Кочкарев, со мной ехал, вперед успел. Сам-то толстоватый такой мужик, автомат еще наперекосяк, во входе застрял. Я его тяну назад, чтобы повернулся, значит, боком и проскочил. А он ревет, в окосячку вцепился, ногам лягается, не дается. Тут-то меня и ударило! Кочкарев рядом падает. Значит, вот где шапка, сразу под шапку место вырвано из черепа, готов. Вот как бывало. Если бы он пролез, я бы как раз на его месте был, может, в мою-то голову и прилетел бы осколок. Точно с меня росту, ну, только в корпусе потолще был.

Месяц и двенадцать дней отлежал я на грани смерти. Потом еще три месяца в госпитале ошивался. В госпитале хорошо, ходячий же! Но, соображаю, как бы в свою часть обратно изловчиться. Давай к врачам ходить, надоедать. Так и убежал, все бросил, что в тумбочке было. Еду на попутной, вижу — глазам не верю — из нашей части ребята загорают! Я говорю: пусти, друг, сходить мне. Радый! Выскочил я к ним! Те все рады! А у них семь мотоциклов трофейных — все битые. Из семи собрали один. По двору катается. Потеряли нас в этом местечке, питания нету. Пошел я в лес, свинью убил. Позвал наших, притащили. Живем, лучше не надо, второй мотоцикл нашли в яме, сеном заваленный, реквизировали. Потом пришла за нами машина, отправились мы в часть. Старшина мне одежду выдал, все нормально, будто и в госпиталь не попадал.

Панфилыч медленно потянулся за папиросой, разобрало старика, если уж закурил. По временам он бросал взгляд на Михаила, но тот слушал и верил каждому слову. Кое-что и тут Панфилыч утаивает и путает, было у него нечисто и на войне, но и тогда и теперь он полагался на то, что война спишет все, война все и списала. Да и Михаилу ли судить старого солдата, какими мерками?

— Осколки выходили еще и после войны. Как открывается рана, так перекомиссия, вторую группу дают. Говорят: пошлем вас на какую-нибудь специализацию. Портным, например, хотите? В общем, предлагают с ножом к горлу, хочешь пенсию получать — тридцать рублей, — езжай учись. Или пенсию долой. А куда я поеду? У меня дом, семья голодная. Думали, думали с Марковной. Не поеду, шабаш.

Михаил как почувствовал, что снег пошел. Он натянул ичиги на босу ногу и вышел на улицу. Действительно, шел ровный медленный вялый снег.

— Эх, забрали бы все снега в город, а нам бы каждое утро пеленовочку. Сказал, что снег будет, так и есть!

— Подбрось-ка, что-то холодно.

Михаил быстро раскочегарил печку.

— Дак вы все время на мотоцикле, и на войне и дома, сколь знаю.

— Третий донашиваю. С год немеханизированный действовал, только по большой нужде с мотоцикла слезал.

— Мы хотели покупать, да Пана не велела. Боялась, что убьюсь. Теперь и не буду, раз она не хотела. Чтоб она там не беспокоилась.

Лицо у Михаила, склонившегося над раскаленной печкой, было даже веселое, не видно было, чтобы переживания какие-то тяжелые. Просто думает, мучается разгадать тайну. Разгадает и успокоится.

— Дурак и пешком убьется, а умный и на мотоцикле до пенсии доживет. До завтрака слетаю на мотике — ведерко грибов соберу. Правильно?

8

— Есть, наверное, что-нибудь такое. Ну, не душа, может, а что-нибудь материальное, а? Что-то же остается?

Михаил лег на нары. Было какое-то беспокойство, исходило оно от завтрашнего медведя, а ударяло в прошедшую жизнь, засвечивались какие-то позабытые мелочи. Грустно и светло вспоминалось, и он молчал, молчал, молчал до тех пор, пока горестное наслаждение становилось нестерпимым. Оборачивался на огонь, и слезы, не успев

подступить, остывали. Тогда он видел сгорбившегося в углу Панфилыча.

Жалко становилось Михаилу старика.

Панфилыч время от времени проговаривал свои воспоминания, потом они опять уходили с его внутренним голосом из зимовья, и Михаил их не слышал.

Панфилыч сам замечал, что теперь все прошлое видится в изменившемся свете, но не понимал, что в прошлом вины не было за это, а сам он изменился. Самые счастливые события прошедшей жизни теперь отбрасывали заметные тени, которых раньше не было. Ну вот, не счастье ли?

В разведке боем участвовало одиннадцать человек. Они завязали бой, захватили штабное знамя и гитлеровцев, всю ночь и утро двигались, вечер и ночь вели бой и ночью вышли из боя целые и невредимые! Все одиннадцать человек! Счастье? А теперь Панфилыч вспоминает, что Героя-то дали сержанту Сереге Варламову! А он ведь в лодку боялся сесть, реку форсировали. Сейчас Панфилыч не помнит подробностей, но уверен, что Варламов получил Героя за то, что его в лицо знал генерал. Варламов возил генерала целый месяц. Конечно, за это и получил Варламов. Ведь никто же не видел, как Варламов в лодку боялся сесть, за камыш хватался, пока его веслом в спину. Теперь Герой! Герой!

Сейчас вспоминалось это с горечью какой-то, забылось, что счастье жизни вытянуло из смертельной лотереи. А тогда обмывали, праздновали! Орден ведь есть за это!

Второй орден за городок в Польше. Задача была взять переправу, это как раз за неделю до ранения. Было два танка, пять мотоциклов, одна бронемашина. Командовал старший лейтенант Озеров. При первой ракете Ухалов полил часовых из пулемета и выбрался из огорода. Закрутилось! Рванули через переправу, не успели разобраться, что к чему, а уже танки в центре города бухают. Бешеный был старший лейтенант. Не стали располагаться у переправы, дальше за ними. Мотоциклы по уличкам разбежались, на площадь выскочили, позападали с пулеметами. Один танк задом в магазин въехал, пушкой водит; как даст — углы у домов валятся. Немцы где-то стреляли, а весь центр уже занят. Горело где-то за домами.

Лежали, ждали.

До рассвета ждали, вдруг немцы танки подгонят,

контратаку какую-нибудь. А на рассвете наша часть входит. Вот в этот момент, когда ясно стало, Панфилыч помнит, показалось ему, что прямо по рассвету этому, через всю Польшу, распугивая немцев, за старшим лейтенантом — хоть до Берлина!

Лежит в комоде орден Отечественной войны второй степени. Марковна спит, не знает ничего такого про своего смурного старика. Разве ей расскажешь? Спасибо, уцелел твой мужик, Марковна. Потому что смелый был, ловкий, ноги, руки, голова. С умом, но смелый, не отымешь. Жухарев Володька или Алексей? Вот те на, Жухарева забыл! Похоже, что Алексей. Вот, смелый был, а из-за неповоротливости погиб.

Немец из окна стрелял. Панфилыч почувствовал, что сейчас нашарит он их и кончит тут же, где они сидят, ведь чуть правее пошарит немец — и конец! Он каким-то особым чутьем поймал момент, когда немец перезаряжался, толкнул Жухарева — давай! Перебежал открыто! Перебежал и в подвал разбомбленный скатился, а там под кирпичными сводами не достать ничем, хоть из пушки бей! Жухарев подзамялся немного, а потом поправился, а надо было уже сидеть опять, не ворошиться, тут бы Панфилыч немца выцелил. Но не успел Панфилыч открыть огонь по окну, как немец поймал Жухарева. Только вата из курмушки полетела, завалился Жухарев.

Панфилыч сейчас видит, как отскакивали щепки от оконного переплета, ставни повисли. Он поливал туда, поливал, а поздно. Немец-то не дурак, он ведь видел, что позицию против него заняли, смылся, сел там на пол за толстыми стенами и перешел куда-то.

Панфилыча долго не оставляло чувство, что подвел он товарища, крикнув ему: «Давай!» По запарке-то не стал разбираться Жухарев, кричат — давай, он и побежал. Все-таки не Алексей он был, а именно Володька Жухарев. С Украины был откуда-то, городок с коротким названием на букву «Т». Володька, конечно, Володька! Володька, диску дай-ка! Он и кинул диску, чуть диском руку не перебил.

Еще ему крикнул: «Володька, мать твою перетак! Дай, говорят, а ты железу швыряешь!» Володька, как же! Хохочет, пасть откроет, зубы белые...

Забывается все, забывается.

— Черных-то почему на пенсию не идет?

— Рано ему. Он же фронтовых не имеет. У меня-то как получается, выслуга тридцать лет и сержантский состав.

— Ему уже шестьдесят.

— Пожадничал. Он хотел, чтобы у него этот год вошел в пенсию. Он бы и подал в августе. Выгадал бы. А не подал, стало быть, смотри: октябрь, ноябрь, сентябрь я не считал, сентябрь, декабрь выпадают из пенсии. Четыре месяца. Брать по сто двадцать — пятьсот, считай, теряет, старый дурак!

— Из-за гордости. Черных, он гордый.

— Кто ему спасибо сказал?

— Гордый говорю, а не за спасибо.

Панфилыч засопел, замолчал, а потом начал поливать Черныха грязью: дескать, Черных хочет после пенсии никого не пускать в свою тайгу, что из жадности отказался от пенсии за четыре месяца, чтобы еще год ухватить, что в семье у него с сынами неполадки из-за снох, скандальничает с ними старик.

В общем, получается, что Черных, которого все уважают, никудышнейший человек!

Михаил слушает и не слушает. Неславно как-то получается. Черных за тайгу цепляется — это плохо, Панфилыч делает то же самое — очень хорошо!

— Что ты о Черныхе знаешь? А?

— Ничего я о нем не знаю. Ладно! Чо собирать на человека ниоткуль? Кто у вас хороший?

— Давай-ка полуношного чайку попьем — да и спать, — миролюбиво говорит Панфилыч.

Он встает, выходит по делам на улицу, потом залезает обратно, от снега ему стало посвежее, повеселее, он подкидывает полешки, ставит чай и забирается с ногами на нары в свой темный угол.

Глава восемнадцатая

РАЗГОВОРЫ НОЧЬЮ III. ИНСПЕКТОР ГАМЛИН

1

Все плохое о людях промхоза Панфилыч всегда знает. На этом основывается. Если ему надо с кем-то бороться, он не тщится доказать собственную правоту. Он ищет, чем бы

зацепить противника: не был ли в плену? Не сидел ли в какие времена? С кем пьет? Нет ли свидетелей, что продавал пушнину налево? Не из раскулаченных ли? Как живет с начальством, с кем именно на ножах?

Связываться с Панфилычем страшно: не съест — в дерьме измажет.

Вот с Гамлиным, инспектором, была история.

Заехали на рыбалку Панфилыч и Миша Ельменев в верховья Шунгулеша, отошли в Нерку, ловят в устье там. Лодка у них с Мишей! Мотор так упрятан, воды по камням четверть. Кажется, как можно пройти? Идет! Ну, это, положим, Мишины дела, он главный рыбак. Посмотрит в улово и видит — рыба там или пусто. Про него Поливанов-старичок говорил: «Ох, Мишка, ох жолтай ты, жолтай! Жалуница! Скрозь рыбу-то блюдешь!» И сам-то Поливанов-старичок хороший рыбак был, покойничек, но из всех рыбаков Мишу уважал. Панфилыч же рыбак сомнительный, поймать поймает, но заработать чтобы — этого нет, не заработает. Заехали. Улова нашли, подходящие. Ловят.

Три дня рыбачили, три бочонка рыбы, хариуса, ленков, тайменя, всего килограммов триста. Михаил с рыбой пошел вниз. Только мотор затих за поворотом, Панфилычу показалось чудо. Будто не один теперь стучит мотор, а будто два. Потряс головой — нет, два!

Панфилыч, уже успевший расположиться отдохнуть, приподнялся и стал смотреть на реку. Показался из-за поворота Михаил, за ним на лодке с двумя моторами Гамлин. Сзади идет, чтобы «преступник» не сбросил в воду груз.

Вышли на берег.

— Здорово, Панфилыч, инспекция вернула!

Из гамлинской лодки Вольгуев вылезает, спал под шубой, незаметно его было.

Гамлин заставляет бочонки разбивать.

— Вы везете под рыбой браконьерское мясо! И все!

Сила у инспектора, пусть сам и выбивает.

Оно и верно, раньше все так делали. Берут рыбу в полиэтиленовый мешок, под нее, тоже в полиэтилене, летнее браконьерское мясо, подсоленное, вяленое, так и везут в бочке, будто все рыба. Кому придет в голову под рыбой мясо искать! Подкоптить еще — прекрасно сохранится.

Стукнул кто-то. Тот же Поляков, ненавистник.

Разбивает Гамлин донышки. Тузлук потек, рассол.

Гаврюха под горячую руку все три бочонка расколотил. Посбивали обруча — ошибочка выходит! Ну, Гаврюха, Гаврюган, и все тут!

Нет мяса!

Гамлин не попускается, щепотку берет из лодки, мерку, давай хариусов мерить. Небывалое дело! Зуб у него на Панфилыча более медвежьего. Перемерял хариусов, сотен пять. Нестандартных сто штук, мерочка миллиметр в миллиметр. Нестандартных в одну сторону откидывает, стандартных в бочонки. Накидал на хороший штраф.

Панфилыч чаек попивает остывший, на разорение спокойно смотрит, в кострик поплевывает, на Мишу поцыкивает:

— Не шевели его, пусть. Не шевели!

Миша-то Гамлина уговаривал, уговаривал: нету мяса, не бей бочонки.

Гамлин намерял, победно улыбается.

А чего Гавряга улыбаешься, башку-то куда сунул?

Поставил Панфилыч кружечку.

— На-ка, Вольгуев, приобщи к акту! Сеточки наши приобщи. — Вольгуев берет. — Вот и вези их вместе с нестандартной рыбой и актом. Сети казенные? Что нам эти сети дают — то мы и берем.

— Сети-то казенные!

— Рыба нестандартная!

— А сети стандартные?

— Ага...

Гамлин сдуру посмеивается, а того не понимает, что он теперь не против Панфилыча попер, а против промхоза. Во как Ухвалов-то его развернул! Два человека — браконьеры, а если пятьдесят? Ну, тогда инспектор получается дурак!

А если взять в расчет, что Гамлин имел срок два года да год из них сидел за драку?.. По инспекционной должности отнимал орудия лова и ударил кого-то в ухо. Ухо оказалось шибко волосатое, пришлось ему покориться и отсидеть за превышение власти.

Знать надо, в какое ухо бить, а в какое — извините, пожалуйста!

Сообразил Гамлин, хотел было отступиться: черт, мол, с вами; проверил — имел право, ловите дальше. Но тут Панфилыч уже взял его за горло.

Садится и диктует Михаилу встречный акт!

Распишитесь, мол, такие-то орудия лова, столько, мол, рыбы перемеряли, испортили. Михаил пишет, во все горло хохочет!

Рыбалку остановили, поехали вместе в Нижнеталдинск.

Гамлин на телефон в областную инспекцию звонить, а Ухалов в контору да в суд.

Гамлин его на улице встречает: «Как так в суд?»

— А очень просто. Ты рыбалку сорвал, продукцию испортил. Она теперь не тем качеством идет. За шесть дней рыбалки должен будешь оплатить нам простой.

По сто рублей в день на человека — вынь да положь! Это где же у инспектора такие деньги?

Завертелся Гамлин, а помочь ему никто не хочет. Ведь грозился он все районное начальство переловить и на одном суку повесить за браконьерство? Грозился! По пьянке, правда. Но никого не поймал, а только одного директора слюдфабрички, а тому пузану что? Оплатил штраф за косулю и знать больше ничего не знает. Ехал как-то на своем газике, да нарочно по луже как даст! Так все окна Гамлину и залил грязью. Понравилось. Шофера спрашивает: «Лужа там есть или высохла?» — «Есть».— «Ну, поехали на обед!»

Как лужа после дождя накопится — инспекторские окна в грязи.

А не борись с сильным, не судись. Тем более если ты на этом деле психованный, на охране то есть всей природы!

Он же точно, со сдвигом. Соберет в клубе лекцию, плачет, разливается. Птички, мол, рыбки, окаянные браконьеры! Особенно вот про биологическую пустыню начнет рассказывать, аж дрожмя задрожит весь, затрепещет! Потомкам, мол, надо жить, поколениям наших будущих детей! Прямо за всю страну он в ответе получается.

А ты не кипи! Не кипи! Страна не пропадет, она большая! Вон сколь земли, небось ни у кого на свете столько нету! Питайся себе тихонько, а уж потомки пусть за себя думают, правильно, нет? Патриот, понимаешь! Бегает, за руки хватает, спасает зверей. А он, зверь-то, поеный-кормленый? Все народное? Так, нет ли? Так? Так? Ну, дак то-то!

Пожаловался Панфилыч. Мешает работать, никак на него управы не найдешь, отзывается о руководстве неправильно, всех запугивает пистолетом, даже маленьких, то есть детей! Вот рыбалку сорвал, а мы людям рыбу добывали, людям рыба нужна?

2

Старые у них были счеты.

Летали как-то Ухалов с Мишей оленя заготавливать северного. Забили по лицензиям пятнадцать голов. А с других оленей нарезали чистого мяса без костей. Михаилу это озорство — инспектора обмануть. Он радуется, переживает, конспирацию наводит.

Гамлин встречает на аэродроме. Пересчитал оленьи ноги, все правильно, с лицензиями сходится, умылся и пошел домой.

Миша проболтался. Слово к делу не пришьешь, мясо сдано, деньги получены, все оформлено честь честью. Ну, а мужики-то посмеялись над Гамлиным.

За твои-то деньги, Гаврюха, да столь силы кладешь, пластаешься, ты бы первым охотником был, столько бегавши, крыша-то новая на дому была бы, семья обихожена, а ты общественное спасаешь. Гаврюган ты, и все тут!

Затаил Гамлин на Панфилыча.

Многие под горячую руку, когда он добычу из зубов вынимал, укусить старались, грозились-то уж, почитай, все. Собака хозяина из-за куска укусит, не то что чужого человека, попробуй отними.

Но Панфилыч не грозился, он сначала даже приручить хотел, на выпивку зазывал. То есть предлагал сразу крючок под губу завести и пользоваться в своих интересах, себя обезопасить, а других инспектором травить. Гамлин отказался раз, другой и третий. Да еще заехал на промысел Панфилыча, проверить хотел, правда — нет ли, что Ухалов зверей бьет и раскидывает куски по участку, соболей подманивать из всей тайги.

Посмотрел тогда на него Панфилыч, дрогнуло сердце у инспектора. Вот уж истинно, кто и грозится — не страшно, а этот посмотрел, и все понятно, читай открытым текстом, а крепкая ли у тебя головушка, Гаврюха? Если из мелкашки с реки щелкнуть, когда ты на лодочке против течения пойдешь? А инспектор бесстрашный, раз этот самый злостный с ним и схватился, ну и поломал зубы.

Перешел он в пожарную охрану, а потом совсем куда-то уехал, говорят, инспектором опять. Не может без того, чтобы природу не спасать.

Новый-то, Фатеев, год как проработал, а уже Панфилыча на чай приглашал, с Мишей здоровается, подходит сам, разговаривает. Панфилыч ему просто сказал: вот

тут у нас был Гаврюха, за руки хватал меня, дохватался. Что хочешь делай, а меня коснесся, с тобой то же самое будет, а случаем чего, в благодарность за хорошее ко мне отношение могу тебе и службу сослужить, услышу если, кто безобразничает, след покажу...

Глава девятнадцатая

РАЗГОВОР НОЧЬЮ IV. ПАЛАТЫ КАМЕННЫ

1

Тянется ночь в зимовье, спит медведь в берлоге. Охотники ведут неторопливую беседу, попивают чаек.

Теплое зимовье, прокопчены балочки.

— Пикалов пилорамщик рассказывал, — засмеялся вдруг Михаил, — на него, дескать, прет медведище, а он его за язык да за уши. Люди городские сидят, слушают, а он их учит, за что и как хватать, если с медведем бороться.

— Это как Поливанов-старичок рассказывал. Белочим, говорит, вдруг собака взлаял, ну, думаю, на соболя. Подбегаю, мол, стрелил, будто медведя, упало — гляжу — глухаришше как пестеришше!

Панфилыч сразу отвлекся от своих дум и засмеялся даже, уж до того славный был старичок Поливанов, веселый человек. Все-то у него прибаутки были. «У кого на сковороде скворчит? У кум-сват Ефим Ефимыча Дусева».

Приятель у них был, звали его кум-сват Ефим Ефимыч Дусев! Князевские закадычные друзья. Сбегутся зимой в гости друг к другу, ну, мели, Емеля, твоя неделя. Снега идут, а они сидят, чаю наварят, смеются, старики, озорничают друг над другом. Капкан в постель запрячут — ждут, кто сядет.

— Глухаришше как пестеришше,— повторил за Ухаловым Михаил и тоже засмеялся, — так он и говорил. К деду в гости придет, на меня посмотрит: у, бурундушны шшоки!

— Дробовик, говорит, у меня был, солдатский, гаечки вот таки! Гоголя, говорит, сели в четверьк, в четверг, значит, тьмушша! Как дал — мешком накрыл. Ни одна дробинка мимо не пролетела, на кажну утку досталось. Восемь штук! Солдатский-то дробовик — это рассверлен-

ные у них винтовки были, оружия ведь не хватало. Гаечки — это кольца, значит, цевье к стволу крепить. Они и считали, чем гаечки толще, тем злее бьет и сносу не будет.

— Он с Ковы, Поливанов-то.

— Налимья печенка. У них ведь с налимом ране-то! Ох-хо-хошеньки! Смех и грех. Почесть, круглый год вся деревня не работала. Так весь год на печках лежали. Значит, там в устье Ковы, где она в Шунгулеш вбегает, улово громадное. Вот уловом этим и жили. Как лед станет, они зашевелились на печках, зашевелились, пролубя наделали с передыхом и давай корзинами да сетями, чем, то есть, попало, налима таскать из-подо льда. Сети по ем протягивают, нахратят бедного. У каждого свои лунки были, свои подводы, свои снасти. А он со всей области собирается туда на зимовку. Такая тварь ленивая, сплывает туда в улово, и весь тут. Грузят они возы — и пошел в города и в деревни, в городах на деньги мануфактуру, в деревнях на продукты питания. Так и жили, пока налим не кончился.

— Был, был столько лет, а потом и кончился?

— А им дали план, а они его каждый год да вдесятеро перевыполняли. После-то коллективизации когда. Перевыполняли, перевыполняли, чтобы, значит, им на печках лежать, а не работать остальное время, а теперь налима нету, пришлось и землю пахать! И правильно, пьяницы все были, плясуны, песенники. Месяц в году работали. Такая удача была, истинная правда! Налимьи печенки, их и звали так. Пьяницы.

А уж чтоб медведя за уши держать — это глухаришше как пестеришше. Из моих-то двадцати семи, которые и до печки наскакивали, а чтобы по два часа бороться, не знаю. Окромя того, что медведь меня чуть не задавил и руку измусолил, про борьбу не скажу. Я с ним не боролся, он меня просто не доел. Пусть поборются на моих глазах, иначе не поверю. Такие же, как я, обглодки. Не доел да сплюнул, вот и вся недолга. Князь — тот резал, это точно, но таких, как Кирша, мужиков давно не родится. У него окромя того, что сила была медвежья, у него и ловкость была. Я его стариком знал, считай, но быстроты такой у того же медведя не видал. Рябчик сзади вылетит, порх, а он уже стрелил и убил, а я только шею повернул, во как! Говорим мы с тобой, говорим, а медведь-то лежит слушает, наверное?

— Завтра спросим.

— Не говорить нельзя, скучно. Вот Муховей рассказывал. Как-то он сезон отходил с шурьями, с братьями Рукосуевыми, Клава-то ихняя сестра, жена его, с Алешкой да с Сашкой. Вот уж натерпелся. Молчат как пеньки. Он говорил один, говорил, неделю говорил — молчат. Ну, думает, тоже буду молчать. Уперся, неделя проходит, молчат, чай пьют как люди и молчат. Муховей уж едва держится, а молчит тоже. Извелся! Все же заговорили!

— Заговорили все ж таки?

— Все ж таки заговорили. Алешка у Сашки спрашивает: «Ты кашу солил?» — «Солил». — «Ну и я солил, хрен теперь похлебаешь». Вот тебе и весь разговор, на неделю замолчали. Гриша отходился с имя, добыли хорошо, но он больше не ходил в ихнюю артель. Я, говорит, человек порченый, современный, не могу молчать, хоть матерками, а перекинуться надо! Верно, нет ли, а, Миша? Чо, брат, приуныл? Задавим с тобой медведя завтра! Чай станови на стол, за чаем не только ночь — зима пройдет! За разговором-то.

2

За чаем Панфилыч поднял голову, посмотрел прямо в рот Михаилу и сказал вдруг:

— Не кормивши врага не наживешь.

Михаил жевать перестал и засмеялся.

— Да ты чо, Панфилыч?

— Вот тебе и чо! — Панфилыч сердито отодвинул кружку с чаем и сухарем. — Сколько я Полякову кровушки дал! И-эх! Петро, говорит, купи дом. Денег нету, говорю. Дам. Сколько отрабатывать?

Вот с чего я начал да и построил избенку шесть семьдесят на четыре семьдесят. Наша-то квартира старая развалилась, настоящий дом на елани остался невывезенный. Отец построил и утонул, здрасте вам! Вот до сих пор живу в избеночке, а он себе барствует, Поляков-то! И малому Полякову, и дочери, все эти дома я строил.

3

Михаил давно знает все эти истории: собственно, из них и состоит вся жизнь Панфилыча. Михаил лежит на нарах, тихонько подкручивает транзистор, время от вре-

мени вслушивается в рассказ напарника, вставляет одно-два слова согласия, жалко ему нахохлившегося на судьбу старика, толстоватого, небритого, в грязной нижней рубахе и кальсонах, с шерстяными старыми платками на пояснице. А что другое может рассказать Панфилыч? Что-нибудь поромантичнее?

Впрочем, вряд ли ищет сочувствия Панфилыч своими рассказами, жалости он не просит, да и не простит ее никому на свете. Никогда не искал он этого, зубом жил и не поколебался. Но, может, старость тому виной, а перед Михаилом Ельменевым вроде бы и оправдывается, вроде поколебал его Михаил. А и защита была у Панфилыча от воздействия мягкого, но непреклонного Михаила, — молодой ведь парень, тридцать четыре! Еще не поздно, перейдет и он в ухаловскую веру, а не перейдет сам — переведут!

— Ему дома, — снова выдыхает Панфилыч, — себе избенку! А? Я сейчас могу себе двухэтажный построить, а нет. Не надо! Все и так знают, кто такой Ухалов!

4

Самое древнее зимовье — пещера.

В Шунгулешских тайгах есть одна такая пещера, в ней на стенках рисунки из палеолита — сцены охоты. Олени бегут, люди их загоном гонят, луки натягивают. В точности звери нарисованы!

Князеву пещера понравилась. Он трубу вывел, двери навесил и жил сезона два-три. Тепло, хорошо, только окно неудобно, на двери вырубил. Забавлялся, можно сказать, мужик.

Потом Макандин там охотился. Приезжали научники, срисовали, сфотографировали. Бревнышки подмокали, подмокали да и погнили. Макандин, он уже путешественник, то там поохотится, то на новом месте, и оттуда ушел. Так и потерялась пещерка.

Самая древняя изба — завал лесной. Где-нибудь на склоне упала сосна, накрест другая, потом сверху ветровалом еще несколько навалилось, и под ними образовалась берлога. Древний охотник и спасался в таких завалах, постлал сверху лапнику, ивовыми прутьями обвязал, лыками, корья настелил да и сидел-посиживал. Тепло, сухо, тихо!

Потом древний охотник стал землянки делать и норно жить. Быстрый способ, рационализированный. Брал он, наверное, сук лиственничный смолевый, острый, да и рыл им землю. На яму наваливал крышу, натаскивал в землянку травы, вил гнездо.

Ну, это древнее время, пещерные люди, а ведь сейчас у иного лентяя зимовье — полуземлянка, три венца сруб и плоская крыша! Для кого, спрашивается, такая берлога? Для себя! И мучается, сердечный, лазит в дыму на карачках — зверь зверем из древности.

Уж чего не скажешь про наших охотничков, а не скажешь, — что обустройство любят. Обладился мало-мало, жизнь предохранил от космической стужи и полеживает! Иной солидный мужик, гордец, а зимовьюху посмотришь у него — стыд и срам! Что же, спрашивается, хороша тебе балаганная жизнь, стены твои проносит, выпрямиться нельзя, сыро, дым в глаза, в двери ползком, из двери выползком?!

А есть один охотник, который вовсе отказался от зимовья на участке! Из деревни на попутном лесовозе заезжает, ночью возвращается тоже на попутном! Этот уж совсем свой участок предохранил: ни турист к нему не зайдет, ни браконьер не забредет — заночевать-то негде! Во как!

— Почо палаты каменны? Отпромышлял, и домой!

Ах, чтоб ты треснул, да ведь на промысле-то ты два месяца каждый год, тебе есть-пить надо по-человечески, спать по-людски, а ты наравне с собаками!

— Непочо!

За лето отсыреет берлога, заплесневеет!

Ну, зато он, конечно, такую жилуху навалял себе за пару дней: огляделся,— место веселое, раз, два, готово, делов-то! Потом у него радикулит, ревматизм, какой только болезни не привяжется, по санаториям, по курортам денег порастрясет.

В деревнях изба избе тоже неровня. Иная чуть разве от лесного завала отличается — груда бревен, косая крыша, углы лапами разномерными торчат, не спилены, ни палисадника, ни заплота, баня-поленница на огороде чернеет, а хозяин живет, посвистывает!

Непочо! Палаты каменны!

Удивишься, глядючи, с какой легкостью живет человек, будто летел-катился по земле, задуло его в зауголье, зацепился пожить, вот-вот с другой стороны ветерок подует,

выдует его и покатит, завербуется, поедет... Ан нет, слышно, женщины заплакали, соседи с полотенцами пришли, выносят его из этой избенки — тут и отжил непутевый век свой! Старуха к сынам уедет, на гидростроительство, замокнет под дождями избенка, сопреет, крыша провалится, окошки повылазят, труба обвалится, крыльцо отгниет — изба то была или завал, берлога медвежья?

А ведь соседи рядом, как жили в светлых высоких домах, так и живут — тепло, чисто, семейственно, никакой мороз-буран такому дому не страшен, навстречу полярным ветрам светит чистенькими окнами с тюлевыми ресницами, только бревна от стужи расплетаются, похрустывают, как шпангоуты у корабля, да мачтой покачивается из двух елей срощенная антенна, метров на двадцать!

5

Думал когда-то Панфилыч, что уж себе-то отгрохает домину.

Ну, да Марковна другую избушку и не требует, свыклась. Поляков же всем семейством строился и строился. Зная слабость Панфилыча к мотоциклам, Поляков предложил ему такой расчет: строй мне дом, а я тебе сейчас прямо отдаю «ИЖ-350». Это еще без подвесок, так себе мотоциклишко по нынешним-то временам, когда у Панфилыча зверь с люлькой в специальной стайке утепленной стоит. За строительство сверх того Поляков само собой должен был доплачивать по подробностям: лес там навалить, окантовать под скобку и тому подобное. Рубить договорились нанимать третьего человека или доплата двести рублей. Он не нанимает третьего человека, а на воскресенье помочь созывает родню-соседей. Но помочь-то и так имелась в виду, само собой понятно, ведь бревенная работа, тяжелая!

Тут еще коней надо было посдавать, посдавали коней...

— Ну, с грехом пополам поставили сруб. Давай пить-гулять. Второй месяц идет, он мне ничего не платит. Оттягиват. Делаем окосячку, полы-потолки, окна-крышу... Давай считать. Выходит — я ему должен! Брали порох, юфть на ичиги, бензин — я же к нему же за реку ездил на том бензине, посчитал он мне всякое лыко в строку да по семи рублей! Сижу, глазами хлопаю. Выходит, с меня

девяносто один рубль. Он рубль округляет-скидывает, спрашивает: «Отработаешь, или заплотишь?»

Я сажусь на мотик, к Анатолию. Он меня звал за шесть сотен ремонт нижних венцов делать, да еще что-то со стайкой, крышу постелить, однако. Не хотел браться, но тут куда денесся. Приезжаю, давай, говорю, сотню, Полякову в морду брошу!

Потом посчитался с ним, зараз за все, пусть не обижается. Ждал я своего часу, дождался. Мы сначала в две тайги ходили, на Кову и здесь, на Талой. Когда помирились-то, после дома, хотели одну тайгу бросать для удобства, тогда на Кове хорошо ловилось, но должны были рубить те места. Я узнал это дело, и оформили мы так: Кова на него, а Талая на меня... Вот его промах где был. Еще поставили триста плашек в моей тайге, а чтобы уравнять хозяйство, решили, что он возьмет у меня два круга хороших и Кова ему даст тоже. Выделил я ему два круга средних. Но с условием, чтобы собаки у него тут не было. Сговорились. А он что делает? Туда, на Кову, заводит своего родственника из половины горбатить, а сам ко мне подается. А я не рассчитывал, что он у меня на хвосте весь сезон висеть будет. Я его на что купил, думаю, будет от жадности между участками летать, от меня на Кову, с Ковы ко мне, вот и выйдет из него пар, он уж состарел тогда. Видишь, а он меня перехитрить решил.

Раз, значит, обманул меня.

Второе — захожу в его зимовье, думаю, что это там под корьем? Жир не жир, субпродукт какой-то! А у него в Тарашете старшая дочь на мясокомбинате! Собачий корм достал! Эх, хитрый! Ну, я хитрее! Раз ты собаку заводить сюда, беру и настораживаю один из его кругов, которые обещал. Фиг тебе, Поляков!

А документы уже были нормальные. Ничего он доказать не может, я же на словах обещал. Он приходит в настроении, а ему вместо двух кругов — один! И тот-то круг не так отдал — по соседству с его плашником все уремки, все таежки, все вершинки вычесал с собаками. Себя не пожалел, в снегу ночевал, все опустошил вокруг него.

Случайных он наловил пяток да и ушел на Кову. Там он с родственником не поделился, расскандалились. Уж я посмеялся.

Он на собрании меня под монастырь подводит. Кто же, мол, сравнится с Ухаловым по части лыжи делать? Вот и пусть делает для промхоза рублей хотя бы по пятнадцати пара! Камасные-то лыжи! Хвалит меня, понимаешь! Дурак я, браться, столько работы, и ничего не получишь. Припишут — делай, не будешь делать — нехорош! Ну, я встал, говорю: тебе ли, Поляков, скромничать, когда век тебя буду благодарить, ты же научил, а так как тебе скоро пенсия, тайгу оставишь по закону, садись-ка ты на лыжи, на ичиги, подбери себе старичков, научи, как меня научил! Всем коллективом тебя просим! Заработаешь стариковский хлебушек окромя большой своей пенсии, которую тебе государство оформило!

А не рой другому яму, не рой! Оно славно, конечно, если бы кто делал лыжи по такой цене, бери не хочу! Мои-то, поболе пятидесяти рублей дадут, только предложи. Вон он какой, Поляков-то, капиталист, все мое, а вашего нету ничего! Охотовед-то его друг-выручка был, Юрасик. Моя задача была расколоть их или совсем убрать охотоведа. Говорю: мужики, мол, надо попоить человека. Попоили, была у него эта слабость. Нажали, он и хрупнул. Поляков остался без крыл.

— Зачем? Пил бы и пусть сам пил, зачем на слабость нажимать?

— Так ведь наше дело толкать, его — не падать.

— Вот как получается, а он вас толкни — жаловаться сразу, письма писать...

— Это уж по заведению. Кто победил — тот и прав. Так ай нет? По-нашему если?

6

Ночью Панфилыч выходил, все не спалось ему. Шел снег. Миша, спавший чутко и любивший подчеркнуть эту свою чуткость, спрашивал бодрым голосом:

— Снег?

— За самый кончик мы его поймали.

— Завтра видно будет, вот он нас поймает.

— Дрова, что ли, сырые, головни-то шают, не горят, — бормотал Панфилыч.

— Спать бы ложились, завтра идти вон куда.

— Какой мой сон, два раза моргнул — ночь с рук.

Глава двадцатая

ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ!

1

И утром шел снег.

Поясница у Панфилыча действительно болела, оттого-то он и не спал эту ночь, а только задремывал, да просыпался, да грелся у печки спиной. Он раскачался, когда Михаил уже покормил собак и поставил завтрак на стол.

— Ладно, однако, что вчера нашли. Пропал бы медведь.

Тяжелый снег, скрывая следы, валил на зимовье с едва уловимым, может быть, несуществующим, но все же ощутимым монотонным шорохом, струился между деревьями длинными белыми полосами.

2

Охотники шли не торопясь. Панфилыч не мог быстрее, а Михаил проявлял уважение к напарнику и не показывал свое здоровье. Там, где был сворот с тропы к медведю, собак повязали на веревочки. Собаки были послушные, молчаливые, не огрызались друг на друга.

Возле берлоги посовещались, обтоптали снег, спустили собак. У собак шерсть встала дыбом, и они, мельком лишь оглядываясь на охотников, не сводили глаз с едва заметной отдушины берлоги. Берлога, по видимости, была под корнем.

Михаил приволок вырубленную невдалеке колючую молодую елку.

Панфилыч вывязал свой топор из поняги, встал повыше, сбросил рукавицу с правой руки и спустил предохранитель.

Михаил быстро и ловко подбежал, вставил елку в отдушину, навалился на нее сбоку и протолкнул, сколько мог, в глубину, стараясь угадать линию входа, отскочил и встал на свое место, вскинув к плечу ружье.

Елка так и торчала.

Собаки нервно ходили, проваливаясь в снег между валежинами, стараясь выбрать место поудобнее. Байкал не проявлял никакого особенного страха, тоже ходил и

ждал, что тут такое затевается, только вздрагивал и приседал чаще обычного.

Елка не двигалась.

— Давай-ка трахну туда? — прошептал Михаил.

Панфилыч не ответил, наверное раздумывал.

Будто от слов Михаила, весь снежный бугор пришел в движение; лежавшая под снегом невидимая лесина приподнялась, открыв длинную, в несколько шагов, черную щель, елка вылетела из берлоги, и оттуда до половины выперлась медвежья туша, придавленная лесиной. Лесина, которую медведь своротил горбом, и остановила его на мгновение как раз на мушке Михаилова карабина. Завизжали собаки, залаяли, стали прыгать вокруг берлоги. Оба выстрела ударили одновременно, но Михаил выстрелил чуть раньше. Медвежья туша осела.

Панфилыч еще раз выстрелил прямо в засыпанную обвалившимся с лесины снегом голову медведя. Голову подкинуло, и на нее бросились собаки.

— О, паря! — шепотом сказал Панфилыч. — Пенсионный!

— Байкал-то, смотри, дерет, не боится!

Михаил подождал, пока собаки насладились зверем, и распинал, отогнал их от берлоги.

— Закуривай, — сказал Панфилыч.

Курил он редко и мало, но тут полез к Михаилу через снег, и они сели на валежине на рукавицы и закурили.

Медведь горой лежал на берлоге, и охотники, покуривая, поглядывали на него, стараясь определить, как много туши осталось в берлоге, сколько в нем весу: жиру, мяса, желчи.

— Вижу, лезет... — посмеивался Михаил. — Вижу, лезет, дай, думаю, пусть он первый стрелит, а сам — раз, и стрелил как-то.

Собаки скулили, ходили вокруг медведя. Байкал стоял на вздернутой лесине, смотрел сверху на убитого зверя и не понимал, что на любом из когтей этой выставленной вверх лапы он мог оставить свою веселую собачью жизнь. Собаки ложились в снег, вставали, ходили, хватали снег горячей пастью, не могли спокойно переносить близость даже мертвого страшного зверя.

Михаил, положив папироску на рукавицы, сбегал к медведю и померил пядью его широкую башку.

— Приговор приведен в исполнение! — громко крикнул Михаил, стоя одной ногой на медвежьей голове.

— Будет тебе, веселисся, а туша-то велика, замаемся.

— Бог даст, не последний!

— Митрий бы подъехал, зараз бы выдернули двумя конями, а так ходить!

— Разделаем по кускам, заморозим.

— Вроде мы с тобой хорошего зверька добыли, Миша, а телиться нечего, у меня ить веревочка есть.

Панфилыч запасливый мужик, принес с собой капроновый моток.

— Порвется.

— Трелевать можно. Важку выбери-ка.

Михаил вырубил березку в ногу толщиной, тремя ударами срубил ее, отсек вершину и сучья. Мерзлая береза была тяжелая, каменная. Панфилыч между тем заправил за голову медведя петлю, подал конец Михаилу. Вдвоем, заложив вагу за кедр, потянули медведя, подматывая веревку на березу, два раза уперлись, и медведь медленно и неохотно вылез из берлоги, буровя снег и сучья, черные от земли, и лег на брюхо. Медведь расплылся в снегу. Одна лапа торчала у него вверх, как коряга.

С трудом переваливая тушу с боку на бок в четыре руки, мужики выпростали медведя из шкуры, выпустили из него расползающуюся требуху, гнилостно и вонько распахнувшуюся под ножом, спрятали медвежью желчь в полиэтиленовый мешок, проверили входы и выходы пуль, отрубили и откатили ободранную медвежью голову с синими глазами и синевато-черными и багровыми порезами, обрезанными хрящами ушей и носа, желтыми зубами, вырубили и бросили в снег остывать грудинку, оттащили отрубленные окорока, боковину и шеину. Шкурку, зачистив снегом, скатали в тюк, завернув в середину болтавшиеся на ней гирями медвежьи ладони с когтями.

Медведь был сильный, несмотря на то что лег поздно, червей в нем не было, на окороках желтели бляшки сала, кишки были завернуты в теплый жир, легко отстававший под ножом, перерезавшим брыжейные тяжи. Пока Панфилыч обирал внутренний жир с требухов и сало с почек, Михаил развел костерок и отбил на валежине две большие котлеты из мороженой сохатины и зажарил их, насадив на осиновые палки. Для собак обжег на огне медвежатины.

Михаил удивился, что в такой маленькой конурке зимовал такой огромный зверь, занявший своими разделанными частями всю полянку, хотел залезть в берлогу, но Панфилыч не велел ему туда лазить, чтобы не набраться нечести. Но подстилку Михаил потрогал руками. Сучья да ветки, немного мху, трава, только и всего натаскал медведь на свою зимнюю постель. Но уж что сухо, то сухо, такое место выбрал умный зверь, и песочек.

Перед уходом закопали в снег быстро остывшие сверху разделанные части туши, засыпали снегом требуху и шкуру, взяли в двух растекающихся тяжелых мешках внутреннего сала, взяли желчь, килограммов пять грудинки и оковалок чистого мяса от окорока и пошли, потому что день уже клонился к вечеру.

После охотников сумерки быстро опустились на перебуровленный снег поляны. Тревожно и пасмурно. Лесина так и не легла на место, длинной черной пастью зияла отворенная под лесину щель, кровь, кое-где проступавшая на засыпанном и разделанном медведе, стала черная тоже. Снег шел все торопливее, кучнее, гуще, как бы торопясь замести, закрыть следы. В снег и в темноту, как под занавес, уходила поляна в полном молчании окрестных деревьев.

Глава двадцать первая

БРАТЬЯ УХАЛОВЫ

1

Сначала они увидели и учуяли дымок у себя на Талом ключе, потом, подойдя ближе,— искры и рядом с черным теперь Майком — светлую Митриеву кобылу Зоньку.

— Го-го-го-го! — не удержался и крикнул Михаил.

— Будя базлать-то непочо, — сказал почему-то посмурневший Панфилыч, он со спины под горку нагнал Михаила. — Двигай вот...

Митрий был не один. Из-за его плеча выглядывал лысиной Данилыч.

Они сразу угадали свеженину, но не думали, что медведь. Бурхало, сунувшийся навстречу, сразу ощетинился, зарычал, на него кинулись кобеля-добытчики, тут уж подоспел Гавлет.

— Разгони своих дураков, — сказал Панфилыч и прошел в зимовье.

Больше всех в драке опять пострадал Бурхало, ему еще по пути досталось от Гавлета. Саян, Байкал и Удар отогнали чужих собак от зимовья, и только Шапка стояла среди них как королевна и независимо нюхалась с незнакомыми воинственными кавалерами. Гавлет ходил недалеко, но на приличном расстоянии, а Бурхало стариковской трусцой вернулся по темной одинокой тропе к себе на базу.

2

В зимовье было тесно.

Панфилыч лег сразу, Михаил тоже залез на нары. Митрий и Данилыч хлопотали по хозяйству, готовили мясо, а между делом Митрий рассказывал нижнеталдинские новости. Он заходил перед отъездом к Кипятковым, самого Гришку не видел, но Гришку хвалят в школе по математике, память у мальчика отличная, на лету схватывает. Петька, младший сын Митрия, тоже все не нахвалится дружком, только и слышишь от него: Гришка Ельменев, Гришка Ельменев! Математик, мол, память как ЭВМ.

— В меня, — довольно отозвался из угла Михаил. — Тоже, бывало, прочитаю, наизусть могу рассказать. В жизни уроков дома не учил. На переменке.

Марковна прислала чистое белье, стряпнины, теща же прислала Михаилу бутылку водки, дескать, чего ему еще надо, пьянице! У нее в шкафу стояла, она и отдала ее Митрию, а могла бы послать и стряпнины, потому что всегда имели Кипятковы от зятя и мясо и рыбу. Михаил усмехнулся, он не сильно обижался на тещу за ее выступления. Она еще притихла сейчас из-за Гришки, боится, что внучка отнимет Михаил, рассердится. А раньше она во всем обвиняла Мишу, болтала по соседям, по родне, что он Пану в гроб загнал! Ну не дура ли! Понятно, мать все же.

3

Ели много и долго, выпили все четыре бутылки, что были привезены. Панфилыч все помалкивал и скоро заснул. Данилыч, слабый на водку, ушел болеть к себе, пошатывался. Митрий лег вместе с Михаилом и все закидывал на него ногу и клал руку.

Следующий день и такой веселости не было. Панфилыч не сказал вообще ни одного доброго слова, заставил Михаила переписать записки Тиунова, чтобы отправить их в контору Балаю, а оригиналы оставил себе для вещественных доказательств в будущем судебном деле.

Один раз Михаил заскочил со двора, где колол дрова от нечего делать, и услышал, что между братьями идет горячий разговор шепотом. Михаил сделал вид, что не заметил, но от тоски взял ружье и пошел с собаками побродить, ни на что хорошее не рассчитывая, кроме рябчиков-глухарей, потому что время от времени начинался снег. Пусть братья без него поговорят. Пусть перегрызутся хоть до самых позвонков, только не встревать в эти дела!

Сами себя жадностью травят, что за жизнь такая глупая! Жадность ухаловская представлялась Михаилу как капкан медвежий с потаском-бревном на тросу. Попадет в него нога, ты сюда — и потаск за тобой, ты туда — опять потаск за все цепляется, не пускает тебя, ногу выламыват, и так пока не выбьешься из сил и не сдохнешь.

Ночью Панфилыч опять не спал ладом, слышно было по сопению. Михаил точно знает, как Панфилыч сопит, когда спит и когда у него бессонница. Митрий опять закидывал ногу, бурчал что-то во сне, Михаил ногу с раздражением сбрасывал.

4

Назавтра пошли за медведем, выволакивали целый день через валежины, буреломы; кони вернулись чуть живые, Маек суком в паху распорол. Измучились и охотники, несли килограммов по пятидесяти.

Сразу наелись недожаренного тяжелого медвежьего мяса.

Данилыч не приходил — болел, видно.

Митрий старался, дрова подкладывал, весь вечер в печ-

ке выло и гудело пламя. Печка была до углов красная, будто раздуло ее пламенем, как маленькую щучку, наглотавшуюся больших карасей.

Стали разбираться на ночлег. Михаил между прочим сказал Митрию:

— Ты того, ногу-то на меня не закидывай. Противно аж. Привык все с бабой.

Панфилыч и прицепился к младшему брату: видно было, что рад случаю поругаться с ним, и постелил Митриевы тряпки на свои нары, и братья легли вместе.

Перед сном Панфилыч тоном приказа распорядился, чтобы Михаил завтра шел на дальние круга. Сам же он собрался пойти по натоптанной за медвежью охоту тропе к Пределу ловить соболей капканами. Пока таскались за медведем, видели несколько следов свеженьких, а в той стороне плашника не было. Михаил посоветовал ему поставить капканы на медвежьих внутренностях. Как пить дать, набежит пара собольков.

Панфилыч насильно эдак пошутил, что уж теперь догонит свою выработку до Михаилова рекорда, сравняется. Пора, дескать, и за тяжелую работу после роздыха по медведю.

Хороший роздых! Таскали, гнулись, коней поуродовали, снегу намесили. Да и медведь-то дороже десяти соболей выглядывает, побольше тысячи будет тянуть. Как Митрий его реализует?

Славно было на своих нарах одному. Такая малость, а славно. Хоть так разлягся, хоть так, никто тебя не толкнет, никому и ты не мешаешь, никто тебе в рожу не дышит.

Михаил раскидался до подштанников, и все-то ему было тепло и хорошо: старая курмушка попахивала шоферским прошлым под головой, истертая оленья шкура под низом, засаленное ватное одеяло рваное, сколько ему лет-то, еще матушкино, а теплое. Сама, родимая, стегала. Раньше розовое было, теперь не разберешь. Руку поднять — сухой банный пар под потолком, полная избушка тепла, до утра хватит.

5

Митрий разговоры с Михаилом заводил, а потом прямо задал вопрос:

— Ты жениться когда думаешь теперь, Михаил?

— Да пока не думал,— ответил Михаил.

Митрий понял, что не в жилу попал, но все-таки поговорил еще, что вот, мол, бабы и девки в Нижний Талде теперь глаз на Михаила кладут, хороший жених, что, мол, надо не продешевиться, поговорил так немного и замолчал.

— Кто про что, а вшивый про баню,— хмыкнул Панфилыч.

Не та компания для Митриевых разговоров, Мишка стыдливый мужик, а старший брат давно уж и терпеть не мог эту музыку.

Потом Панфилыч учил брата, кому и как отдать сало и мясо, долго объяснял, поучал, сердился на возражения, а Михаил сразу забыл про них, закрыл глаза, ему стало очень хорошо в памяти, еще и Пана будто живая и все еще по-молодому.

Среди ночи сны были хуже, неуправляемые.

Митрий вставал, подтапливал печку, мерзляк. Михаил слышал, как он возился в темноте, потом свет побежал из угла.

Братья шепотом друг другу на ухо говорили, но не понять, о чем — да и нет, нет и да. Загудела печка, потянуло новым теплом, скоро надо было вставать. Михаил с удовольствием подумал, что завтра махнет в свои зимовья с собаками, сам себе будет хозяин, хочет — встанет чуть свет, хочет — весь день проваляется. Засыпая, услышал: «Истинный крест, Петя, больше на меня не надейся!»

На эти слова старший брат ответил презрительным, коротким, как плевок, матюком.

Глава двадцать вторая

ЧАС ПОДЗЕМНОГО

1

Утром Панфилыч помог Митрию завьючиться.

Почаевали хмуро и пошли в разные стороны. Сначала ушел Митрий, потом Михаил, а потом и Панфилыч.

Снега не было, солнце вставало светлое, чистое. Молодые снега лежали по тайге, глаз ломило от сверкающей белизны.

Не успел Митрий отойти, как прибежал к зимовью, покачивая тяжелым вьюком, Маек-хитрован. Не хотелось ему уходить от бездельного житья в трудную дорогу; он и вернулся, отвязавшись от Зоньки. Михаил и Панфилыч еще не ушли, настегали Майка прутом таловым, а тут за хитрым мерином вернулся с матерщиной Митрий, очень он был расстроенный, что возвращаться пришлось, сильно верил в приметы.

2

Данилыч вчера тоже на жареху не приходил.

Михаил и не собирался у него останавливаться, хоть и некуда было торопиться, но только он подошел к подземновской базе, Данилыч, как на грех, выскочил на крыльцо выплескивать что-то из котелка на снег. Из норок у Данилыча валил пар двумя струйками, как у коня доброго, горячий, видно, чаю нахлестался. Данилыч стоял и ждал приближения Михаила, пришлось свернуть к нему, подойти.

— Побежал? Ушли твои-то?

— Все разошлись.

— Чайку, может? Ты заходи, чего встал-то...

— Ехать вообще-то надо, идти. Ну, да наше — наше будет, поболтать от скуки, торопиться некуда. А ну вас! Я вас! Отыдь! — заревел Михаил на собак, сбившихся в кучу и готовых уже драться.

Михаил снял лыжи.

Собаки настороженно стояли — каждая на своем месте, потягивали вверх морды, скалились предупредительно. Любое движение, любая перемена позиций, любой рык погромче условленного — мгновенная свалка, полетит шерсть. Строили ушки, косили глаза.

— Чича-а-ас! Палкой-то! Где моя палка? Но! Угони, Данилыч, своих, мои не шутют, кобели-то! — не без удовольствия кричал Михаил, не упускавший иной раз случая стравить своих зверовидных кобелей с чужими собаками.

— Спасибо, Алтая нету, тот не глядя пластает. Раз-два — и нету собачки.

От человечьего крика собаки расслабились. Противостояние распалось, отошли друг от друга. Саян и Байкал легли на лыжи, как бы показывая, что они гости и ни на

что не претендуют, но место на лыжах хозяина у них законное, а чужая сучка их не волнует, пусть сама подходит, тогда понюхаемся.

— Любите меня, што ли? А? Звери! — Михаил с удовольствием попинал Саяна в морду мягким ичигом. Кобель завертел хвостом, чуть еще — и превратился бы в щенка, начал бы прыгать на хозяина, но Михаил вовремя прикрикнул и ушел на крыльцо.— Но, Данилыч, чаю давай! — Михаил весело кинул рукавицы и шапку на лавку и уселся к столу. На окне, на уровне глаз, была продышанная и протертая пальцем амбразура в толсто обледенелом окне.

Амбразура была направлена на тропу, и человека, идущего от ухаловского зимовья, видно было далеко, как только он выходил из ельника. Михаил подумал, что вот сидел старик, скучал, специально состерег себе гостя.

— Скучно тебе в тайге?

— Дела все, дела. Спасибо забыл тебе сказать, за мясо-то. При Панфилыче не хотелось говорить.

— Да он знает, я ему сказал. Жалко мяса, что ли, добра-то.

— Прихожу, а тут сохатинка, суприз. Вот уж спасибо, люблю легкое мясо. Хорошего зверька стрелил?

— Ничо, подходящий, жалко, не вывезти оттуда.

— Конем-то туда пройти можно?

— Дороже получится, если тебе ходить.

— Да ты чо! Я на праздники буду у Марии бычка колоть, да и у себя двух боровов, куда мне мясо-то, так я спросил.

3

Данилыч мельтешил, угощал ломаным печеньем, суетился. А Михаил был рад более или менее свежему человеку, еще раз рассказал про медведя, как он угадал и точно елку сунул в дыхало берлоги, как медведь лесину подпер из-под снега, как хотелось дать Панфилычу сделать пенсионный выстрел, но как стрельнул сам.

— А то, может, последний медведь-то, пенсионный!

У Михаила было хорошее настроение, он так все рассказал, так все удачно и понятно получилось, что самому интересно. Михаил расстегнулся совсем и хотел что-то еще рассказывать, но Данилыч его перебил:

— Пенсионный-то, он, может, и пенсионный,— маленькие глазки Данилыча подпрыгнули на Михаила,— а только не слезет с тебя Ухалов, если ты его не стряхнешь! Чо смотришь, я тебе правду говорю, истинную!

Никогда-то от Подземного доброго слова про Ухалова не услышишь, но и прямого нападения Михаил не ожидал и сразу же пожалел, что заехал чаевать, потому что одно дело, когда намеки, а другое — если правду прямо говорят, тут глаза не закроешь на правду, неудобно при свидетеле.

Михаил промолчал, сделал вид, что пропустил мимо ушей. Но Подземный сел с кружечкой напротив и не отступался, глазками подлавливал взгляд Михаила.

Михаил все же отмалчивался и еще рассказал, как он забрал от медведя желочь, без спора отдал ему ее Панфилыч. Теща просила. Михаил и не обещал, но тут случай такой, он сказал, что возьмет желочь, и взял. Надо — бери! У кого не бывает промежду себя в тайге? Таких напарников, наверное, нету, чтобы все в идеале, у иных до ножей-ружей доходит. А на Талом ключе все пока в исключительном спокойствии.

— Хитрый Петро. Людей понимает, такого напарника подобрал, доброго.

— Он мне помог, можно сказать. Зашибал я, он меня в тайгу взял, в обстроенную, видит — парень пропадает.

— Я же знаю. Ты к охотоведу ходил, к Карасеву-то, просился. Он тебе тогда отказал. А почему отказал? Ты не знаешь. Панфилыч ему отсоветовал! Еще, мол, одного пьяницу берем! Я был при этом! А потом и говорит тебе: пойдем, мол, ко мне. Чо глазами моргаешь?

— Не может быть, не верю, и все!

— Чтобы ты ценил его! Чтобы ты из трети поработал год-другой, чтобы благодетелем выглядеть, понял ты? Эх, молодой! Тебя бы любой взял, если ты спросил кого. Хитрый он, как волк, вот что я тебе скажу!

— Ну дак и ладно, что там, я не в обиде. Я и был пьяница, сам заслужил.

— Стучит в грудь на собрании: мы воевали! А кто не воевал? Твой отец воевал, да и погиб, я вон в степи японцев ждал, сусликов ел, хорошо? Другие раненые есть, да не в задницу! Молчат, совесть у них. За что ему все пенки, он вон сколько лет ходит, раненый! Да неужели ты не знаешь, Миша? Обманывает он тебя!

Михаилу деваться было некуда, ему и раньше говори-

ли, что Панфилыч не может без того, чтобы не обмануть напарника, но не было доказательств, а теперь вот Данилыч наводит дело на принцип.

— Это доказать надо. Люди и соврут, чтобы поссорить. С этого начинается в тайге, с разговоров.— Михаил отвел глаза, не мог он в лицо человеку говорить: «Соврут люди, чтобы поссорить!»

У Подземного задрожали синие губы, когда Михаил сказал это.

— Митрий каждую зиму среди сезона приезжает, а ты хоть раз мешки посмотрел? Мясо отвозит? А пушнину он от тебя сокрытую не отвозит?

— Можно и посмотреть, если на принцип.

— Я же тебе буду свидетель,— зашептал Данилыч,— я же буду! Догони Митрия. Самое время разоблачение сделать, подать на него в контору жалобу! Он же увяжется за тобой следующий сезон как пиявка! Ты будешь пластаться, а он из половины полеживать будет! А? Сколь лет он тебя обманывает. Он же перекупщикам пускает, через Митрия, сам-то не хочет, брата заставил. Я же все знаю! Боишься? Да какой же ты мужик после этого?

— Догнать-то не хитро, он в обход пошел. Через хребтик три часа делов, встречь можно выйти. Но за это же...

— Делай, Михаил, сколь можно терпеть? Он же всех напарников грабил, как от Полякова вырвался, тот-то хват был посильнее. Совести у него ни капельки.

— Зачем волку пиджак, по кустам его трепать!

— Только без того уж...

— Без чего «того»?

— Сам понимаешь. Ты парень молодой, сын сирота... Сдержися. Лучше уж миром, тихо, славно, отряхнуться. Сдержися, я тебе буду свидетель. Не попускайся, дело на принцип.

— В том-то и дело, что на принцип идет. Если бы не принцип, на фиг мне ворованные деньги! Сходят люди с ума от денег, ничего не понимаю! Вот нисколь не понимаю. Их вот миллион будь, а дорогого на них не купишь!

— Молодой ты, Миша! Деньги — это деньги, в них ба-а-альшая сила! Да ты пей, не торопись. Под горячую руку такие дела не делаются. Ты посиди. Он пока там по реке идет. Тебе же раз — и выскочишь ему встречь. Он-то, Митрий, безответный парень. С братом они не живут, нет, не живут. Родную-то кровь обворовывать смысла нет.

Я так думаю, он из-за этого и Митрия к себе не берет, разве от брата украдешь? Тут и у Петра не хватит совести, какая она у него ни есть черная.

— Если нету у Митрия пушнины?

— Крест святой! А дело, между прочим, и товарищеское. Чем, мол, подозрения, лучше проверить. Точнее счет — крепче дружба.

— Дело-то на принцип, хочешь не хочешь, а лезь, разгребай.

— Один только принцип, правильно говоришь.

— А у тебя, Ефим Данилыч, видно, желтый зуб на него!

— Много он себе позволяет, вот что. Я все молчал. Я его давно мог бы посадить, он у меня вот где,— Данилыч показал в середину своей неожиданно крепкой и крупной, как лопата, ладони и сжал корявые пальцы.— Понял? Я часу ждал. Мы Подземные, мы и подождать можем. Соболей забирай, мне покажешь, я свидетель буду. Только ума не потеряй. Не советую.

— Дело не в соболях, интересно, как он мне в глаза смотреть будет!

4

Михаил выскочил из барака, привязал лыжи, махнул стоявшему на крыльце Данилычу и, кликнув собак, сразу взял в хребет.

Данилыч с радостью и нарастающим беспокойством проводил его взглядом до самых елок и заскочил с мороза в тепло, ждать. Он хотел попить чаю, но чай не пошел. Быстро соображая, Данилыч решил, имея в запасе верных шесть часов до самого вечера, слетать и посмотреть еще один штабель орехов, чтобы к решающей минуте быть готовым смотаться из тайги в Задуваево, чтобы не видеть Панфилыча. Заседлал кобылу и поехал.

Штабель оказался в полном порядке.

На обратном пути Данилыч, уже успокоившись на свежем воздухе, подумывал, что вот неплохо было бы для полноты счастья добыть соболька да привезти его домой, удивить Домаху ловкостью и молодечеством.

И не успел он это подумать, как недалеко совсем залаял Бурхало. Лаял Бурхало азартно, скорее всего на белку, потому что на глухаря особенно не раскричишься,

он и улетит, не долго думая, от излишнего собачьего беспокойства.

Данилыч быстро свалился с кобылы, привязал ее символически, бросив повод на куст, и полез по глубокому уже снегу на собачий голос, стараясь не порвать сапоги.

Шапка сообразила, что идет охота, и умчалась по следу Бурхало. Тогда уж и Гавлет, опасливо обегая хозяина по целине, тоже пристроился и побежал за Шапкой.

В вершинке лаяли собаки уже на два голоса, Бурхало и Шапка. Гавлет голоса не подавал. Запыхался Данилыч, замучился, желудок от трясения заныл, закрутился, пришлось тут же присесть.

Недалеко было идти, но едва-едва добрался Данилыч, пот лил с него ручьями, руки тряслись, ноги дрожали.

В середине елки мелькнул светленький соболек.

Соболек еще раз мелькнул и опять пропал. Бурхало бегал вокруг дерева, находил глазами соболя и показывал его хозяину. Шапка лаяла просто вверх, а Гавлет сидел в стороне и подергивался от волнения, все порывался что-то сделать — то ли устроить драку с Бурхалом, то ли самому залиться лаем; причины возбуждения, охватившего его спутников, он не понимал, вертелся среди шума и гама и совершенно растерялся.

Данилыч, благо патронов у него был полон патронташ, стал стрелять вверх, стараясь выпугнуть соболя на видное место. С елки летели отсеченные лапки, желтенькие шишки и снег легкой пыльцой. Соболь еще пару раз мелькнул, и Данилыч оба раза промазал по нему, а на третий раз показался соболь в развилке, и тогда Данилыч саданул по нему глухариным зарядом нолевки. Соболь повис на самом конце широкой лапы не очень высоко над землей, можно было перебить ветку выстрелом, но можно было найти сушинку и дотянуться и стряхнуть. Данилыч полез с топором в чащу искать сушинку, подходящую по длине, и вдруг услышал отчаянную свару за спиной.

Гавлет и Бурхало катались в глубоком снегу, тонули в нем, топили друг друга, а Шапка тем временем оттаскивала в сторону разорванного кобелями соболя, который упал с ветки, сброшенный судорогами агонии.

Шапка громко взвизгивала и тоже рвала соболя, придерживая его лапой.

Услышав нечеловеческий крик хозяина, Гавлет бросился в сторону, завяз в снегу и ушел под елки. Шапка уронила соболя и отбежала от него. Полузадушенный рыжим соперником, Бурхало добрел до соболя и лег рядом с ним в снег, показывая всем видом, что он готов до смерти отстаивать свою добычу.

Данилыч поднял разорванного до кишок соболя, положил его в карман и, приняв твердое решение насчет безнадежного Гавлета, пошел по своему следу к лошади.

5

Шапка прибежала на базу с разведкой, пожрала каши и улеглась возле крыльца, когда пришел из лесу Гавлет. Условия существования, при которых его били за то, что он выполнял свою работу честно и самозабвенно, Гавлет не принимал и не понимал, он всю жизнь был верным сторожем, становился смелым гладиатором, когда его стравливали с другими кобелями, охранял дом и семью хозяина, пока однажды не поймали его за обрывок веревки чужие люди и не затянули в самосвал, предварительно ударив несколько раз палкой по носу. Так он попал в тайгу. Потом Гавлет сторожил дом Данилыча и честно тоже отрабатывал свой хлеб.

А теперь Данилыч привел его в эту пустыню, где людей гораздо меньше, чем собак, не говоря уж об отсутствии прекрасного и надежного запаха истинной жизни, исходившего в далеком счастливом прошлом от хлебного фургона возле столовой.

Дверь базы открылась, и оттуда появился хозяин с ружьем в руках.

Гавлет приглядывался к хозяину — сердится хозяин или нет, отгонит от корыта с пищей или нет. Хозяин ничего не сказал, но поднял ружье к плечу.

Гавлет сгорбился и оскалил зубы, шерсть на загривке встала и зашевелилась, он смотрел на хозяина без страха, с бессильной ненавистью.

Гавлет, наверное, понял роковую ошибку, по которой собаки каждого владетеля готовы принять за истинного хозяина.

Рыжую шкуру Данилыч снимал, когда собака немного остыла. Тушку с оскаленными зубами, глазами, как под-

шипниковые шарики, Данилыч оттащил по снегу за барак, где была его свалка и отхожее место. Там ее, мерзлую, неделю расклевывали вороны.

Глава двадцать третья

НЕВОЗМОЖНО СКАЗАТЬ, А НАДО!

1

Тропа, по которой двигался с вьючными лошадьми Митрий, шла низами, была длиннее и легче, а там, где она должна была выходить в хребтик, Михаил и рассчитывал сделать встречу. Бежал Михаил шибко и вспотел, так что ждать Митрия, сидя за елкой, чтобы неожиданно выйти лоб в лоб, как он себе рисовал и планировал, не было возможности. Он быстро замерз и стал ходить по тропе. Идти навстречу — можно было разойтись. Потому он раскинул небольшой кострик.

Над головой неслышно перелетали снегири, мягкие, пушистые медлительные птицы. В клювах у снегирей лопались звонкие музыкальные зернышки. Они шуршали по кустам, неуловимо и легко, как солнечные пятна, и пинькали, будто хотели утешить человека в его заботах.

Михаилу было холодно и у костра, солнечный мороз поджал где-то к тридцати. Михаил как раз закидал костер и только двинулся по тропе, как услышал на подъеме глухой колокольчик, брякавший редко и неравномерно, снежный хруст тяжелого лошадиного хода. Деваться было уже некуда.

Митрий встал как шел, и Маек толкнул его сзади грудью, дернул и испуганно закивал головой, позванивая удилами.

— Ты чо, Михаил?

— Клади, Митрий, ружье. Шевельнесся! Пропадай все, мать вашу в гроб!

— Я в ваши дела не вмешиваюсь,— потерянным голосом сказал Митрий, не двигаясь.

— Раз так, давай с ходу братову пушнину. Дело на принцип.

— Брат за брата не ответчик, Михаил. Глупости не сделай, я не виноват перед тобой.

— Где ворованная пушнина?

— Сверху.— Митрий отошел с дороги из-под коня, положил на тропу ружье и сел, не сметая снег, на валежину. Губы у него прыгали.

— Он когда ее положил? — спросил Михаил, развязывая мешок и доставая связку соболей, завернутых в тряпку.— Возвращался, однако?

— Да нет,— устало сказал Митрий,— ночью и положил.

— Немудро. Значит, на мою совесть рассчитывал — проверять не полезу.

— Говорил я: не надо, Петя, чо тебе не хватает. Спорить с ним бесполезно. Зачем, мол, Михаила обманываешь, он к тебе как к отцу родному... Позор-то, позор-то какой!

— А он?

— Старость, то да се, дескать, его самого всегда обманывали. Ты, дескать, наловишь в этой тайге потом.— Митрий обошел лошадь и встал возле Михаила, не решаясь притронуться к нему протянутой рукой.— Ты на меня не имей, Миша. Виноват я, а ты не имей. У меня на тебя зла нету, макова зерна!

— Да за что на меня-то зло? За что-о? Разве я товарищество нарушил? Продавал кого-нибудь? Разве я воровал когда? Разве я могу в глаза-а врать? В глаза-а? Могу?..

Собаки взволнованно и настороженно вглядывались в людей, готовые вцепиться в Митрия, пытавшегося поймать Михаила за руку и нарушить этим неприкосновенность драгоценной для них особы.

— Не кидайся. Садись, ну сядь, ну покурим! Я за себя прошу, не говори дома! За брата не прошу, за себя! У него нету, а у меня дети, Миша, детишки большие, мой младший с твоим Гришкой учится. Нехорошо им будет.

— Нет, вот ты скажи,— Михаил перешел на шепот,— ты скажи, ну вот ты у меня мясо попросил, рыбы, я когда-нибудь отказал? Когда? Нет, ну ты скажи, сказал кто про Мишку Ельменева?

— Михаил, я виноват, вот тебе все мои слова. Виноват, и все. Но с ним разве можно?

— На принцип надо идти, на принцип!

— Ему говорил, он же их в дерьме прячет! Страм какой, стыд! В дерьме!

— Но?

— У Махнова научился. Тот, говорят, тоже тайник

сделал в отхожем месте. Уж никто же не полезет, добрый-то человек. Сверху-то корка, а дупло в валежине, он там мешочек пластиковый, и туда. Он же, братан, поднимал нас, маленькие были. Он хороший, Петька-то, был! К старости осмурел, копит, копит, копит, куда только копит!

Михаил уже не слушал; он обошел лошадей по глубокому снегу, вылез на тропу и так и кинулся вниз по тропе, держа в руке связку с соболями. За ним сбоку вылетели собаки.

Митрий растерянно стоял возле лошадей с потухшей папиросой в зубах.

— Пропадите вы пропадом! Чо я только бабе скажу! — Митрий дернул Майка за повод, и караван двинулся. От злости на опозорившего его старшего брата Митрий завалился на Майка сверху вьюка.

Лошади деваться было некуда, и человечьего голоса у нее не было, а приходилось ей очень тяжело.

2

Михаил ходко шел по лыжне в Талую падь.

На спуске к экспедиционному бараку он остановился. В бараке сидел и ждал его свидетель, Данилыч. Это было зло.

На другом конце пади в зимовье вернулся с охоты Панфилыч. И это было тоже зло. Как бы два капкана для души — что один, что другой.

Он вернулся вверх на полкилометра и путиком пошел в обход экспедиционного барака к зимовью. Он механически осматривал встречавшиеся плашки — пять белок, кедровки, летяги, соболиный хвост,— но не подходил к ним.

Что делать, как поступить, Михаил не знал, но ведь как ни далек был обход, рано или поздно лыжня, попетляв по плашкам, упрется в зимовье, в Панфилыча. Провалились бы они сейчас оба — и Панфилыч, и Данилыч, а с Митрием можно бы договориться.

Вернуть бы назад утро!

Эх, да как же хорошо было бы сейчас! Сидел бы в зимовье, сохатину жарил бы. Не хватило самостоятельности! Не надо было гоняться за Митрием. Не надо было слушать Данилыча, гада хитрого, черт с ним, с принципом! Один сезон потерпеть, последний раз!

Нужно было что-то спланировать, додумать.

«Ты не простынь, Миша! — вспомнилось.— Ты не простынь, Миша, ладно?» — сказал Панфилыч добрым голосом.

Изумлялся Михаил наглости. Ведь четыре года обворовывал, эксплуатировал, а теперь конец подходит сроку. «Миша, ты не простынь!» Или еще: мол, как ты без меня будешь? Ох, обманут люди! А сам-то, сам! Ох, двуличный! Сила есть врать в глаза один на один. А ведь не сказал ему ни разу в ответ: «Врешь, падло! Вижу тебя насквозь, предатель! Подлизываешься, дерьмо, чтобы не пахло! Чуешь, край пришел!»

Невозможно сказать, а надо!

Набраться наглости и сказать: ты чо же, мол, дурочку из меня строишь? Знает, что наглости у меня не хватает, пользуется. На глазах положил! Знает, что не полезу проверять вьюка, на глазах положил ворованных соболей, спокойно! И в лес ушел!

Робость какая-то перед обманом, перед злом. Не страх, а что-то другое. На войне не струсил бы, нет! Здесь наши, там враги, ну и попер встречь, нож на нож, чья возьмет!

Секрет какой-то! Как во сне: руку поднимешь ударить, а она как тряпка. Так и тут, хочешь ответить, а язык говорит другое: «Не простужусь, мне от печки тепло!»

Характер такой, бабский! Закрыть глаза и не видеть, и не слышать! Панфилычу не стыдно, что врет нагло, седой, а Мишке стыдно. Мишка ж и отворачивается. А тот успевает шарить! Я его на дерьме поймал, и мне же стыдно за человека! Он виноват, а я же мучаюсь! Да что же это такое?! Как наговор! Хоть закрыв глаза, но разорвать, распеленаться! Подземный тоже ждет, с паутинкой тоже!

Нет уж, без вас, без вашей же помощи, сам обойдусь!

3

Положение было безвыходное, тоскливое.

Михаил буровил по целику, заваливался в колодины, натыкался на кусты в обступившей его темноте. Но как ни вертись и сколько ни броди тут, а придется идти в зимовье.

Собаки где-то работали, Михаил слышал сквозь туман, застилавший глаза: наверное, держали где-то соболя. Саян прибегал, повертелся, не понял хозяина и ушел, теперь они вернулись оба. Они догнали его и легли у ног, уставши от бесполезных погонь.

«Ты ково делаш-то? — казалось, спрашивали собаки, сбитые с толку.— Ты чо тут буровишь по темноте, мы там работаем, а ты ерундой занимаешься! Ты чо тут потерял?»

От этого немого вопроса, исходившего от собак, недоуменно забегавших ему на путь, Михаил встряхнулся, быстро пошел через темный уже лес к лыжне, быстро и решительно кинулся по спуску, ловко направляя полет свой раскачкой туловища.

Ничего нового он не придумал, кроме того, что скажет сначала.

А скажет он напарнику-предателю так: «Вот, мол, поймал соболей! Пушнину принес!» Что ему ответит Панфилыч, как будет крутить, оправдываться, вывертываться, отрекаться? Или по ряшке дать старому вору? Выбросить в снег! Два свидетеля есть, Подземный и Митрий,— смотри, мол, встану на собрании, соболей подниму: «Люди добрые! Передовой наш охотник Ухалов чем занимается! Седая голова! Стыд-то какой!» Или наоборот поступить: спрятать этих соболей, помалкивать, из-за угла наблюдать за напарником, как он будет на свету ходить, не подозревая?

Характера не хватит на такое шпионство.

Только он скажет: «Ты не простудись, Миша!» Или что подобное. «А я, мол, не простужусь, соболей от тебя не утаивал, не воровал, что же мне простуживаться! Старый ты вор!» И по ряшке дать!

Лыжи Панфилыча стояли прислоненные к зимовью.

В зимовье горела лампа. Михаил нагнулся отвязывать лыжи, из дровяника выскочил Удар и облизал ему все лицо.

Михаил и не заметил.

4

Так и шагнул Михаил в зимовье, держа в руке связку ворованных соболей, с которыми полдня шарахался по тайге как полоумный. Он швырнул соболей через голову

удивленного Панфилыча, стоявшего на коленях у печки и разводившего в ней огонь. Панфилыч слышал, что кто-то подошел, и ждал, кто войдет, предчувствуя недоброе, понимая, что собаки не лают, значит, это почему-то вернулся Михаил. От этого «почему-то» и не распрямился Панфилыч.

— Ты чо, паря? — строго спросил Панфилыч, глядя снизу.— Двери-то закрывать кто будет? Ночевать не собираисся?

— Пушнину вон принес. Соболей поймал, аж одиннадцать штук зараз!

Панфилыч покряхтывая встал, притянул дверь за ручку и только тогда повернулся на свет склоненным лицом.

На нарах лежала связка соболей.

— Ну дак чо? — Панфилыч внимательно посмотрел на соболей, но в руки не взял.

— Ничо. Поймал, говорю, соболей,— задохнулся Михаил.

— Поймал, и ладно.

— Дак чо делать-то будем?

Панфилыч замолчал совсем и не отвечал, и будто не слышал ничего. Он возился с ужином, ходил за водой, рубил на пороге сохатину, заваривал чай, оттаивал буханку хлеба, насадив ее на гвоздик горбушкой возле раскаленной трубы, поставил миски две, и ложки две положил, потом накрыл крышкой кипевшее и плевавшееся салом мясо на сковороде, слил лапшу через порог, открывал дверь зимовья, когда становилось жарко, закрывал ее снова, когда становилось холодно, намесил в тазике собакам, но ничего не говорил и не смотрел на Михаила и на соболей, лежавших на нарах.

Михаил чувствовал себя немного в дураках, но и сам тоже оттягивал решительный разговор, и ничего ему не оставалось, как взять ложку и начать есть лапшу с мясом, которой навалил ему Панфилыч здоровую гору.

— Мало вам все, Панфилыч?

Панфилыч медведем навис над миской и глаз не поднимал, но между прочим, садясь за стол, соболей как ни в чем не бывало взял и сунул в мешок, что можно было понимать как предложение пустить неукравшихся соболей в общий котел.

5

Михаил закурил, но со злостью, которая накапливалась в нем от презрительного молчания напарника и не находила выхода, он даже не чувствовал вкуса табака.

Панфилыч маячил по зимовью, полоскал недопитым чаем миски, ложки, даже подмел полы голиком и перебрал свою постель. Он раздевался спать уже.

Как ничем ничего!

— Что ж, так и будем в молчанку играть? — крикнул Михаил и сел на своих нарах.

— Не об чем нам с тобой разговаривать! — Панфилыч повернулся к Михаилу, придерживая руками полуспущенные штаны. По голосу было понятно, что молчание его не было молчанием виноватого и придавленного виной предателя, а было презрительным молчанием пойманного вора.— Щенок ты против меня, понял, нет?

Близко наклонившаяся к Михаилу голова Панфилыча презрительно кивнула, и кивнула с потолка по стенам мягкой неслышной птицей огромная тень головы.

Михаил сильно ударил в закрытое тенью лицо напарника.

Панфилыч тяжело охнул и грузно сел на пол между нарами и столом.

Он долго сидел там. Потом из темноты поднялась правая рука, ухватилась за угол стола, левая оперлась на нары, правая отпустила стол и закрыла поднявшееся над столом на солярный свет лампы окровавленное лицо, в эту руку Панфилыч быстро проговорил то, что непонятно бубнил под столом:

— За-ради Паны, хватит! За-ради Паны, Миша!

Неожиданные слова эти как холодной водой окатили Михаила; судорога, охватившая все тело, обмякла, отпустила, кулаки разжались, он заскрипел зубами и завалился на свои нары лицом к стене.

Ночью Панфилыч ходил на улицу, прикладывал к опухшему лицу снег. Зимовье простыло, он хотел подтопить печку, а присел на корточки, и голова у него закружилась, и он опустился на пол.

Михаил просыпался и наблюдал за напарником. Под утро Михаил сам встал и растопил печку и посидел над ней с папиросой. Панфилыч, по всей видимости, спал, но вдруг сказал неожиданно:

— Уж ты меня доли не лишай. Не доли меня, Миша. Было между нами, а пенсию мне все же надо получить.

— Кто вашу пенсию трогает, хоть все на себя напишите. Мне не жалко. Пенсию государство всем дает: и который человек, и который двуличный. Я-то доносить не пойду, а вот другие — не знаю. На собраниях выступали — судить воров, которые на черный рынок пушнину продают, а сами?! Всех обманывали, просто всех! Государство обманывали, напарников обманывали!

— Кто другие-то, Миша? — слабым голосом спросил Панфилыч.— Митрий все же брательник. Кто еще-то?

— Кто-о! От кого-то же я узнал, как вы думаете? Уважал я Петра Панфилыча! Не слушал, что мне добры люди говорили, отмахивался. Не мне вас учить, а нету ума. Нету. Соболя ваши дерьмом пахнут. Я-то, глупый, прихожу с пушниной каждый раз, но, думаю, пускай старый обрадуется, и мне весело, удачу несу! А он-то все смурной да пасмурной, нахохленный! Это что же вам эти соболя стоили? Ни днем солнышка, ни ночью покоя, темнота норная, глядеть все, подглядывать, каждое слово двуличное! Эх, не от ума это, не от ума! Век же свободы не видать! То-то все у вас, как послушаешь, всю жизнь другие люди плохие, только вы хороший! А сами петлю и затянули.

— Не всегда я такой был, Миша. Люди научили.

— Соболей в дерьмо прятать? Научили, нечего сказать! Разве же это люди? Махнов да Поляков! Разве это люди? Князев, говорили, одел, обул, у него не учились? Не-ет, не верю! Это, значит, вы меня научите? Если возьму себе, значит, напарника, то как вы начну его на сахаре обманывать, начну от него долю сокрывать? Задавлюсь на осине, как Июда! Ни в жизнь!

— Погоди, деньги полюбишь. Вон, за Митрием же побежал, другие года не бегал.

— Не из-за денег я побежал,— спокойно ответил Михаил и даже улыбнулся непонятливому напарнику, говорил он сейчас как бы между прочим, все уже перегорело, было в прошлом как будто бы. Он опять точно осознал смысл своего поведения, о котором забывал время от времени со злости.— Не из-за денег! Сделаем проверку совести — берите их себе. Хватит вас на это? Молчит! Я бы из-за этих вонючих соболей два бы шага не сделал!

— Сделал бы, однако!
— Не сделал бы!
— Как не сделал, побежал ведь, догнал! Крови из меня добыл!
— Ничего вы не понимаете, Панфилыч.
— Чо я не понимаю, жизнь прожил.
— Принцип!
— Принципы разные, какой такой?
— Такой.— Печка была алая, Михаил с некоторым удовольствием плюнул на раскаленную жесть.— Очень обыкновенный! Я вот их в печку затолкаю сейчас!

6

Зимовье наполнилось жаром до самого низу, до самых холодных углов в нижних венцах. Михаил подбросил еще полешков и полез на нары.

Напарники долго молчали. Михаил уже успокоенно засыпал, когда Панфилыч сказал, в полной уверенности, что напарник слушает и все еще на взводе разговора:

— Принцип я тоже понимаю, да удержаться не могу. Помнишь, я Пане пятьсот рублей давал?
— Давали.
— Марковне обещал, что назад брать не буду. Без отдачи. Она радая была дать денег в вашу семью.
— А ведь взяли.
— Спокою не было, и взял.
— Марковна — душа человек.
— Узнала, что я деньги взял от вас, колесом по избе ходила. Срамила меня: мол, с сына бы ты взял деньги назад, с Павлика, значит, с нашего, если бы живой был? Сверстники же вы. Побил я ее. Себя не переделаешь; можно сказать, болел тогда, месяц черный был. Спокою не было. Потому и взял. С принципом не всякий проживет.
— Ну, вот хочу спросить: а на войне? Ведь воевали же вы, ордена даром не дают. Там тоже принцип, смерть же рядом!
— Другое все дело. Само собой как-то. Вспомнишь — и сам не поймешь. Одиннадцать раз в атаку ходил. Как под расстрел. Товарищей на глазах убивало. Две реки

форсировал под огнем. Не помню, Миша, геройства. Может, и геройство такое. Приказано — значит, иди. Ну, и идешь, норовишь, значит, добежать, чтобы тебя не убило. Не убило тебя — значит, ты и выполнил приказ, огонь ведешь.

— Ну, не сбоку же наступали, с товарищами, выручать, наверное, приходилось?

— Почему сбоку, нет. Там за спину не спрячешься. Нет.

— Ну, вот под огнем товарища выручать,— настаивал Михаил,— приходилось?

— Выручить я его не выручил, а на спине тащил. Ему подвздохи все перебило. Петро, говорит, Петро, мол! Я и потащил его назад, к нашим лодкам. Шамшурин фамилия была. Наш был солдат, пулеметчик. Темно. Я покричал, покричал, еще двое набежало, втроем понесли. У нас на плацдарме-то ничего, под берегом, под высотой, через головы летит все. А на реке столпотворение. Лодки все разбитые, понтоны, народ весь побитый лежит. И Шамшурин наш уже не дышит, спекся бедняга. Зря я его выносил, весь кровью промок. Побежали мы обратно — они к себе, я к себе. Нашел свой порядок, а тут нам жратву подтащили. Ну, я говорю, ребяты, где наша поддержка, всю переправу разбили позади нас. Утром и нас кончат, огонь перенесут. Отрезанные мы, умирать будем. Посидели мы так, поговорили, да и кемарим, утра ждем. Ну, думаю, собираться надо, умирать буду завтра.

— Ну, и собрались умирать?

— Собрался, чего же делать, куда денесся. Ясно помню.

— Ну и что?

— Ничего. Утром наши столько огня дали, что мы пошли вперед как по кладбищу. Так и получилось, что передовые все как огурчики, а вторая линия полегла. Не спрячешься за спиной. Как ни хитри. Судьба там. Выполняй приказ — вот и вся твоя задача. Был и страх, а уж забыл.

— Эх, после такой войны пришли и так живете! Панфилыч?

— А пришел я и вижу — каждый к себе тянет. Павлик умер без меня. Вот тогда-то я спокою и лишился.

— Тыщи на книжке, все мало!

Панфилыч опомнился и замолк.

— Мало денег-то напрятали? — снова спросил Михаил, злобы у него уже совсем не было, даже чувство вины грызло. Старика ударил, солдата.— Мало? Воровать-то пустились на старости лет?

Панфилыч молчал. Михаил снова стал засыпать, когда Панфилыч ответил на вопрос, подумав, видно, первый раз над словами молодого напарника:

— Тут, Михаил, сколь иди, краю нету.

7

Утром они не глядели друг на друга.

Михаил быстро собрался и ушел на дальние свои круга, взяв побольше продуктов.

Подходя к базе Подземного, он приготовился соврать, что никаких соболей не было, он и в глаза не видел, Митрия не догонял. Или догнал, проверил, не нашел, а если сильно будет приставать и ловить на словах, то отправить и эту проехидну куда подальше на том же месте.

С березы против базы еще на подходе Михаила, когда он был в ельничке, слетел ворон. Ворон блеснул крылом и перелетел подальше от человека с ружьем. Потом взлетели еще два.

Михаил подумал, откуда бы это собрались вороны, наверное, Данилыч чего-то накидал. Подойдя ближе, Михаил успокоился. Как и следовало ожидать, база была пустая: дыма не было, дверь была на амбарном замке, не было у стены лошади, и не было же собак!

Из-за базы с заполошным криком, испуганно вихляясь, вылетели две зазевавшиеся сороки. Михаил все же поинтересовался, что за оживление у птиц около базы, сделал несколько шагов с тропы.

На помойке лежала красная собачья тушка.

Ворон на большой высоте делал круг; увидев у падали человека, он сердито крикнул на него, чтобы человек уходил.

Михаил послушался и ушел.

Бежал Подземный от греха, бросил, как говорится, спичку в солому и убежал. Видно, вчера ночью ушел, не дожидаясь Михаила. Понял все и ушел. Окна-то совсем затянуло. Или ночевал да потемну уперся. Где-то, старая лиса, похохатыват!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗИМА

Глава первая

ВСТРЕЧА

1

Так и шла до февраля тяжелая жизнь, малословная, с недомолвками. Михаил старался подольше оставаться на своих кругах, переживал. Хорошо, что не вывез бычка, не надо было много продуктов таскать, рубил его потихоньку, подъедал и переживал.

Панфилыч забросил свой тайник. Он был уверен в том, что Михаил по доброте своей не позволит выступить на собрании, не продаст напарника, но без сомнения было, что тайгу на Талой Панфилычу надо забывать. Да и устал он соображать на этот счет, можно сказать, что даже волноваться об этом перестал. На Данилыча — он, конечно, понял сразу, чья тут работа,— тоже не сердился, да и не вспоминал о нем, попадется под руку — зацепит, не попадется — ладно, пусть живет.

Он впервые за долгое время чувствовал себя если не здоровым, то выздоравливающим в этой отрешенности проигранной войны. Однако, когда во второй половине декабря зашумела колонна автомобилей возле базы — на одну ночь приехали грузчики,— Панфилыч не утерпел и пошел посмотреть на Данилыча.

2

Данилыча на базе не было. Грузчики, все незнакомые какие-то бичи, сказали, что он скоро подъедет на отставшей машине, которая берет сейчас орехи из ближнего штабеля. Утром они все должны были тронуться назад.

Грузчики переживали свежую историю, как они подрались с шоферами других каких-то машин. Шоферы, с которыми они теперь сидели в бараке, слушали и посмеивались. Панфилыч взял предложенного пуншику — чаю с

небольшой дозой водки — и тоже слушал. Он немного отвык от людей, но не сказать чтобы соскучился.

Рассказчик, пожилой грузчик в лисьей безрукавке, с лысиной, блестевшей среди молодых смолистых кудрей, с золотой серьгой в ухе, смуглый, с играющими черными глазами, не только рассказывал, но и показывал в лицах, как на сцене в театре, только смелее и экспрессивнее, чем в театре, потому что у него было условие со зрителями, а канонов не было. Он уже рассказал, как произошла ссора и он ударил шофера, и показал, как шофер этот кубарем улетел на крыло своей машины, а теперь он рассказывал, как шоферы его били, окружив на снегу, как он держался, чтобы не упасть под ноги, но все же упал и никого не смог уцепить с собой из врагов — укрыться, чтобы остальные его не пинали. Он показывал, как он лежит в снегу, окруженный, а никого из грузчиков, теперешних зрителей, не было на подмогу.

Он быстро лег на пол, как дошло дело до этого эпизода, закрыл голову руками, а лицо и грудь локтями, подтянул к груди колени, как это делается в уличных драках, и вертелся на спине, не давая под сапоги почки. Так он катался по полу барака в своей лисьей, вспыхивавшей рыжим безрукавке, спасаясь и закрываясь от воображаемых шоферов, и кричал, мастерски изображал голосом и искренний восторг, и военную хитрость, сквозившую в испуганном крике. «Только не пинайте! Не ногам! Ногам-то не надо! Унутренности! Унутренности. Ребяты, милые, за что? Ой, ой! Убиваете, дураки! Козлы! Одного убивает! Срок будет! Срок будет! Ой, ребята, милые!» Потом он что-то вдруг увидел на воображаемом снегу возле автомобильного колеса, вертанулся под месившими его сапогами, схватил воображаемый ломик, который уронил кто-то из нападавших на него шоферов, схватил его и, сделав с полу прыжок через весь барак, встал в боевую позу: в поднятой пустой руке завороженные зрители ясно могли видеть ломик. Шоферы попрятались в кабинках, грузчик показал, как он метался между машинами, не боясь, что они его собьют с ног бампером, налегал, раскинув руки, на капоты, стучал ломиком по крыльям и дверцам, но не по стеклам — зима все-таки! — ругательски ругая трусов, с такими же ломиками, как у него, попрятавшихся в кабинки, и вызывал их на смертный бой. Потом он изобразил полную победу и радость, когда на подмогу ему прибежали его артельные с лопа-

тами, спасать товарища. Потом он повествовательно дорассказал, как они вели переговоры и договорились с шоферами и вместе поехали в контору разбираться. А теперь вот они работают третий день с другими шоферами, и нравятся друг другу, потому что справедливость прежде всего, а те шофера, без сомнения, были гадюки.

Подошла еще машина.

Данилыч был в городской одежде, в бурках, с полевой сумкой, с документами. Начальник. Он не увидел Панфилыча, сидевшего в тепле, за печкой, в темноте, сел за стол, ему предложили пуншика. Он отказался, подробно объяснил, что только что вышел из больницы. Выпил чистого чаю.

Панфилыч сидел в темноте и с удовольствием смотрел на Данилыча, потом взял рукавицы и шапку и неслышно подошел.

Данилыч сначала не понял, кто это из грузчиков наклонился над ним; он смотрел в документы и что-то переписывал и обозначал крестиками.

— Здорово, Ефимка.

— Петро? Здорово!

Панфилыч наслаждался эффектом, долго и с выражением смотрел в съежившееся от тоски лицо приятеля.

— Съись меня думал? Не вышло. Учти, я тебя своим рукам давить не буду. Сам задависся. Веревку возьми капронову, ты тяжелый, дерьма в тебе много.

— Ты об чем, Петро, не понимаю? Ты об чем? — всколыхнулся Данилыч.

Грузчики и шофера галдели, ругались и хохотали в бараке, и никто не слушал, что говорили между собой эти старики, да и дела им до этих стариков не было.

— Бывайте, мужики,— сказал Панфилыч и вышел на мороз, где резко и приятно с отвычки пахло бензином от крупных сильных автомобилей, черной и преувеличенно большой среди ночи колонной стоявших перед бараком.

Панфилыч постоял у крыльца рядом с машинами, вдыхая запах бензина, но Данилыч не выбежал объясняться. Тогда Панфилыч с чувством уверенности, что он обяза-

тельно ударил бы Ефимку в лицо и уронил бы в снег, и с чувством полного удовлетворения от ловко сказанных слов потихоньку пошел в свой ельник, к зимовью.

3

Данилыч от неожиданного волнения часто бегал на двор, его слабило. Шофера посмеивались между собой, когда он выходил, и ему слышно было, что про него говорили в бараке, но в лицо грузчики не обижали начальника: им нужны были тонно-километры, хорошо закрытые наряды. Данилыч, возвращаясь, болезненно морщился, жаловался на диету, что съел что-то, что кишки не держат, и сразу ложился на живот на свои нары. На нары к Данилычу никто не лег, грузчики как попало разлеглись на полу на брезенте и брезентом же покрылись. Хохотали, толкались, долго не могли угомониться, здоровые-то кони!

С животом у Данилыча действительно было плохо. Он и сам еще не подозревал, до чего плохо обстояло у него дело с животом.

4

Пятого ноября, вернувшись с Талой после истории с Михаилом и украденными соболями, Данилыч ходил к старшей дочери колоть бычка. Шестого он резал своих двух боровков, седьмого и восьмого гуляли, само собой, девятого приехал Костя — он отгулял праздники в городе на расставание с друзьями юности,— и еще три дня гуляли по этому случаю, так что Данилыч после всех этих гулянок попал в больницу в Нижнеталдинск, но скоро вышел оттуда, через пару недель, так как главного врача по кишечнику не было. Не терпелось ему наглядеться на Костика, да и в конторе были дела, решался вопрос о переезде, о закрытии задуваевского участка.

Костик в городе не избаловался, аккуратная прическа, костюмчик, галстук на беленькую рубашку, посмотришь — жених. А он все время так ходит, просто, рубашечки стирает. Ведет себя солидно, помалкивает, не в свое дело не встревает, а уж скажет — отрежет. Заспорили между гостями, кто шведам во втором периоде шайбы положил, ну, разнобой, каждый успоряет. Костя головку наклонил, ска-

зал, да и отошел. Так и оказалось, а чего успорять с дураками. Или сидел, сидел, за занавесочку стал покурить в форточку. Как запоет вдруг откуда ни возьмись Людмила Зыкина! Завертели головами — приемник выключен, что бы это? Поет Зыкина! Засмеялся Костя, занавесочку отодвинул, поклонился. Звукоподражает. Он и Утесовым пел-дышал-сипел, и Магомаевым — ноги расставлял, да и все похоже. Ну, это когда уж немного выпили. Тут друзья заскочили, не усидел Костя, убежал, но вежливо извинился.

Приезжая из конторы, Данилыч каждый раз кидал шапку в угол и пугал Домну. Вздыхал: «Ну, мать, собирайся! В Золотоношу согласие дал. Переводят нас. Все, решение принял, подписал все бумаги». Домна суетилась, переживала.

Данилыч был все-таки худой и больной, плохо помогало и лекарство, которое выпросила у Шарапутовой Домна, какие-то настои из трав, укрепляющие черева. Иногда эти лекарства вдруг отказывали, и он по двенадцать раз на день бегал в уголок. Несмотря на все это, Данилыч жил своими маленькими делами: то унывал на пятачок, то веселился на десять копеек.

В конторе Данилыч нарвался на неприятность. Он, конечно, всем рассказал, кому мог, по большому секрету, что Ухалов ограбил Ельменева на соболя. Слух этот быстро распространился и через бухгалтера дошел до Балая.

Балай-то и спросил Подземного:

— А что, Ефим Данилыч, правду говорят, будто Ухалов соболей на черный рынок пускает, укрывает от напарника и продает?

— Не знаю. Слышал, что-то вышло промеж них в тайге. Брат его Митрий вроде приезжал, медведя, что ли, вывозил, а на обратном пути Панфилыч и сунул ему связку соболей. Не знаю — верить, не знаю — не верить. Передовой ведь охотник!

— Интересно получается, вы не замечаете? Охотники в тайге. Брат на брата не скажет. Откуда эти порочные слухи поползли?

— Не знаю.

— Охотники в тайге,— настойчиво повторил охотовед.— Дмитрий Ухалов старшего брата закладывать не будет, не пойдет же рассказывать, что он его соболя на черный рынок перепродает. Значит... что значит?

— Что значит?
— Значит, четвертый кто-то есть?
— Кто?
— Ну, сосед, например! На базе у него орехи лежат, он и ездил туда проверить, а теперь болтает! Понятно?.. Ефим Данилыч?
— Что?
— Слухи распускать не надо, вот что! Сами друг на друга болтаем, потом получается, что у нас тут один черный рынок действует!
После больницы Данилычу надо было побюллетенить хорошенько, отлежаться, но он в контору ходил наблюдать за развитием дел, и с орехами сам ездил, чтобы проследить. Вот и теперь он совсем не планировал заезжать в Талую, рисковать встретиться с Панфилычем, но машины вдруг пробуксовали, ходом проскочить не удалось, ездка затянулась, и нужно было где-то ночевать, и вот что вышло с Ухаловым-то! Все знает, проехидна! Мишка Ельменев протрепался. Ему добро делал, и он же заложил.
Не надо добро людям делать, они не понимают.

Глава вторая

ДОМОЙ

1

Отошел январь, а к февралю соболь совсем перестал поступать из плашек; стояли морозы, шли снега, да и повыловили его из всей окружности, шубки всего этого населения лежали в мешке. В плашки, утонувшие в снегу в уровень, стали попадаться даже зайцы, два уже задавилось. Зато живее забегали белки, начался у них гон. Панфилыч был убежден, что на будущий год белки будет много. Михаил не соглашался с этим — много взяли здесь нынче.
— А вот посмотришь. Помет дала поздний — это раз!
— Все равно, выдавили мы ее.
— Не беда, правда, что выдавили, ну а соседний-то массив. Да ее давить — больше будет. Ну, на будущий-то год...— Тут Панфилыч осекся.
Будущего года не было, у него не было.

2

В первые дни февраля охотники закрыли все плашки, чтобы оставить белку на развод. Дурная она сейчас, широко бегает. Некоторые браконьеры ловят и весеннюю, передерживают и сдают с первой добычей и перевыполняют план четвертого квартала. Не бог весть какая пенка, а и ее снимут.

В последней плашке, к которой подошел Панфилыч, лежали, братски обнявшись, две сплющенных летяги, два лемурчика, два лупоглазика; слетели, сели, увидели приманку, горяченькие, мягонькие, с цепкими коготками, сердечко по-птичьи колотится, как моторчик. Любопытные, таинственные, сумеречные зверушки.

Одна тронула приманку, рухнула плаха, да и придавила обеих.

Не понравилось Панфилычу; обнялись как-то летяжки, силой неведомой их друг к другу притиснуло, головки накосяк сплющило, глаза вылезли, что-то было пугающее в их последнем смерзшемся объятии.

Можно было бы летяги на приманку, а незачем, кончилась охота.

Панфилыч с тяжелым сердцем вынул летяг и спустил плашку.

Все.

За зиму от тарашетцев знаку никакого не было, только два раза пересекали ухаловскую тайгу чьи-то чужие следы, но к плашкам не подходили, а просто с собакой пронизали участок, да и то, можно предположить, по незнанию местности.

Занастило после солнечных дней, после оттепелей. Самое бы время сходить за лосями, их теперь — только след найти. На лыжах сейчас куда хочешь иди, не провалишься, а лосям — хана. Смысла только нет: не вывезти лося отсюда, а ближе к деревне можно попасться.

Отношения у напарников не налаживались, они и не поминали про случай, а в глаза друг другу не глядели. Михаил переживал больше Панфилыча и сердился на себя за это, на свою слабую душу. Другой на его месте заел бы виноватого, а он сам мучился.

Не как прежде, по-стариковски вопросительно пробормотал однажды Панфилыч, что пора бы вроде собираться, сидеть нечего, промысел закрывается скоро, пустое время настает. Михаил сразу согласился, как и привык всегда соглашаться. Они обошли плашки, позакрывали и двинулись из тайги. По подсчетам, даже округленным, средний план они перевыполнили ровно в два раза. То есть надобность в приписке Панфилычу ельменевской добычи отпала, разговора на эту тему больше не было, да и вообще разговоров было мало, больше слушали приемник. Но и радио пришло к концу — сели батарейки.

Михаил от нечего делать соорудил понягу здоровую и нагрузился как лошадь, а старый рваный рюкзак оставил на балке.

Под большими тюками, обносившиеся, исхудалые охотники, сопровождаемые собаками, тоже исхудавшими, двинулись в муторный длинный глубокоснежный путь по окостеневшей, заваленной снегом по самые крыши тайге.

Собаки сначала бежали впереди, но участок проторенной тропы быстро кончился, и собакам пришлось пристроиться сзади, так что получалась цепочка: Михаил, Панфилыч, Саян, Байкал, Удар.

Зимовье, припертое колом, выстыло за десять часов, а к тому времени, как охотники заночевали на самом хребте, температура зимовья в Теплой пади была на три градуса выше, чем снаружи,— 37 по Цельсию, и ничего не было удивительного, что поллитровая банка с чаем — Панфилыч чай студил, да забыл о нем,— давно уже лопнула.

3

Панфилыч совсем не спал в эту ночь, задремывал, сидя на корточках спиной к огню, просыпался, а когда захотел развернуться — охнул и не смог, и так на карачках и ползал от огня к лежбищу из пихтовых лап, замерзал на этой постели и снова сползал в нестерпимый, но однобокий жар утонувшего в снегу костра.

Утром шли медленнее, чем вчера. Михаил нес часть ухаловского груза. До князевских избушек дошли где-то к часу ночи. Избушки самого Князева, разумеется, давно уже окончательно сгнили, стояли здесь уже третьи или



вторые, во всяком случае избушки, но звались упорно князевскими.

Отночевали славно. Остался последний переход, до Сибирского тракта.

На полдень донесся первый волнообразный звук сирены электровоза с магистрали. Электровоз, давая эту сирену, проносился где-то на подъеме с поворотом, над нижнеталдинским кладбищем.

Михаила всколыхнул этот звук через тупую усталость, давно он его не слышал, в тайге-то, но неизвестно, легче от этого или тяжелее.

Часто теперь доносился звук сирены, магистраль ведь под большой нагрузкой. К вечеру стало видно огоньки фар проносившихся внизу, в долине, лесовозов. В темноте уже вышли на лесовозную дорогу, и пришлось снять лыжи и тащить их на себе. Ноги отвыкли ходить по дороге.

На шоссе им сразу повезло. В Нижнеталдинск почти порожняком ехал знакомый, бывший потребсоюзовский шофер. В потребсоюзе все шоферы переработали: как попадали в затруднение, так туда, до хорошего места перебиться. Он сначала проехал, потом остановился, и охотники, неловко подпрыгивая, побежали к нему, качаясь под тюками.

Пашков едва помещался в узком пространстве между спинкой и рулем. Он закурил, привалив руль огромным брюхом, расстегнутым до майки, сытый, горячий, веселый. Охотники покидали груз и собак в кузов, где лежали два подозрительных мешка килограммов по пятьдесят. В кабине уселись с трудом. Пашков сказал, что везет в Нижнеталдинск брату корову. Вез он ее, странное дело, ночью почему-то. Пашков много говорил, шутил, смеялся.

Панфилыч задремал, не прислушивался к разговору, его охватило бензиновым теплом, и он мутно подумал, погружаясь в дрему от слабости и изношенности, что врет Толстый; известно, какая корова, рога лопатой. Не успел он это додумать, как фары уперлись в его палисадник.

Михаил расталкивал напарника, что-то говорил, чему-то смеялся вместе с шофером, Панфилыч неодобрительно помахал рукой на их веселье. Михаил уже в это время был в кузове, сбросил груз, лыжи, Удара.

Панфилыч понуро и молча оглядывался, ноги едва

держали вареное осевшее грузное тело старика. Михаил уже снова был рядом, что-то говорил, стучал в наглухо заложенные ворота ухаловского дома.

Откликнулась с крыльца Марковна, заохала, загремела заложкой:

— Ты, отец, чо ли?

Панфилыч, ни слова не говоря, прошел мимо Марковны, поднялся на крыльцо, равнодушно посмотрел на сидевшую на половике под столом дочь, прошел в кухню и обессиленно опустился на стул. Калерочка подобралась к отцу, что-то залопотала радостное, на большом лице карлицы блуждала пугающая улыбка.

Марковна возилась в сенях с вещами. В голове у Панфилыча стоял какой-то глухой неразборчивый шум, заурчала машина, ушла, замолкла, а шум остался.

Михаил к теще не поехал. С тестем можно было бы посидеть, но к теще не хотелось. Пашков завез его прямо в промерзшую до льда на углах избу. Пашков был компанейский мужик, когда у него были хороши дела. Сейчас были хороши, он вез браконьерского лося, и следов за ним не было. Он достал бутылку и поставил на стол. Тут они и выпили, в холоде, закусив настроганной ножом мороженой сохатиной, посыпанной солью и перцем.

— Так и живешь, значитца!

— Так и живу, а чо мне? — ответил Михаил.— Сын в интернате да у тещи.

Толстый Пашков уехал.

Михаил натаскал дров, затопил печку и лег спать в одежде и в ичигах, собрав на себя все одеяла, не для кого было раздеваться.

4

На следующий день с обеда стали заходить знакомые и соседи.

Панфилыч был неразговорчив, бутылку не ставил, устало молчал и хмуро говорил уходившим без понятия гостям: бывай, бывай!

Вечером пришел Михаил, в «москвичке» с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в новой синей рубашке под дорогим костюмом, отмытый, выбритый, постриженный, в облаке одеколона.

Напарники посидели над пушниной, почистили, пообтряхивали, порасчесывали. Марковна позашивала кое-где.

Панфилыч понемногу пришел в себя от усталости, но был по-прежнему хмур. Сдавать решили на следующий день. Добыто было много, что называется, за глаза. Столько Панфилыч не приносил в контору с шестьдесят второго года, а уж тогда была у него удача. Видно, напоследки улыбнулось ему охотничье счастье. Михаил же никогда столько не имел.

Связка в одиннадцать соболей так и лежала связанная.

Панфилыч вынул ее из мешка, медленно потянулся за ножом, медленно разрезал бечевку, разбросал соболей по цветам. Михаил и глаз не поднял. Так и смешались роковые соболя с товарищескими, будто ничего и не было.

Панфилыч наметанным глазом оценил соболей, раскладывая их на кучки, и посчитал деньги в уме. Сумма получилась крупная.

Михаил пошутил: что, дескать, получить бы эти деньги разом, а не ждать, пока дадут вторую половину после пушбазы. Панфилыч на это промолчал.

Марковна помнила Митрия — должен бы был приехать, да и за медведя отчитаться. Но Митрий не пришел, душа у него послабже, чем у старшего брата.

Из новостей, которые принес Михаил, было две заметные: одна про то, что где-то на речке Золотоноше два бича напали на охотника и хотели ограбить, а он отбился и одного бича застрелил, а другого два дня выводил из тайги со связанными руками, поморозил и кормил с ложечки. Охотник был золотоношенский, но из каких-то приезжих, по фамилии Сухарев, и вот теперь неизвестно, что будет. Милиция еще не вернулась с места преступления, а оба героя сидят в милиции — и виноватый, и пострадавший; а черт его знает, может, он на них напал, а не они на него.

— Напал, дак не вел бы свидетеля.

— Кто его знает, что у него на уме. Порядок такой в милиции. Преступление надо расследовать.

— Пропал у мужика сезон.

— Спасибо, живой вернулся. Ну, бичи, ну, бичи, занаглели.

Марковна угощала — нажарила, напекла. Панфилыч ел мало, Михаил — повеселее, но водку не трогали ни тот, ни другой.

Вторая история, новости о которой принес Михаил, началась года два тому назад.

Глава третья

БАЛЛАДА ПРО ИРИНУ ПОДШИВАЛОВУ И СЕРЕЖУ ПЫЛИНА

1

Ирка эта проработала приемщицей в Шунгулешском коопзверопромхозе года три, а до этого работала в области на Центральной пушбазе товароведом — техникум кончила; и вдруг приехала в Нижнеталдинск и оформилась приемщицей.

Черноволосая, яркая, навешает на себя побрякушек, бус, стекляшек, но и сама ничего, ноги там, грудь — все, в общем, как говорится, в порядке. А смотрит как-то избочась будто из-за дуги глядит, косится.

Вот именно, с глазами у нее незадача была, один глазок подгулял.

Характер тоже замечается неровный, то наскандалит, завьется, то месяц тихая ходит, как монашка, в землю потупится, платком закутается, бежит из конторы, снежок поскрипывает.

Издали посмотреть — не девка, сказочка.

А у нее все мысли, как оказалось впоследствии, на одном вертелись, на том, что косенькая она.

Сначала-то ее не понимали у нас. Знали про нее мало. Потом стали понимать, ведь ничего не укроешь в маленьком коллективе. На пушбазу наши ездят, там о ней узнали кое-что, да и у нас она себя показала. Гордая была, вот уж точно.

Бабы ее невзлюбили, женщины то есть наши промхозовские, проходу ей не давали: гордая, и все. Бабы ведь как, за мужиков боятся своих. Да и вообще не мода у нас так одеваться, стекляшками увешиваться, ну и прочее, дескать, если с большим дефектом, то мужчине, значит, доступнее. Такое подозрение.

Живет холостая, квартирка отдельная, у Пылиных

снимала зимовье во дворе, на угол-то выходит окошками. Домик маленький, занавесочки веселенькие повесила, огонек горит. Песни, гости. Козе понятно, живет девушка.

Старый друг ее приезжал из города, с женой, говорят, разошелся, увозить Ирку хотел, выгнала она его, нахвасталась бабам: вот, мол, смотрите, косенькая, а вот таких мужиков кидаю как хочу.

Бабы приговор выносят — гулящая, и все. Для наших женщин — это смертный враг.

А она песни поет, окошко моет, выставится с окна, ноги до взводьев открыты, белые: смотрите, дескать, мужики, я хорошая, даром что глазок подгулял.

Ну, жизнь у нее не сладкая была, ведь и на базе работа тяжелая, и начинала она не с цветного меха, а снизу откуда-нибудь, из мехсырьевого, с овчин каких-нибудь, с собак да кошек, потом уж дошла до высоты познания цветной пушнины, соболей там и лисиц. Трудная работа, нездоровая, меховая пыль вредная, румянец от нее появляется, закал такой, или, наоборот, зелень. Потряси-ка пушнину с утра до вечера. Ну а у нас ей вольготнее было, свежий воздух, летом — полная свобода, запирай приемочную, на речку гуляй.

Ну вот.

Запрошлым летом она и уезжает вдруг, вроде в отпуск. Пылинская старуха — старухи, они ведь что, от нечего делать во все щелочки подглядят,— пылинская старуха, значит, и говорит, это потом выясняется, дескать, поехала девка в отпуск в Одессу, дак ты зачем, голубица, платок пуховый с собой берешь, если то есть лето на дворе? Я, говорит старуха-то пылинская, заглянула — вроде нехорошо квартеру оставляет красавица...

Пылина, понятно, смотрела, чтобы у нее панцирную кровать квартирантка не похитила или тумбочку там фанерную. Обшарила все старуха, но новости донесла лишь до колодца.

Официально все идет своим путем.

Получает вдруг наша контора сообщение, да!

Так и так, ваш работник задержана прямо на одесском рынке с соболиной торговлей!

Во как, паря, уголовная история по всем швам!

Чо же она утворяет, Ирка-то! Вышла в Одессе на базар и начала с рук соболиными шкурками торговать. За-

бирают ее, приводят в гостиницу, а у нее в чемодане соболя, не только в сумке.

Судили ее здесь.

Спрашивается — как ты насмелилась украсти государственный монопольный товар? Как ты исхитрилась глаза отвести и пятьдесят шкурок соболиных взять себе и чтобы отчеты сдаточных ведомостей с квитанциями тика в тику? Это же ни один человек не сможет! А я вам скажу, украсть соболей в промхозе — трудная штука, с умом если, если то есть не ломать решетки, не разбирать стены, не убивать сторожей. И вот, девчонка, можно сказать, перед нашими-то зубрами делает такое дело!

Объяснила она: первый год думала, ловчилась, на второй и третий придумала, сделала перебирковку, туда, сюда, сумела.

Ладно, понимаем. Но, значит, ты сразу имела в мыслях, как приехала к нам из города,— воровать?

Имела, отвечает, решилась украсти соболей, потому и приехала в промхоз. Всю правду говорит на себя.

Почему же ты на Центральной базе не украла?

Нету возможности!

Оно и действительно, на пушбазе не украдешь. То есть был, говорят, случай, украл один студент техникумовский практикант, горностаев сорок штук, ну и попался. Он, глупый, понес их сдавать тут же прямо. Там его спрашивают, где, мол, таких горностайчиков отловили? Да вот, мол, в области, рядом, мол, и отловили. Выписывает ему приемщик квитанцию, дает немного денег, а больше нету, говорит, на грех касса пустая, утречком забегайте, получите остальные. Студент приходит, а его ждет милиционер! Забрали, спрашивают — ты зачем горностаев с пушбазы украл? Да вот, интересно показалось, неужели не украду, не сумею? Суметь-то сумел. Два года условно дали, мальчишка, глупый. Как приемщик-то понял, что они ворованные? Да как не понять, он с виду весь белый, горностай, а специалисту видно, что это, допустим, местный, этот алтайский, этот еще откуда-нибудь. Тот горностай был якутский, мальчишка пачку самого хорошего выбрал и понес. Наш-то помельче, и качеством не тот. Видно, смотрел, смотрел на охрану, дай, думает, украду, обведу их всех! Мальчишество, и больше ничего.

Ну, а Ирка держала эту черную мысль неотступно.

Бабы рады: преступница изобличена и перед народным судом. Праздник у них, ахают, возмущаются.

Ладно, судья спрашивает, зачем вам так много денег надо было? Если вы теперь за них на столько лет свободы лишаетесь?

Заплакала наша гордая Ирина, пальчики на обгородочке ломает, молчит. Судья налегает, видит, раскололась девка, заплакала, настаивает: объясните смысл ваших поступков! Мы все вам добра желаем, советские же люди!

И вот что оказывается. За ней ходить-то ходили, любовь крутили, а жениться не разбегались, а она замуж хотела, чтобы семья там, дети. И пало ей на ум, вычитала где-то в журнале, что есть высокие доктора в Москве, которые ее глаз излечат. Космическая операция, и все! Вообразила она себе и уперлась на этом. Что надо? А деньги! Она увольняется с пушбазы. Правда, ей там друг один помогал правильно жить, мальчишка там был у нее, десятиклассник, стаж зарабатывал, красавец, говорят. Они в любовь играли, а как до ребеночка дошло — мама мальчишки прибегает, панику сеет в рядах, позорит Ирину, сыночка спасает. Увольняется она и с одной мыслью едет к нам, у нас место было, ей известно через наших сдатчиков. И ведь продумала всю механику, любила мечту и на самом последнем отрезке — осечка!

У нее был такой план: продать соболей, сразу в Москву, к самому лучшему специалисту — муж горняк, дескать, вот вам деньги, еще хотите — найдем, делайте мне глаза! Ведь и придумала, что и муж горняк, кольцо купила обручальное! Сочинила все это у себя в уме. Да. И хотела вернуться ведь. Нет, что вы, никогда бы ни одной копеечки. Я в жизни чужого пальцем не тронула! Мне бы только операцию сделать.

Замуж ей хотелось.

А он-то и так бы на ней женился!

Кто, кто! Сережка-то Пылин! Сказал я, у них она в зимовье жила. Он из города приезжает, в городе как раз был, а тут сообщение, дескать, вот, Ирку поймали в Одессе. Мать, пылинская-то старуха, на Сережку. Варначку, мол, хотел в дом привести! Я ли тебе не говорила, я ли тебя не упрашивала, а ты дурак-дурак! На Сереже лица нету.

Суд-то осенью уже был. Он после суда сразу мотанул в тайгу и до весны там сидел, переживал. Главное — далась ей эта косина, он ее и так любил до смерти, а она

же его и мучила. То обнадежит, то откажет, из горячего в студеное. Пришел он туда к ней, под стражу-то, она и говорит: Сережа, ты ли, мол? Я думала, кто другой. Зачем ты пришел ко мне? Позориться? Я, говорит Сережа-то, я, мол, пришел. Чо же ты не путем иделала? Я бы разве тебя такую не взял, разве я, говорит, не просил тебя на коленях замуж, разве я, говорит, тебя, душа моя, не любил? Разве я, говорит, не натаскал бы тебе соболей из лесу?

Заплакали оба; она говорит, не знала, мол, не думала, что ты меня так любишь, очень, мол, надеялась, вернусь из Москвы — и глаза красивые у меня. Скажу тебе: ну, Сережа, теперь не отвертисся, пошли в загс! Любила она его, а которые у нас крутились возле нее, ничего им не выдавалось. Она сразу врезавшись в Сережу была. Ну и парень-то! Разбойник, одним словом, кудри там, рост, сложение, скромный, как девушка. Красивее-то и не было у нас парней.

Запил Сережа Пылин и от запоя убежал в лес.

2

А Ирку повезли, вместо космического кабинета.

Вот про это была вторая новость животрепещущего детективно-судебного характера; такие-то новости, собственно, и считаются за новости, а все остальное — жизнь обычная, заурядная. Принес Михаил известие, что Ирина Подшивалова написала письмо в контору человеку, с которым она могла говорить, механику Мирохину Павлу Егорычу. Мирохин был парторгом к тому же. Павел, мол, Егорыч, пишет вам и всему нашему коллективу Ирина Подшивалова. Просит помощи доверием, чтобы промхоз написал бумагу, взял бы на поруки. Она себя хорошо показала в заключении, и ей предложили: если промхоз возьмет ее на поруки, сей же час отпустим тебя по просьбе коллектива. Сижу, пишет, с нехорошими женщинами, очень тоскую здесь, стараюсь заслужить прощение примерным трудом, но жизнь здесь плохая, помогите, и я оправдаю ваше доверие. Павел Егорыч туда-сюда, сначала по одному убеждал, агитировал, потом местком собрал: давайте, товарищи, поможем Подшиваловой, оступился человек!

Не тут-то было, все женщины против. Гордая была —

вот и все. Хоть им кол на голове теши. Да ведь Сережка-то Пылин! Нет и нет! Сережка, мол, себе порядочную найдет, перемелется, и ему же будет лучше.

— Ох, бабы, бабы,— вздохнула Марковна,— вот уж соперницы!

— Все ей припомнили, с кем не поздоровалась, когда без очереди залезла, с кем поссорилась, что бусы носила, все припомнили. Павел Егорыч им грозится: сейчас, мол, вы рассуждаете из-за бабских мелочей, а совесть у вас есть? Вы семейные женщины, матери, невесты, а у нее никого нету! А вдруг с вами что-нибудь случится, а коллектив отвернется? Бабы его чуть не поцарапали. Он ведь безответный, Мирохин-то, добрый. Ждали Сережку Пылина, мол, попросит женщин, смилуются. А он все в тайге сидит сиднем, не вылазит. Решился парень!

— Так и не подписали? — спросил Панфилыч, заведомо качая головой.

— Не подписали. Гордая была, нас не уважала. Сережу Пылина пожалейте, женщины, Павел Егорыч обращается. Они ему: ты, мол, Сережу не жалей, ты Сережину мать пожалей, сыночку, дескать, любовь, а мать такую невестку не хочет, ей слезы. Ну и все, заклевали.

— Возьми-ка свининки, Миша,— Марковна подложила на тарелку Михаила мяса из жаровни, долила рюмку до краев, вздыхая о судьбе Ирины Подшиваловой и Сережи Пылина. У нее и слеза пробежала по мягкой дряблой щеке. Любила Марковна, чтоб Миша Ельменев приходил в гости, любила угостить его вкусным, посидеть вместе за столом, любуясь на отдаленное подобие воображаемой семьи.

— Гришу-то повидал, нет ли? — спросила Марковна.

— Сбор у них какой-то математический. Говорит — завтра приходи, батя. Шустрый он по математике да по физике. Я учился, всегда по математике списывал ответы, а он, говорят, институтские задачи решает.— Михаил похвастался и примолк, потому что сам-то не особенно верил, Гришка все-таки, если бы кто другой.— Отец, можно сказать, соскучал об ем, а он — завтра приходи, батя. Посидел я там, посидел, задачи решают, все неизвестные!

— Ох уж эта наука, все-то детство у них отымат,— согласно кивала Марковна.

— Мы все в лес за зайцами да рыбу глушить или по ягоды. Я ему говорю: мол, давай отпрошу тебя на несколько дней, из ружья постреляешь. Помню я-то, у нас любимое дело было казенку править — бегать от уроков, вот, думаю, самый раз сынишке улестить, а он говорит, что, мол, подготовка к этой математике, оркестр струнный, пьесу ставят, пляски там народные. Заводной, вертит там всякие дела. Завтра звал вечером, послезавтра вечером, а на воскресенье обещал домой прибежать.

— Совремённые дети,— сказал Панфилыч.

— Умок-то у них слабенький, разве можно тяжелые задачи заставлять решать? Как бы плохо не отразилось...

— Ну, там знают,— хмуро перебил Панфилыч Марковну и посмотрел на часы. Его тянуло в сон.

Михаил сразу же вскочил, попрощался и ушел.

В сенях Марковна шепнула, чтобы Михаил в воскресенье заходил бы с Гришей, настряпает домашнего. Михаилу неудобно было перед доброй старухой, кивнул головой для отвода глаз. Ничего-то, Марковна, ты не знаешь, подумал, ничего-то ты, бедная женщина, не знаешь про своего мужика.

3

После сдачи пушнины напарники при народе походили вместе, посидели в чайной, поставили угощение подвернувшимся знакомым, выпили сами красного вина для блезиру, а сумерками разошлись в разные стороны: Панфилыч — домой, Михаил — в интернат к сыну.

Панфилыч нет-нет да и взматывал головой, поминал охотоведа нехорошими словами. Балай, встретившийся им у конторы днем, так прямо и намекал Панфилычу на пенсию. Шутки шутками, а ясно-понятно. История с неукравшимися соболями была уже известна. Постарался Данилыч, видно, и до охотоведа дошло, но тот ни словом не проговорился, ловкий мужик, без скандалу хочет спровадить: не славно, если дело на штатного охотника по торговле на черном рынке пойдет.

Своим совместным сидением в чайной Михаил как мог оправдал напарника — вот, мол, сидим вместе после промысла, ничего не было. Ну, а на каждый роток не накинешь платок, намеками все же давали понять, что знают, а прямо никто ничего.

Глава четвертая

В ИНТЕРНАТЕ

1

Когда Михаил, нагруженный кульками с конфетами, пряниками, грецкими орехами и двумя коробками зефиру, забрался по обледенелому крыльцу интерната, в сени мимо него в полутьме шустренько прошмыгнул маленький мальчик и побежал дальше по ярко освещенному коридору, время от времени останавливаясь, застегивая штанишки и крича:

— Гришка! Гришк! Батя приволокся! Гришка!

— Ты зачем кричишь? — поймала мальчика за шиворот толстая девочка с полотенцем.

Мальчик повертелся у нее в руках, затих и пошел шагом, потом вырвался и дерзко крикнул девочке:

— Отвали!

— Здорово, батя,— сказал Гриша и протянул отцу руку.

— Деньги вот получил,— передавая гостинцы, оправдывался Михаил.

Такой уж был взгляд у Гришки — ласковый, но насмешливый, Пану напоминал.

От отца пахло портвейном и мускатным орехом — целый орех изгрыз Михаил, но сына не проведешь.

Гостинцы отнесли на кровать. Михаил суетился, угощал, но товарищи Гришкины не налетали (как это было бы в Михайловом детстве — гужеваться) — взяли по конфетке, по прянику после настойчивых уговоров, да тут же и вышли из спальни, чтобы оставить отца с сыном наедине.

Гришка спрашивал про медведя: дошло до интерната через Петьку Ухалова, интересно мальчишкам. Михаил рассказал, как было дело, не хвастался, а так, между прочим рассказал.

Договаривались насчет воскресенья. Нужно было вместе сходить к теще, Гришкиным бабке и деду, в кино, в магазин за бельем, рубашками и штанами. Разговор как-то шел вкривь и вкось — отец и сильно повзрослевший сын боялись задеть друг друга воспоминанием о матери. Михаил наконец собрался с духом, сказал, что тесть с тещей тоже собираются в воскресенье на кладбище, но сам

он хотел бы сходить вдвоем с Гришкой, и все. Теща начнет плакать, причитать.

Гриша, оказывается, тоже об этом думал, сказал, что можно бы и без деда с бабкой, но все-таки лучше потерпеть, а то им будет обидно. Так он здраво рассудил, что Михаил почувствовал, кроме небольшой обиды, взрослое уважение. Точно рассудил малец. Ну, да они все же ему-то дед да бабка, в обиду не хочет дать стариков своих.

Михаил только хотел погладить Гришку по голове, а тот сам и потянулся. Вскипело у Михаила на сердце.

В дверь спальни постучали, и вошел учитель.

— Здравствуйте, Михаил Григорьевич.

— Здравствуйте.

— С промысла вернулись?

— Вернулся вот.

— Как находите Гришу?

— Подрос вроде, как нахожу. Вот как успевает, как ведет, не набедил ли чего, у вас надо спросить.

— Пройдемте в учительскую? Там сейчас нет никого, поговорим? Ступай, Гриша. Ты уроки сделал?

— Сделал.

— Ступай, мы побеседуем с Михаилом Григорьевичем. Пройдемте, Михаил Григорьевич.

Михаил поежился: уж слишком все — Михаил Григорьевич да Михаил Григорьевич, да и Гришку выслал, значит, что-то есть, сердце у него беспокойно заныло.

— Вы задумывались серьезно о будущем вашего сына? — спросил Эдуард Иннокентиевич Четвергов, круто развернувшись у окна, и воззрился на Михаила Ельменева, послушно стоявшего у двери учительской.

— Малец еще. Школу пусть кончит.

— Стало быть, не задумывались.

— Охотником было бы хорошо,— склонил голову набок Михаил.

— Охотником? Охотником: природа, воздух, простота нравов. Хорошо, но...

Эдуард Иннокентиевич плавным жестом взял стул и, пригласив Михаила сесть на диван, подставил себе стул и сел напротив.

2

Четвергов Эдуард Иннокентиевич (тридцать третьего года рождения, русский, член КПСС с 1968 г., женат, отец двух детей, завуч Нижнеталдинского интерната-десятилетки, преподаватель физики и математики) являлся счастливым человеком и твердо намеревался продержаться таковым до последних дней жизни, потому что тайна и метод счастливой жизни были ему почти доподлинно известны.

После пединститута, куда он попал случайно, дважды срезавшись с университетских физматов, после тяжелого бедного и неинтересного студенчества, после неудачной любви, после неудавшихся попыток заняться научной деятельностью, силою обстоятельств Эдуард Четвергов совершенно неожиданно для городского своего миропонимания оказался преподавателем Маревской средней школы (семьсот километров до областного центра). Там он впервые приостановился в своих метаниях и проработал подряд четыре года «скромным сельским учителем» и полагал, что теперь-то его жизнь окончательно потеряла всякий смысл и значение и битва за нее полностью проиграна.

В Мареве он убедился, путем длительных однообразных размышлений, что среди имен ряда Эйнштейна, Бора, Курчатова, Королева его, Четвергова, никогда не назовут. Тут же среди этих размышлений случилась досадная неприятность, в него влюбилась молоденькая учительница, а он среди своих душевных терзаний не придал этому большого значения, квартирка у него была крошечная, холодная, забитая книгами с великими идеями и описаниями великих открытий, посуды было мало, и всегда она была немытая, рабочий костюм был один, рубашек белых семь, и змееподобный узел студенческих еще галстуков, а в придачу разбитая вдребезги душа неудачника. До любви ли тут было!

В школе отношения у него не складывались, с директором он конфликтовал, остальные же учителя его не поддерживали, хоть и тоже по-своему конфликтовали, школьников он не различал, а любимое его выражение в те времена «серая бездарь» то и дело срывалось с языка. Ему платили тем же, осаждали на педсоветах, громили его учебные планы, даже выносили ему на вид.

Между тем учительница, историк, забеременела и, ни

слова упрека не кинув Четвергову, не дожидаясь, пока всепроникающие школьники напишут на доске: «ЕЛЕНА ПЛЮС ЧЕТВЕР РАВНЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ», исчезла. То есть, уехала, уволившись, из Марева в Нижнеталдинск, откуда была родом, к родителям.

Была в Маревской школе и преподавательница изящной словесности, Анна Сергеевна, пожилая, давно овдовевшая экзальтированная женщина, зачитывавшаяся биографиями актеров и писателей, говорившая о премьерах столичных театров так, будто сама на них побывала, изучавшая со своими классами живопись и архитектуру по репродукциям (это Собор Парижской богоматери, это станция метро «Площадь революции», ряд бронзовых фигур аллегорически передают, и так далее). Маревские школьники с замиранием сердца слушали описание станций метро, Кремля, высотных домов, Казанского собора, Третьяковской галереи, Эрмитажа. Слушали школьники лекции о «Могучей кучке», о «Передвижниках», несколько лекций подряд об импрессионистах, «являвшихся отрицанием застывшего догматизма Салона»...

Анну Сергеевну Четвергов недолюбливал, не любил в ней то, чему не так давно сам отдал богатую дань: студенческие ухватки, не вязавшиеся с деревенским бытом, некоторую браваду, интеллигентский «привкус народничества», хотя более всего не любил он в ней то, что со всеми смешными и слабыми сторонами Анна Сергеевна была излишне чутким человеком и, не совсем правильно понимая коллегу, старалась как-то помочь встать ему на ровные ноги, то есть, другими словами, вроде бы хотела поднимать его до себя, до своего миропонимания...

Эдуард Четвергов не то что не мог встать на ноги, он именно не хотел вставать на ноги в Маревской средней школе, он ноги поджимал, чтоб улететь куда-нибудь в тартарары, чтобы — хуже всего! — не оказаться преуспевающей посредственностью. Где было Анне Сергеевне понять демонизм таких стремлений! Все или ничего!

И тем не менее именно серенькая Анна Сергеевна, сама того не подозревая, поставила угловую точку в падении и развитии Эдуарда Иннокентиевича Четвергова. Бог из машины не погнушался такой скромной оболочки. Она подошла к нему в учительской со сверкающими глазами террористки и сказала, отчетливо выговаривая слова:

— Вы не Печорин! Не воображайте себя «лишним

человеком»! Вы не имеете права презирать! Вы ленивый подлец, и больше ничего! — С этими словами пожилая женщина приподнялась на носках своих чищенных кремом туфелек (туфельки хранились в письменном столе, на работу она приходила, как и все, в резиновых сапогах) и дала своему коллеге легкую театральную пощечину. Стараясь дотянуться до лица, она попала в ухо.

Ухо звенело. В учительской воцарилось гробовое, как считают в таких случаях, молчание.

(— Моне, Мане, Сезанн, Матисс, Ренуар, а дети, наслушавшись, выйдут из школы и побегут по морозу мимо наших сибирских заплотов и амбаров, мимо кривых изб, мимо цементной скульптуры, неизвестно почему названной «Урожайной», мимо бездушных плакатов с каменными лицами условных героев пятилеток?!

— Но пусть знают, что есть Эрмитаж, Пушкинский музей, беломраморные Венеры и Аполлоны, Большой театр!

— А вы не думаете, что они отвернутся с отвращением от своей деревни?

— Не думаю! Да и на каком основании вы хотите закрепостить и ограничить знание, культуру? Как вы смеете? Самую главную двигательную силу прогресса! Похоронить великие, может быть, таланты этих мальчиков и девочек! Я, допустим, допустим, глупая женщина, но, и не будучи большим знатоком искусства, я делаю полезное уже тем, что служу указателем! Вы же, ретроград, душитель, кроме своих личных разочарований, самокопаний и обид ничего не хотите знать! Пусть все катится само собой.

— Ну что я-то задушил! Что я остановил?

— Ретроград, ретроград, душитель, вот!

— Ну, поговори на таком уровне!)

Эдуард Иннокентиевич, тоже довольно театрально, сдержался и сказал с холодной усмешкой (Анна Сергеевна, конечно, уже рыдала, развалив груду тетрадей с сочинениями на столе, влетел кто-то из малышей, его мигом выкинули в коридор и двери закрыли на крючок):

— Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать?

— Он подлец, я вам совершенно точно говорю, я в нем разочаровалась окончательно. Бедная Леночка! Поверить такому мелкотравчатому скептику, такой тряпке! Нет мужества!

Таким вот театрально-романно-старозаветным способом был извещен ничего не подозревавший Четвергов о предстоящем появлении на свет своей первой дочери (сейчас у него их две).

Он успокоил бедную экзальтированную старуху, убедил ее в том, что он действительно ничего не знал сном и духом; в полубреду она опять понесла чепуху о «высоком звании народного учителя»; вежливо простился с коллегами, договорился возле чайной с шофером грузовика и ночью шарахнул в Нижнеталдинск двести километров делать предложение молоденькой учительнице истории Елене Карповне Шеленковой.

Девочка требовала ухода, нужны были бабушки-дедушки, да и освободилось место в Нижнеталдинском интернате. Все произошло само собой, жизнь втянула его, как втягивает порой и самое ленивое бревно молевой сплав, не вода, так соседние бревна с переката столкнут. Не откажешься, если теща — у нее ревматизм рук — попросит разлить свиньям болтушку, да, впрочем, такие мелочи как-то сами собой потеряли негативный смысл и презренное значение.

В Нижнеталдинском интернате Четвергов получил заброшенный восьмой класс. В этой школе все было до смешного похожим на Маревскую, то есть до смешного, была даже своя Анна Сергеевна, то есть, конечно, не Анна Сергеевна, а Серафима Ильинична, тоже одинокая, но помоложе, учительница, тоже поклонница всех муз, но больше налегавшая не на импрессионизм, а на античность и Возрождение, тоже собиравшая репродукции, книги о кино и театре, и живописи, только в ее деятельности большую роль играла направляющая и ограничивающая сила директора школы Ивана Михайловича Кишкина, старого солдата, человека твердого до ограниченности и самозабвения.

Но изменился Эдуард Иннокентиевич, и в этом был весь секрет.

Он и не переродился, не перевоспитался, даже и не воспитался вовсе, а просто оказался под другим углом к жизни, к семье и ученикам. Они почему-то сразу привязались к нему, дали ему кличку «Неделя», даже «Наш Неделя», доверяли ему больше, чем обычно доверяют учителям восьмиклассники, он ходил с ними в походы, отстаивал перед непреклонным директором их интересы, и так постепенно сдвинулся с мели, силы действовали под другим углом, и включился в жизнь на полный ход, иног-

да, впрочем, посмеиваясь над собой, над простотой отгадки, по причине перестраховки.

Однажды он вступил в полемику на высшем уровне, написал возмущенное письмо министру по поводу компанейщины. Пришел циркуляр по сбору металлолома и макулатуры. Премия — поездка в Москву на Выставку. Шансы, когда речь идет о премии, должны быть у участников равны, металлолома же в Нижнеталдинске нет и макулатуры тоже, если не считать огороженную забором территорию специализированного автохозяйства, то и вовсе нет металлолома. В то же время каждый нижнеталдинский школьник нисколько не уступал ни одному из своих сверстников в больших городах по трудовому вкладу: каждый помогает отцу и матери в хозяйстве, на огороде, в сборе орехов, ягод, грибов и лестехсырья.

Директор же доказывал, что это не может считаться общественной работой, не надо путать макулатуру с заготовкой ягод и грибов по приемочным ценам.

Получалось, таким образом, что отцы и матери — это не общество, а где-то там, вне отцов и матерей,— общество, которому надо и приносить пользу сбором металлолома! «Из кого, позвольте, состоит общество? Из бездетных абстрагированных индивидов? А школьники собрали и сдали государству тонны голубицы, черники, смородины, брусники, школьники как один были на покосах, на рыбалках, рубили капусту в дождливые осенние дни, копали картошку, а те, у кого отцы охотники, помогали в таежной работе. Но в Москву они не поедут! А заготовка дров — это общественная работа или нет? Общество отапливается этими дровами?» — запальчиво кричал, сам себе удивляясь, Четвергов.

— Твое счастье, что ты беспартийный, дал бы я тебе прикурить еще по одной линии,— хмуро ответил грудью защищавший циркуляр и в этом видевший свой долг Иван Михайлович.

— Нет,— встрепенулся Четвергов, не веривший, что такая простая идея про общество может быть так грубо недопонята,— это вы у меня прикурите по этой линии!

И начал собирать рекомендации.

Тем временем восьмиклассники последовательно становились девяти- и десятиклассниками, выпускниками. Были среди них всякие: таланты, просто хорошие чистые мальчики и девочки, были куряки, лентяи, бездельники, матерщинники, певцы, художники, танцоры, музыканты,

был среди них математик Вениамин Макандин. Каждый выпуск имел одного, двух героев, на которых сосредоточивалось внимание школы; успехам остальных, конечно, радовались, но за лидеров болели. Нижнеталдинские ребята учились в больших городах, в известных вузах, на каждом выпуске находилось несколько «светлых голов», как называла таких учеников Серафима Ильинична, головы эти пробивали конкурсы в столичных педвузах, медвузах, авиастроительных институтах, военно-морских высших училищах, но Веня Макандин собирался стать физиком-теоретиком! Возможно, набрался он этого в библиотеке Четвергова, среди биографий выдающихся людей, в популярных и специальных книгах, подавивших когда-то, даже отравивших и на длительное время парализовавших самого владельца непостижимостью и высотой идей. Так или иначе, но Четвергов был повинен в этом. Он сразу заметил завидную легкость, с которой математически мыслил Веня Макандин, с какой он цеплялся за каждый новый конец расплетающегося клубка понятий и законов, с какой он усваивал идеи и доказательства и переходил непереходимые, казалось бы, пропасти, зиявшие тут и там в бесконечностях этого сложного абстрактного мира.

Тогда и зародилась у Четвергова надежда — а не перешагнет ли этот толстый застенчивый мальчик таежный тот заветный порог, о который он, Четвергов, так больно два раза запнулся.

Четвергов так волновался за своего ученика, что перед самым отъездом, гуляя с ним по берегу Шунгулеша и отмахиваясь от комаров, вдруг предложил Вене подать в педагогический на физмат, уж там наверняка, ведь не очень важно, какая марка,— в сущности, все зависит от человека. Веня не согласился.

— Вы же меня уважать не будете, Эдуард Иннокентич. Не поступлю — отслужу, снова поеду. Да вы не переживайте, мне бы только сочинение, где два эн написать правильно, запятые я уж расставлю. Коротенькие предложения, и все будет в порядке.

В последних числах августа пришла короткая телеграмма от Вени Макандина Четвергову. Нижнеталдинск имел теперь представителя в темной, космически непонятной науке. Учителя могли праздновать победу, они выучили мальчика, поставили его у лестницы в большую науку, подвели и открыли глаза, ну, а сила, с которой он

будет подниматься, талант,— это уж, видно, от родителей. Николай Макандин фартовый охотник, хоть и выпивает, правду сказать.

Четверо мальчиков поступили в военное училище, Краснознаменное, две девочки — в медицинский в Иркутске, мальчиков постарше забрали в армию, остальные пошли работать — и тоже ничего, делали хоть и не столь блистательные, скромные, но успехи. Плохих не получилось, ни одного!

Небольшое огорчение доставила поспевшая пара: поженились, едва дождавшись аттестатов, но уж тут Четвергов чувствовал себя беспомощным перед неведомой силой. Сколько он ни пытался повлиять, а не смог. Смотрели непонимающими глазами, держались за руки, досидели до последнего звонка и побежали расписываться.

С телеграммой Четвергов явился к директору.

Кишкин занимался хозяйством, вывозил на тачке навоз на огород. Учитель всегда немного презирал директора за ограниченность, за гипертрофированное хозяйство, за свиней, за любовь к выпивке. Кишкин выслушал Четвергова, докурил папиросу и скрылся в доме. Через минуту вышел в новом костюме, сером габардиновом пыльнике и в шляпе, как на Первое мая. Они купили водки и зашли за Серафимой (жена Четвергова не могла оставить детей). Серафима стирала и уже вывешивала свое бельишко, стала хватать его, сырое, прятать от мужчин. Сели в ожидании на венские стульчики, против бесчисленных репродукций. Директор раз десять, а в чужом дому не волен, отводил глаза от обнаженной женщины, лежавшей на спине среди нерусского средневекового пейзажа с итальянской сосной пинией. С Серафимой пошли к Макандиным, те сушили лук и перебирали мелкую, очень рано выкопанную картошку. Заморозки тогда случились ранние.

— Мы тоже выкопали! — сразу сказал Кишкин.

— Товарищи! — возмутился Четвергов.— Телеграмма!

— Вы тоже получили? — ахнули Макандины.— Поступил-таки Венька! А мы думали, пропали деньги на билеты!

Всем было очень весело, и все были счастливы, когда, подвыпив, завели заунывное «Славное море, священный Байкал».

В телеграмме Макандиных кроме сообщения была и просьба о высылке зимних вещей.

— Нынче зима будет ранняя,— гудел Макандин,— крепкие заморозки в августе — раз, второе — утка уже пошла. Верная примета. На севере прижало, того и гляди гусь попрет!

— Да где гусь? Где гусь-то? Москва-то в теплом климате!

— Покупаю Веньке драпово пальто! — гордо сказал Макандин.— Не постою! Утешил родителя!

И выслано было будущему физику-теоретику драповое пальто в талию.

Четвергов остался один и пошел не домой, а на берег Шунгулеша, и там сказал себе, глядя в текущие из бесконечности в бесконечность пласты ночной воды, что он обычный учитель обычной средней школы и теперь ему награда за труд, за честную работу — Веня Макандин учится там, где он сам не смог поучиться. Если бы не Четвергов, то, может, и не поступил бы Веня. А может, Веня будущий Королев или Эйнштейн? Но сначала он его, Четвергова, ученик! Не было горечи в этих мыслях, слова не казались сиротски бедными, как раньше, «обыкновенный учитель», а юношеские мечты-мечтания вспоминались нежно, насмешливо, сентиментально.

3

Вот что, приблизительно, имел в виду Эдуард Иннокентиевич Четвергов, когда подсел на стуле к дивану для разговора с Мишей Ельменевым.

— Ну, если способный,— кивал головой Михаил, благоухающий мускатным орехом, красным портвейном и одеколоном,— пусть учится, я разве против? Я его в тайгу не сманиваю. Так, мечтал, конечно.

— Очень, очень способный мальчик. Мы его не захваливаем, не портим ранней славой, но возлагаем большие надежды.

— Память у него моя. Не буду врать, а с листа запоминал наизусть. Стишок прочитаю и тут же как эхом отдам назад. Гришка тоже может, вы не пробовали? Позвать, заставить?

— Память — это хорошо, но это ведь, знаете, не главное. Он способен математически мыслить.

— Говорят, они, ранние-то, того?..

— Он не вундеркинд, успокойтесь, просто очень способный мальчик и, что очень и очень важно, имеет характер. Вы, наверное, замечали в нем эту способность в достижении цели, мужество?

— Да нет, чо же, плохого не скажу, парнишко ничего.

— Извините, вопрос, конечно, очень интимный, но я должен сказать, мальчик вас очень любит, это надо помнить и... ценить. У него в тумбочке на внутренней стороне дверцы ваша фотография, где вы с покойной женой, я обратил внимание. Мы иногда, знаете, смотрим тумбочки, незаметно. Контролируем. До десятого класса. Взрослые юноши, конечно, освобождаются от такого контроля. Ну вот, я видел. Ведь редкие дети в его возрасте столкнулись с оборотной стороной бытия, а он очень глубоко переживает, но держится как взрослый. Это показатель характера, знаете, вот я о чем.

Михаил особых замечаний по характеру Гришки не делал, ему даже удивительно было слышать, что Гришка имеет характер, но он согласно кивал головой и покраснел слегка.

Вспомнил между прочим, что ни он, ни Пана Гришку не били никогда, случая такого даже не было. Михаил всегда знал, что с Гришкой можно договориться, а уж скажет — сделает, дров там принести, в магазин сбегать, стайку почистить. Настырный, конечно, это тоже есть.

Вскользь как-то прозвучало у Четвергова, что отец — это важнейший пример для мальчика, но не в том смысле, что выпивши в школу пришел, а в том, что, дескать, видно, Миша Ельменев всегда и являлся хорошим примером для Гришки.

Вышли из учительской, шея у Михаила надулась и стала красной. Гриша стоял у батареи с книжкой. Михаил как-то по-новому взглянул на него. Он хотел позвать Гришку жить домой, но теперь подумал, что неинтересно, наверное, Гришке будет: похоже, что уже отрезанный ломоть. Летом разве потащить его в тайгу, там не физика, не математика, там Миша тоже покажет ему кое-что такое, что в книжках не найдешь.

Поговорили еще немного втроем, потом подбежал Петька Ухалов, Гришкин приятель:

— Дядя Миша, дядя Миша! Ну и медведя вы ухань-

кали! Шкура-то на весь амбар! Мы с батей прибивали. Зверина — во! Ходят смотреть, удивляются.

Было что-то в Петьке ухаловское, кругловатое, комочком, щеки, глазки, но такой славный мальчишечка, глядит так открыто, что не подумаешь, что Панфилыч ему дядя и по нему он Петькой назван.

4

Четвергов проводил Михаила Ельменева, но сам остался обойти интернат дежурным обходом. Все было более или менее в порядке. Читали, бегали, жевали пряники, шумели, но на крыльце он поймал Владика Мирохина. Над головой у Владика сияло нимбом облачко пара. Он был без шапки и в пиджачке.

— Ты почему в таком виде? Ты зачем стоишь и простуживаешься? Я тебя спрашиваю?

— Эдуард Иннокентич, без паники. Видите? — Владик нагнул голову и провел рукой по прическе.

— Ничего не вижу. Вижу, что голова у тебя, дурака, мокрая, это вижу.

— Неужели непонятно? Приучиваю волосы назад лежать. Пятый класс, а хожу, понимаешь, как девчонка в челке. Надоело. Васька Шарапутов так три раза заморозил, и у него теперь лежит. И у меня уже полдня лежали!

Четвергов с тревогой вспомнил, что его удивило нынче, да и вчера бросилось в глаза: мальчишки были сильно прилизаны. Четвергов взял Владика за рукав и повел за собой. Он вел его в спальню, легонько подталкивал ладонью костистую детскую спинку в ледяном пиджаке.

Девочки в коридоре похихикивали: «Владька причесался!»

После длинного разговора о том, что одна простуженная носоглотка ослабленная может привести к повальному гриппу, Четвергов пошел домой, но перед уходом занес ключ от учительской кастелянше Ульяне Тимофеевне, бабе Уле. Считалось, что баба Уля внештатный осведомитель директора во всех областях жизни интерната, от педагогики до тряпок. Не любили ее также из-за крикливого, вздорного голоса, раздражавшего с самого утра и до ночи, то там, то здесь, кричала она в коридоре, под окнами во дворе, в столовой, могла войти в класс и сорвать половину урока:

«Это кудай-то мелки-то подевалися? Тут ложила перед уроком. У меня их не мильен!» Учителя приходили в бешенство, школьники реагировали одобрительно.

У бабы Ули на табуретке сидел заплаканный четвероклассник. В этом году в интернате появился и четвертый класс, против чего так безуспешно воевал Четвергов, заранее видевший все трудности этого нововведения. Баба Уля стирала в тазу трусы и рубашку заплаканного мальчика и при этом самыми непедагогическими, даже непечатными словами пилила пристыженного ребенка.

— Уже уходите? — визгливо спросила баба Уля, откидывая с мясистого распаренного лица волосы мыльной рукой.— Горюшка-то нет? Свое отработали?

— Ульяна Тимофеевна! Перемените тон, что вы говорите? Здесь ученик!

— Опрудился твой ученик, эвон! Ты небось не простираш! А я, может, не в няньки нанималась, а в кастелянши?!

Мальчик снова заплакал, опустив повинную голову, а Четвергов повесил ключ на доску и побыстрее ретировался.

— Кажинный день так-то! А? — доносилось со спины.— Побросали своих детей на чужие руки, от слауно-то!

Настроение у Эдуарда Иннокентиевича, угасшее было, вскоре опять поднялось, когда он подумал, что в конечном-то счете ругается баба Уля, а стирает и квохчет над малышами, тут надо только немного перегруппироваться, расширить штат, еще бы двух таких кастелянш, и Нижнеталдинский интернат будет работать и работать.

Глава пятая

ПОВЕСТЬ ПРО ОХОТОВЕДА ФЕДОРА БАЛАЯ

1

Лара пришла звать на обед. Давно так-то не приходила.

— Ждать тебя надо? — Голос был неуверенно злой и неуверенно повелительный.

Балай ответил, спускаясь за ней по лестнице в темном коридоре конторы:

— Правильно, Лара! Лучший способ защиты — нападение!

— Думал, упрашивать буду? Не дождешься. У меня гордость есть!

— А кто из нас сказал — му-у-у?

Она в темноте искала ступеньки, держась за шаткие перила, боялась упасть, но не взяла его протянутую руку. Настолько виноватой она себя не чувствовала. Ну, и пусть запинается.

Зимний свет сладостно ударил по глазам.

Не хотелось, да и нельзя было послушно идти за женой.

— Зайду в приемочную на пару минут,— сказал он ей нерешительно; нужно было, чтобы она еще раз позвала его.

Она махнула рукой и пошла, почти побежала по улице, глубоко вдавливая в плотный грязноватый снег острые каблуки сапог. Обернулась, крикнула:

— Упрашивать не буду!

А в ушах всплыла блоковская строчка из раннего, первокурсного, полного романтики студенчества. Вот тебе и французский каблук, подумал он о себе с нестерпимой жалостью.

Далека была неизящная фигура жены от блоковского идеала, толстые крепкие ноги, широкие плечи ее не вязались с изысканными портретами из волшебных, навсегда ранивших душу стихов.

Но было что-то большее, чем мечта о нечеловечески прекрасных женщинах, иные, сильнее любви, хоть, может быть, и примитивнее, чувства, ранившие больнее,— жалость и родственность. Он опять нашел это, много раз найденное объяснение, и успокоился, огляделся на тихой улице Нижнеталдинска. Куцые, пузырями брюки, старые разбухшие зимние башмаки, мешковатое пальто. Заметил, что косо висит вывеска «Шунгулешский коопзверопромхоз», вспомнил, что он давно все это замечал. А с какой легкостью, может, по праву молодости, полной надежд, отождествлял он себя когда-то с поэтом, а ее с Прекрасной Дамой, Незнакомкой, с героинями любимых романов, поэм. «Татьяна, русская душою... любила русскую зиму...»

Он вспомнит, как читал Ремарка, все его тогда читали, на практике в зимовье в дождик, Хемингуэя — на мельнице в колхозе, его тоже все читали. Мельница работала от стоявшего на улице трактора и производила грубый помол, из овса с мусором получалась дерть. На мельнице тоже читал Блока. Блока читали не все, и не так, как других, любил его Балай. Приятно было сознавать свою любовь к этому поэту. «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук!»

Вывеска промхоза висела по-прежнему косо.

— «Аптека, улица, фонарь»,— сказал охотовед вслух.

Он заметил за собой, что говорит, вслух, что стоит, улыбаясь, против двери приемочной; дверь скрипя и медленно открывается, оттуда выходит кто-то; чувствовал сладость прочитанных стихов на губах и горьковатую приятную жалость к припомнившемуся невзначай мальчику-студенту, подумал только, как и всегда в свое оправдание, что Блок тоже был склонен к игре, к позе, что пил тем не менее ту же водку простую и не однажды, наверное, смотрел с грустью на сносившиеся башмаки, но оставался Блоком. Да и Прекрасная Дама. Про нее тоже кое-что известно...

Ничего, все правильно!

— Здорово-те!

— Здравствуй, Петр Панфилыч. Здоров, Миша! Ну как, отстрелялись?

— Все медали наши, ясное море! — сказал Ельменев, сверкая свежевыбритой улыбкой. От него наносило обильным «шипром». Были очень заметны светлые морщинки на красном обветренном лице, на открытой крепкой шее.

— Ну, поздравляю, поздравляю! С концом сезона! — Охотовед еще отсутствовал, душа его возвращалась на Нижнеталдинскую улицу откуда-то со второго курса. Потом охотовед окончательно пришел в себя, где-то на середине произносимой фразы: хмурый вид Петра Панфилыча Ухалова мог хоть кого привести в чувство, так уж был воплощен в нем будничный сегодняшний день охотоведа Балая.— Ну, провожать будем с самоваром? На пенсию? Право заслуженное! Заслуженный отдых, понимаешь ты мне! Верно, а? Наследнику передашь царство — и на покой! То-то! А? Потрудился, теперь будешь на заслуженном отдыхе...

Это был районный чиновничий говорок, смешливый, демократичный и в то же время дистанционно строгий, намеренно корявый от узости отработанного словесного набора. Так можно было говорить столько, сколько потребует минута. Балай достаточно хорошо освоил этот нехитрый способ общения, он мог уже и думать о чем-нибудь другом при этом, как думается на ходу.

Панфилыч же понимал свое, что это выходят боком те лицензии на северного оленя, которые он так грубо вырвал у охотоведа, и молчал. Это было старое испытанное средство — смолчать. Думал он при этом, что охотовед гнет пенсионную линию и что остается только Тиунова судом травить.

— Что, Петр Панфилыч? Лыжи будем делать, а? Ичиги

шить будем? Народ просит! Помочь родному коллективу, а? Тайги свободной у нас много, погулять с ружьецом, рябчика сшибить. Без план-задания, бурундуков не надо, веники заготавливать не надо — красота! А? Старикам везде у нас почет, а? Ну, на обед я, товарищи, пока, пока, заходите в контору, потолкуем, о промысле поговорим...

Охотовед попрощался и ушел домой, охотники потоптались на улице перед приемочной и пошли в чайную.

Дома все сошло нормально, против ожиданий. Оба выдохлись. Федор поел, почитал газеты, кое-что вслух для проверки, сошло. Он взял с собой свежий «Огонек» и отправился обратно в контору с чувством, что в семье наступило затишье перед примирением, возможно и недолговечным, но долгожданным для обоих.

— Ты не задерживайся! — сказала уходившему мужу Лара.

Это тоже хороший признак в семейной жизни. Зеленый свет. Значит, поживем еще, думал по дороге в контору охотовед, поживем, что же делать.

День был дюжинный, бессодержательный, скорее сотенный; сидел за столом, перебирал бумажки, работы не было, была какая-то грусть, тоска, тяга к каким-то решительным, бесповоротным переменам. Оттого ли, что солнце повернуло на весну, как заметил после обеда бухгалтер Баукин, оттого ли, что так грузно и крепко врезался каблук в плотный грязноватый уличный снег...

2

Жизнь началась где-то в институте, до этого было что-то смазанное, всходившее в памяти зайчиками славных детских картинок. Первое ружье, бедные среднерусские охоты, перепела, зайцы в яблоневых садах, Аксаков, Бутурлин, Арсеньев! Выпускные экзамены. Кто куда? Все на запад — один Федька Балай на восток! Балай в Сибирь едет! В охотоведы! Камень между Европой и Азией! Азия! АЗИАТСКИЙ КОНТИНЕНТ!

Поезд несет, как лиса за дальние леса, за высокие горы Урала. Экзамены, общежитие, английский язык, орнитологический кружок, танцы в 57-й аудитории, контрабас, козьи загоны, махорка, охотоведческие песни, сессии. «Ребятки, поиграем в воскресенье, накормят, напоят!» Забыты и английский, и птицы; и охота никуда не денется.

Все молодое, зеленое, пижонское, умопомрачительные галстуки и драные носки, молодецки пропитые стипендии, хлеб с чаем и чай с хлебом в институтской столовой, друзья, друзья! Я люблю вас, годы молодые! Студенточка, заря вечерняя! Якутия моя, Якутия, та-та-та, снежная красота! Сам стишата сочинял, а какие песни! «На высоких широтах плачу и пою, слезы лью на винтовку зверовую мою! Я как малый ребенок в лес за сказкой пошел, золотой самородок до сих пор не нашел. Никого не осталось, все погибли друзья, ты меня не отыщешь, дорогая моя. Ты меня не отыщешь, ты меня не найдешь, на тунгусских оленях всю тайгу не пройдешь!» Конкретной доро́гой не было, плакали сентиментальными слезами.

Эх, пропала жизнь!

Ничего не пропало. Молодость ушла, вот и вся трагедия. В такие же промхозы приезжал на практику, не терпелось скорее бы кончить, уж мы им покажем, что такое настоящее хозяйствование, елки-палки генотип! Слово «популяция» не знают, работнички! Мы придем!

Давай показывай! Ты ведь знаешь, что такое популяция, и даже знаешь, в популяции ли все дело! Сразу пропала жизнь...

На вечер пригласили библиотечный техникум. Он с эстрады, стоя за своим контрабасом, приглядел Лару. Играли «Караван» Элингтона. Передал контрабас Герке, сошел с эстрады, как бог с облаков. На контрабасе сбоку было написано «Наташа». Была и Наташа еще, как же.

Ребята заиграли чучу — Балай деву наметил — с энтузиазмом.

Рок-н-ролл! Она и танцевать-то не умела, сколько учил ее — чуть не убилась о батарею. Но уж сплясали потом. Аплодисменты!

Круглолицая девочка. Ничего страшного не ожидал, бывали поинтереснее. А Наташа — тоже коварная была девочка, изменница — растаяла. Все растаяло. Женился. У Лары под коленочками было две ложбинки голубых, когда потянулась закладывать дверь шифоньера общежитейского сложенной вчетверо бумажкой. Вскочил, обнял! Счастье-то какое, Лара! Глаза ее растерянные, полуоткрытый рот, грубое, волейбольное, деревенское упорство сильного тела.

Как будто кто-то чужой вошел — зевком разъехался и распахнулся шифоньер, выставив бедное нутро: девичьих платьишек скромный ряд. Просто призналась: да, не девушка.

Ненасытность молодости, ночи в общаге.

Побоку контрабас, отошел от «лабухов» и от компании, стали стипендии складывать вместе. Свадьба была в кафе-пельменной на Багдана Хмельницкого. Толя на стуле спал, собакой, не падал, ходили смотреть, смеялись. Сократ столы переворачивал, ребята играли как сумасшедшие. В последний раз разрешила Лара сыграть и ему. Артистическая карьера кончилась, эстрада не для семейных. Напился от счастья, целовался со всеми, целовал Лару; увидев сквозь туман счастливого хмеля декана, поднял на него указательный палец, как пистолет, и сказал: «Кых!» Декан тоже засмеялся и тоже сделал «кых!». В окна валил морозный пар.

Как сжималось сердце, когда торчал возле техникума, сбежав со своих лекций из института, как торопились на базар. Кошмар! Картошка вздорожала, а капуста? Ты чего, бабка! Это же капуста, капуста, а не ананасы! Обнаглела, старая! Гоношила женушка на присланных жирах, слово откуда-то вернулось, к голодной жизни привязанное с войны. Жиры присылали ее предки из деревни, к ним ездили отъедаться на каникулы; по их болотам, как Тургенев, ходил с какой-то нелепой собачкой. Деревня дивилась на Ларкиного мужа. Этакие сибиряки, чалдоны, гураны. После голодовок быстро заплывал на тещиной кормежке, как бекас. Тогда же и лысеть начал, а желудок еще переваривал жареные гвозди.

Лара после родов неожиданно располнела. Под Красноярском работали — он простым охотоведом, она библиотекарем. Сразу начало пробиваться в ней деревенское, с облегчением разделывалась с городским, сковывавшим. Подавала на стол жареного глухаря в свином сале с картошкой и пропела директору Заболотному что-то вроде «Вы наши отцы, мы ваши дети!». Заболотный ласково улыбался, распоясался, стал хвастать своими возможностями, обещал осчастливить, если они будут знать свое место, уважать, если Федя не полезет в его директорское кресло. Кресла не было, был такой же, как и теперь, ободранный стул. Директор боялся слова «популяция» — бледнел и терялся, свирепел, принимал за подкоп под его начальное образование. Шуметь начал пьяный, криком добивался уважения: молоко на губах, а люди огни и воды прошли, что ты можешь понимать? Крутилось все в глазах. Терпеть не мог этих разговоров: ты работаешь, я работаю, твоя должность, моя должность — какие тут папы и мамы? Ты человек, ну и я человек! Какое тебе дело до молока моей матери, обсохло оно

у меня или нет? Такого папу на фиг! В сенях это выясняли, какая-то свалка, дикий истошный крик Лары, заплакал Женька. Федор бил директора с обеих рук. Так он и выгнал Заболотного на мороз без шубы и шапки. Кричал: «Не сметь! В моем доме! Я глава семьи! Покажу тебе молоко! Вон из моего дома!» Бегал, искал ружье, хотел стрелять. Лара спрятала. Было дело с папой Заболотным.

Но Лара, Лара, как быстро стало в ней отшелушиваться все студенческое, молодое. «Вы наши отцы, мы ваши дети», ведь откуда-то из азиатской древности взяла! А книжки читала, о литературе говорила, и такой варварский средневековый подхалимаж, из-за холодильника. Заболотный обещал достать с базы.

Ну, он тоже хорош! Добыла она где-то стекла на окна, а он сделал аквариум. Так не годится. Аквариум Лара разбила, не было больше аквариумов, наплакалась, хотя, в общем-то, ничего страшного, если в окнах уголки на замазке и гвоздиках отколотые подставлены. Можно ли плакать из-за стекла.

Жизнь была еще молодая, быстро ссорились, быстро мирились. Женька на дыбки становился, ходить начал.

Володя Котятов приезжал с морей, сделал крюк, заехал, старый дружище. Весь в заграншмутье, купальный костюм Ларе подарил, а Федору плавки. Водил их в ресторан четыре вечера подряд, а они с квартального отчета да с премиальных только хаживали, по своим доходам. Володя заказывал коньяк, шампанское. У Ларки блестели глаза. Пудрилась, причесывалась. Володя звал на море в интересную жизнь к большим деньгам. Побоялся, не поехал за журавлем, доил синицу. Володя с глазу на глаз спросил, как насчет того чтобы по девочкам, какие кадры на примете? Кадры, боже мой, в районном центре! Уж лысина на полголовы, да и не приходило в ум, Лара-то, вон какой пирог! Каждая жилочка пышного Лариного тела заставляла трепетать «организм». Трепетал как в студенчестве, хоть, по правде сказать, и здесь уже все изменилось, ушло куда-то в сон, в сердитый шепот, в ссоры, в болезни. За ресторанным столиком Федор распрямился рядом с Володей Котятовым, слышал ветер в крыльях. Встал, попросил внимания. «Прошу поднять тост за моего однокашника, за моего друга, покорителя океанов Владимира Котятова! Альма-матер!»

«Садись, глупый,— прошептала Лара.— Со стыда сгорела, мы же на всем виду, интеллигенция».— «Плевать на них,— сказал Володя Котятов,— это еще не шторм!»

Володя с рудничными инженерами подрался. Привязался по-морскому к чужой невесте, наскандалил и уехал. Ну, правда, подрался лихо, четверых отметелил. Ему-то что, уехал, а Федору жить... Долго гудели в поселке.

Хотелось и Федору уехать на море, ходить в рейсы; бить китов под вой океанского шторма, ухаживать за чернокожими красавицами, и дальше поцелуев с хозяйской дочкой в кладовке не пошел. Да и поцелуи эти, к которым стремилась наивная десятиклассница, боком вышли. Лара узнала, донесли. Тут же как раз скандал произошел с Заболотным, пришлось уезжать.

Забились в глухой горный промхоз, замдиректора начал работать. Природа покоряла красотой дикой, суровой. Собирался осесть там на долгие годы, корову завести, Левиным захотелось. Лара ни в какую — интеллигенция, как же! Прабабки доили, бабка доила, мать доила, сама умею, а не буду, не коровница! Вот и все. Так и жили, с Большой землей связь была по рации. Слушал старые записи на дребезжащем магнитофоне, если напряжение было хорошее. Вспоминались бесконечные танцы, контрабас, друзья, кто сейчас где? Снова спускался с эстрады в лиловом свитере, улыбался ей, еще незнакомой, сказочной, через головы подруг, в будущие года. Шел, извиняясь, раздвигая всех широкими, при небольшом росточке, плечами. Положил руку на талию, небрежно, но и цепенея, окунулся в облачко дешевеньких резких духов.

— У нас так танцуют.

— Ну и что?

— Мы — охотоведы! Охотоведы!

— Ну и что?

— Вы откуда? Культурный фронт? Познакомимся? Федя. Угадаю? Галя?

— Нет.

— Не может быть! Нет! Нэли, Валя, Наташа, нет? Неужели?

— Не угадали.

— Маша, Дуня?

— Неужели я похожа на Дуньку? — Всю жизнь не хотела походить на Дуньку! У нее это была генеральная линия.

— Чем же плохое имя, вы меня обижаете, моя мать Евдокия!

— Лариса,— шепотом попозже,— для друзей Лара...

— Сейчас спокойнее, это блюз. Де-е-лаем очень медленно танго. Вы любите Элингтона?

— А что, вы очень любите американских писателей?

— У вас хорошенькие подружки? Предлагаю компанию на компанию, немножко вина, немножко музыки... Слышите, какая труба? Ларочка!

— Просто Лара.

Ни у кого из друзей ничего страшного не произошло с ее подружками, девчонки как девчонки, обыкновенные. Лара была особенная, чем-то сразу взяла, привязала. Был опасный момент, приехал с практики, сообщили, что появлялся на горизонте один ничтожный пижон, из мединститута, с усиками. Но пронесло. Смехом обошлось. Спокойно покуривал, когда она с ним поболтала на главной улице. Оказалось из перлюстрированных писем подруг, что напрасно полагался на свои силы, напрасно покуривал, покуривать должен был тот пижон с усиками. Не пронесло. Поздно было уже, узнал через семь лет. Все-таки ушел. Куда уйдешь? Сходил на неделю в тайгу, пожил в зимовье в горах, одних рябчиков стрелял, ни к какому зверю подойти не мог, не везло, вернулся, поселился у соседа — механика движка. Неделя тумана, спирт, брага, самогонка, в метели торопливый стук в окно. Пришла, коварная, изменница!

— Женька заболел!

— Врешь, всегда врала, всю жизнь!

— Вызывай вертолет!

И опять сердце полно любви и жалости к ней, похудевшей, измученной, испуганно смотрели снизу ее глаза, в глазах страдание, а ресницы пушистые загибаются. Письма из больницы: «Дорогой, любимый, дролюшка! Прости, не подозревай, ничего не было, истинная правда, походили просто так, целовались, из-за усиков, девчонка еще была, глупая. Верь мне, всегда твоя, верная. Женька растет, Женечка, Женечек. Похудел, но поправился почти. Вчера смеялся. Спрашивает, где папка. Папка нас ждет? Без тебя как жить будем? Окна заклей, дует на кровать, я сейчас поняла. После купания на него дуло на горяченького. Как я ему в глаза посмотрю? Любовь нашу вспомни, мои жертвы. Как я ради тебя судомойничала в столовке, куталась в платок, чтобы девки наши не узнали, как в рваных чулках ходила, а захотеть, в такси бы ездила. Все для тебя будет, Феденька, голубчик, дролюшка! Ведь жизнь дается один раз, чтобы не было стыдно за прожитые годы перед нашим сыном. Вспомни свои клятвы, как Наташей Ростовой называл...»

От горячих слов этих сердце из груди рвалось. Все бросил, прилетел, под окнами больницы ноги морозил, она тоже плакала, когда показывала через отпотевшее окно Женьку.

Проехало, опять ссоры, посудное швыряние. Это уже в Нижнеталдинск переехали, замдиректора Шунгулешского промхоза.

Плюнуть на все и уехать. Раз не понимает. На восток. Женька подрастет — и уедем, пусть сама живет. Котятов писал — климат роскошный, стык таежной и маньчжурской фаун и флор, тигр и медведь, белка и фазан, кедр, обвитый лианами, кабаны стадами ходят, ниже двадцати редко бывает. В рубашке зимой можно охотиться. Зимовья стоят из бархатного дерева! Охота-то какая в широколиственных лесах! Пойти в какое-нибудь маленькое хозяйствишко. лишние отрасли отрубить, специализировать, никакой извести не жечь, ширпотреб не делать. Домишко построить на поляне, мотоцикл цык-цык-цык, на работу приехал, а все идет как по маслу, каждый знает свое дело, все дружно, весело.

Директором тоже можно жить, если маленькое хозяйство, план спихнул, и привет! Женька вырастет, в институт. К стипендии ему посылать по тридцатке, пусть живет парень без забот, знает, что отец есть. Но чтобы молодой не женился. Специально поговорить, где-нибудь на болоте, на зорьке, в двух словах, но чтобы понял, и все! Але, межгород? Балай у телефона...

Вот ведь как получается. Уехал Володя Котятов, проводили на станции. Ночью Лара заплакала тихонько, для себя лично, а не так, как на него работает. Погладил плечо круглое, подрагивающее, придвинулась, стала жаловаться: «Молоденькая была, глупенькая, чего-то хотелось чистого, благородного, интеллиге-е-ентно-о-го, — разрыдалась, — дура я, дура деревенская, счастье-то упустила-а». Слушал он жалобы жены, понимал. Не любила, по молодости не разобралась: то ли танцует хорошо парень, то ли глаза красивые, заметный, то ли любовь на всю жизнь. Слушал и понимал это, только старался догадаться, додумать, какое счастье упустила — Котятов, может, по пьянке делал предложение, мимоходом попользовался, или в деревне до техникума не вышла замуж за соседа, свою первую любовь? Если бы в его воле было, он бы вернул ей это счастье, чего бы ни стоило, а сам бы с понягой, с ружьем и с разбитым сердцем ушел бы в тайгу с Женькой. Но он не мог найти ее

утерянное счастье и подарить ей, а делал единственное, что мог: жалел, прощал.

Жалел, прощал. А она не ценила. Стала легко презирать за доброту, по ее понятиям — немужскую, в этом смысле люди говорят, что простота хуже воровства. Лучше бы он дергал ей душу, держал бы в напряжении, сама бы начала дорожить, беспокоиться о нем, а то как воздух: дышим, как говорится,— не замечаем, нету — задыхаемся. Задохнется.

Последняя история уже ни в какие рамки, просто позорная.

В гостях сидели. Ссорились шепотом. Он вышел покурить. Мороз стоял. Дом, где гуляли, далеко от тракта, а слышно было санные полозья, скрипят будто рядом. Сильный мороз. Звезды плыли вверх, реяли, уходя выше, и купол весь слегка покачивался, как огромный стратостат, на стропах у которого болтается круглая кабина-планетка Земля. Выскочила бухгалтерша со слюдфабрики, жена хозяина автобазы Обуха Виталия Павловича, Евдокия Макаровна, добрая женщина.

— Шел бы ты, Федор Евсеич, что-то Лара не правильно ведет.

— Что такое?

Лара, раскрасневшаяся, с деревенскими, с детства памятными замашками, отплясывала подгорную, которую для смеха играл зоотехник-балалаечник. Плясала Лара некрасиво, груди у нее тряслись позорно, комбинация выбилась. Жалко и стыдно было до слез. Хотелось схватить ее, закутать в пальто с головой и побежать, побежать домой, неся в охапку. Он сделал вид, что ничего особенного, встал к печке греться. Лара увидела его, неверными шагами подошла, сделала на голове рога из указательных пальцев и, глупо улыбаясь совершенно чужими, дикими от водки глазами, сказала громко: «Му-у-у-у! Му-у-у-у-у! Му-у-у-у-у-у!»

Сначала все засмеялись, но сразу замолкли. Евдокия Макаровна подбежала, отвлекла от Лары внимание, притащила с кухни холодца и две бутылки.

Дома он опять выходил курить под звездное небо, в белье на мороз.

Она заснула сразу, наплакавшись. Кобель бегал по двору, цепь блестела, сухо дребезжала, позванивала. Блок с

цепи сняли хозяева, заедало, а звено цепочки уже перетерлось и скоро должно было лопнуть. Придет зоотехник-балалаечник в галстуке-бабочке, Музгар рванется, звено не выдержит, виноватых нету. Музгар порвет, будет знать подгорную, насмешки. А вдруг к Женьке второклассники придут, детишек может порвать кобелина. От этой мысли в голове прояснилось, и тут же среди ночи, как привидение в белом, полез он на столб, стал отгибать закалевшую на морозе проволоку, толстую, стальную, голыми руками. Отмотал, обрывая кожу, продел новое звено цепи, следующее за старым, стершимся, снова намотал проволоку, проверил, сам повис на цепи, рванул пару раз. Проволока держалась намертво. Музгар удивленно смотрел на человека, болтавшегося на цепи, колотил хвостом по снегу, думал, что с ним играют среди ночи. Совсем одурел старый кобель.

Посреди двора огляделся: тихо, темно в тенях, неоново-синий снег, бездонное небо, все больше, больше выплывает звезд, и стоят они, и реют, и сдвигаются, неодолимые взглядом; кажется, взгляд этот уходит и теряется в ужасающей бесконечности, куда летит-плывет стратостат.

Но вдруг встретилась какая-то звездочка, заблудшая планетка какая-то пробиралась между звезд холодных, окружающих, порыскивала на курсе, помаргивала. Да это же спутник!

Моргала звездочка, бесстрашно пробиралась по ближнему космосу!

Ухо Федор обнаружил, когда уже вошел в дом и пробирался между табуреток и ведер через кухоньку, через коридорчик. Незаметно отморозил.

На следующий день, не поговорив с женой за завтраком, ушел в контору, угрюмо сидел с медленно распухавшим ухом, забывал здороваться. Прожил как в болезни несколько тяжелых дней.

А сегодня вот пришла за ним на обед. «Ждать тебя надо?» Вот тогда Федор Евсеич Балай поставил в гнездо шариковую японскую ручку из набора, который привез ему Володя Котятов, надел пальто, шапку и вышел за женой на лестницу, в темные сени конторы, и сказал ей, спускаясь: «Правильно, Лара! Лучший способ защиты — нападение! А кто из нас сказал «му-у-у-у»?!»

Она не ответила и потом уже побежала, протыкая твердый снег каблуками со стальными наконечниками, а Федор пошел в приемочную, чтобы уж не выглядеть таким беспомощным от своей доброты, не идти телком к обеденному

столу, хоть показать характер, если ничего другого не остается. Жалко ее, хоть и предательская женская натура, а бросить — ведь пропадет!

3

Звонил из треста Иван Константинович. Тот самый, который летал когда-то с Ухаловым на Выставку. Он не упускал случая показать, что так хорошо знает Шунгулешский промхоз, что может оттуда, из области, по телефону найти тут все с закрытыми глазами. Вот директора бы Колобова выручить, а Ивану Константиновичу это незачем, все равно Колобова обратно не поставить, человек падший для директорского поста. Балай старался Ивана Константиновича за это предательство хотя бы уязвить. И надо было готовить на Выставку кого-то, и Иван Константинович, опять же для того, чтобы показать там, у себя в тресте, как он все знает в низовке, что он не просто руководит, а в дела вникает, указывал прислать Ухалова, как столетнего передовика. Балай и тут был в контрах, он-то знал, что за штучка этот круглый старик с хитрыми глазами и ловким языком, он знал, что этот хоть и действительно сильный охотник, но эксплуататор своих зависимых помощников, ловкач и выжига, исподтишка заложивший директора Колобова, как выяснилось через некоторых людей, в том числе через бывшего напарника ухаловского, пенсионера Полякова. Поляков и факты приводил.

Балай разговаривал с Иваном Константиновичем твердо, он мог себе позволить такой тон, с планом все было в ажуре. Иван Константинович не любил, когда с ним так разговаривали, терялся.

«Кто заслужил, тот и поедет. Человек пять могу представить на выбор. Михаил Ельменев, например, молодой, результаты те же. Делаем любимчиков,— кричал Федор в трубку, не обращая внимания на трестовские интонации, долетавшие из области, и на то, что по спаренному телефону слушал их, затаив дыхание, бухгалтер Баукин,— делаем любимчиков, а они потом на голову садятся, людям на горло наступают. Выгодные лицензии им отдай, а что надо — не допросишься. Небось на заготовку бурундуков, веников нанимают людей, поденщиков! А? Эксплуататор, вот он кто! Есть такой термин, есть и сейчас. А чего вы боитесь! Чего правды-то бояться, от нее одна только польза, от пра-

вды-то! Никакие родимые пятна не выискиваю, это пятна очередной беременности, а не родимые пятна! Ну, я не знаю, что вы знаете, я сам смотрю, сам вижу. Вот когда мы газик получим? С кого же требовать? Так и разговариваю. Вы знаете, за что Колобова судите? Ах, народный суд судит. А вы Пилатом работаете? Ухалова вашего я на пенсию шугану! Есть и другие передовики, добросовестные. Мне смешны такие угрозы, Иван Константинович! И вы не с мальчиком разговариваете. Меня в любое время в госхоз возьмут! Я охотовед и не хочу быть директором, совсем не стремлюсь, ошибочно определили тенденцию, уверяю вас. Подбирайте кандидатуру, нет, не на мое место, на директорское. Ну, извините, я не пользуюсь, я сижу и работаю, а вы помочь мне не хотите, а это не мое дело, и все. Ну, ладно, к нашим баранам. Мешки когда я получу? Кули! Кули! А! Ну спасибо. Сразу бы спасибо сказал. Спасибо, говорю, сказал бы. Я эти мешки сколько жду. Иван Константинович, звонок все же надо организовать, к нему в районе будут по-другому относиться. Поможет. Он же ни в чем не виноват. Это же на моих глазах было. Не-е-т, не уговаривайте, я охотовед, специальность есть такая. Не гожусь я в директора. Ну, ладно, привет всем в тресте, спасибо, что цените. Звоните на той неделе, подобьем уже бабки и цифру состряпаем. Хорошо получается ориентировочно. Девушка! Але! Ферма-то, ферма?»

Опять про звероферму не поговорили. Жуткая история. Вокруг зверофермы вот уже года тянется непрекращающаяся возня, на возню эту ухнуло уже тринадцать тысяч рублей, если не больше. За один кол, можно сказать, которого уже и нету.

Какой-то незапамятный директор, теперь трудно и разобраться который, затеял строить звероферму. То есть еще раньше началось это, с колбасной фабрики. В Нижнеталдинске, когда здесь районный центр был, кто-то из районных людей надумал строить колбасную фабрику. О мясе для колбасы не задумывались. Как-то так, вообразили себе — вот, построим фабричку, и будет колбаса! Здание построили, но оно дало сильную трещину по фундаменту. Кому-то нужно было за это ответить, и этот кто-то предложил незапамятному директору охотхозяйства принять на баланс эту фабрику, чтобы спасти этого «кого-то», ну, как бывает с друзьями-приятелями. Ты — мне, я — тебе, есть такой девиз в Нижнеталдинске. По дружбе здание взяли, вроде бы для переделки под звероферму. Но переделывать было нечего,

разбирать дорого, выбили на звероферму еще дополнительные деньги, тысяч двадцать. Тогда мода была на зверофермы в промхозах. Кстати, мода эта до сих пор не прошла; считается, что звероводство это чуть ли не высшая форма охотхозяйства, а в действительности — это же чистейшее животноводство! Смущает тут малограмотных путаников то, что звери разводимые встречаются в дикой природе сами по себе. Так и свиноводство можно к охотхозяйству отнести, коневодство — кабаны и лошадь Пржевальского дают к тому все основания. Ну, в общем-то, долго ли коротко, приехали из проектного института ребята, привезли документы, папки с синьками, все было красиво и понятно. Тут поступает корм, здесь выходят готовые шкурки!

Техники привязали проект, вбили привязочный кол и уехали. Было это еще при прапрадиректоре. Балай же получил в наследство кол и синьки, а денег на строительство, слава богу, не было. На обреченное строительство.

Не стало кола. Или козу пасли, или трелевочный трактор развернулся, или, может, просто кол кому-то понадобился, не стало — и все.

Начальство в тресте бредит, где бы денег достать, а в промхозе дрожат, а ну найдутся деньги, отгрохают современную звероферму — во что она обойдется!— привезут племенных зверей... Что тогда?!

Кормить надо! Вот что!

Ферма — это не климат, не охот-фауна. Ферма — это животноводство высокоспециализированное, и держится она на трех китах — Корма, Корма и еще раз Корма! Где корма — там и ферма, а климат или, например, само собой понятно, соседствующая охот-фауна здесь ни при чем.

А где в Нижнеталдинске корма? — спрашивается.

В Тарашете мясокомбинат, скотопригонный пункт, забой, отходы,— ответ.

Ну, а сейчас где отходы Тарашетской бойни? Выкидывают? Сжигают? Гноят?

Нет, у них там есть маленькая фермочка,— ответ,— а мы сделаем больше,— у них очень даже рентабельно, и доходик приличный, а у нас будет больше, и доходик больше соответственно!

Но где же мы будем корма брать?

В облисполком поднимемся, разделят нам тарашетские корма!

Значит, они нам свои корма отдадут, а сами закроются?

Так, что ли? Или голодом будут сидеть? Если это кошка, то где же плов?

С океана подвозить будем,— ответ,— можно заключить договор с Дальрыбой, холодильники поставить! Трудностей вы боитесь, вот что! Когда ферма будет — никуда не денутся, деньги дадут, корма дадут!

А не проще ли строить ферму именно там, где берег океана? Чтобы не возить за тысячи километров тысячи тонн кормов, а получать мешок со шкурками прямо с океана?

Тогда замолкают и смотрят на тебя как на повешенного, с удивлением, страхом и жалостью. Ведь доход-то от шкурок будет получать неизвестно кто, другой! Простая штука, а не понимает. Не хозяйственник! Это уж точно! Гори оно все синим пламенем, а надо расширяться, увеличивать оборот и добиваться хоть и фиктивного в государственном смысле, а дохода и под шунгулешской подписью!

Нет, влезать в эти оглобли? Тащи назад. Милое дело — охотоведом, ни махинаций с кормами, ни тебе кол за тринадцать тысяч, хлеб свой отрабатываешь на тысячу процентов, организуй, улучшай промысел, обеспечивай охотников — порядочек, спи спокойно, броди по тайге, учитывай промысловую фауну!

4

Вошел Баукин, мягко ступая в своих валеночках, с папироской и с вечной улыбочкой. Складки на его валенках тоже делали подобие улыбочки на каждом шагу. Он спрашивал о том, что сам уже подслушал, качал головой. Поддакивал.

Не все так плохо с Колобовым. Говорят, что наклюнулось для него местечко, не очень широкое, но приличное, заведовать чайной. Но, разумеется, нельзя было не надавить на совесть трестовского начальства: пусть знают, что о них думают. Тут их дипломатия понятна.

Баукин принес новости. С сухарями налаживается проблема. Комбинат примет заказ. А то ведь смех и грех. В прошлом году заказал Шунгулешский промхоз пятнадцать тонн сухарей, чтобы обеспечить орешников и охотников. Телеграммы, письма, всю весну и все лето, а пришли сухари только в конце декабря. Год сходится. Комбинат считает,

что выполнил договор, но орешники-охотники уже из тайги-то вышли! Для кого теперь эти сухари? Магазину они не нужны, хранить их негде. Естественно, промхоз, указывая на договорные сроки, отказывается. Хлебокомбинат приглашает в суд. Ездили в область Балай и Баукин. От комбината директор, бухгалтер и юрконсульт. Промхозовцы тоже наняли ярыгу. Судились, от сухарей отбились. Перед отъездом в гостинице комбинатовцы подняли скандал, чуть не до драки. Вы нас подвели, мы для вас доброе дело сделали, а вы нам убыток! Нет, вы нас подвели! Так и разошлись — врагами. И вот теперь прорезало в другом комбинате — это большая победа, а то все отнекивались, слышали, мол, что вы нездоровые клиенты.

— Ну, на этот раз пошлем человека, прямо пусть садится на сухари и везет к срокам,— улыбается Баукин.

5

За Баукиным пришел Евлампий Кононович. Бочар принес заявление. Он не улыбался, не сел, когда его пригласили, говорил мало.

— Старушку мою забижаете. Значит, того.

— Что же ты, Евлампий Кононович? Бастуешь?

— Бастую, значит.

— В частный сектор уходишь?

— Пенсия у меня, значит, того.

— Да ведь кто велел Буслаевне солить грибы-то? Сдавала бы и сдавала, плохо жилось, что ли?

— В общем, мне, чем со старушкой ссориться, значит, того. Увольняй.

— Грибы-то в город свезли? — спросил Баукин.— Почем?

— Сходная цена, оправдыват.

— На будущий год Буслаевне никто не понесет грибы. Другая у нас будет приемщица, что она посолит?

— Ты ладно, Федор Евсеич, подпиши-ка, некода ведь мне. Того, значит, старушку прижали зря. Вы посолите — берете процент, она посолила — процент не даете? Подпиши — и ладно, миром, значит.

— Ох, не прав ты, ох, не прав, Евлампий Кононович,— сказал Баукин.

— Ты-то, помалкивай-ка! Стариков-то учить! Я всю жизнь не прав, привык уже!

— Не обижайся, Евлампий Кононович,— сказал Баукин,— с полным к тебе то есть уважением, но по делу ты не прав. У нас есть право, документированное, мы организация, а у Буслаевны нету.

— Но уж обиды-то не держите и вы на меня. Клепочки одной не унес конторской, значит, инструмент весь в полном порядке. Пила со львами, английская, та моя была, забрал я ее. А уж старуха бастовать — старику тоже надо бастовать. Бывайте-ка!

— Надумаешь — приходи, всегда возьмем и тебя, и Буслаевну,— сказал Балай.

Евлампий Кононович улыбнулся, потянулся было за шапкой, чтобы вернуться, сесть, поговорить, как бывало, но вспомнил, что он бастует:

— Но, спасибо на добром слове, очень вами благодарны.

Так и не стало у промхоза бочара, но с Буслаевной надо было бороться, пришлось пожертвовать бочаром. Баукин же сказал:

— Повертится и придет. Скучно будет человеку.

6

Кончился рабочий день. Домой пошли вместе с Баукиным, крутился разговор о том, что Балая сватают в директора. Балай сказал, что ни за что и ни под каким предлогом.

— Дело хозяйское,— тихонько поскрипывал рядом Баукин, пускал парок,— а молодое решение, молодое. Вот Крамольников, слышали, с нашего хозяйства начинал, а теперь в области ворочает, Москва его утверждала, а ведь баланса не разбирал. Смотрит в книгу, и темно ему там.

Напрасно было бы ожидать от Баукина понимания охотоведческой души, ему главное в человеке — если зарплата большая или в Москве его утверждали, а если зарплата маленькая и в Москве тебя не утверждали, он так и будет на тебя смотреть посмеиваясь. Это от самолюбия: мол, ничего, что по заугольям сидим, а тоже не лыком шиты. Так и выпирает из них самолюбие-то, гордость ихняя сибирская, усмешечками да угрюмством, выходками разбойничьими. Каторжная, мол, Сибирь-то? Соглашаются: каторжная, мол, испокон веку, а пироги с мясом завсегда ели! Вот тебе и возьми их! Картошки ведь иной натрескается, а в гости придет, порыгивает: ох, тяжело, оковалок мяса съел, не поме-

реть бы! Всех богаче, всех ловчее, всех смелее, всех умнее!

Балай уже и забыл о директорстве, когда Баукин, все время, видно, думавший об этом, рассказал две истории про прадиректоров шунгулешских, парой он их рассказывал неспроста, а по их диаметральной противоположности. Одна про Куклина Афанасия Афанасьевича, который воровал крупно, умно, но погорел, когда сошлись у него интересы с Поляковым и Ухаловым — хитрюганами и варнаками. Поляков с Ухаловым не только вернули свой убыток, но еще и тысячу отступного взяли с Куклина, а потом все же додавили его и сжили с директорского поста. Эту историю Балай знал во всех художественных подробностях от Колобова. К истории этой Баукин присовокупил историческое отступление о том, что всегда пушнина жгла руки, как золото, еще с царей древних, когда воеводы грешили, казацкие головы воровали, взимая с сибиряков подати. Вечная была песня, худые соболя зачисляли в хорошие и наоборот — биты бывали кнутом и драны нещадно.

Другая история была забыта, ее помнили только самые закоренелые промхозовские Несторы. По простоте это было что-то прямо библейское, какой-то миф, какая-то легенда «Про майора Степана Ивановича Кушнерова».

7

Степан Иванович Кушнеров был всего лишь майором, но слухи делали его уже подполковником, даже полковником. Майор он был. Человек решительный, военная косточка, без всяких поблажек к себе и ближним. Занимался спортом, охотился, а дела вел в порядке, так что привыкшим к старой, существовавшей до него жизни было просто не по себе. Все стерильно, как говорится, фронтовик. Мешал людям. И ключа к майору не было. Но дочь у него была. И вышла дочь замуж. Майор был непьющим, настолько непьющим, что о нем пошел слух, будто он по ночам запирается на кухне и пьет один. Известны ведь были до этого случаи подобной трезвости. Жалели майора, что ради авторитета он лишает себя счастья выпить в компании. Нет, ты выпей, рассуждали шунгулешцы, но в меру, а то ведь иначе-то до кухни дойдет дело. Ставни закрыл и пошоля! Так и решили, что мнение верное, что запирается майор по ночам в кухне. Пошоля и пошоля! Легенда эта дошла до райкома. Между прочим, как-то завотделом Дудкин и пошутил:

— Что, Степан Иванович, кухарничаешь по ночам?

— Нет,— отвечает Степан Иванович,— книжки военные читаю, восстанавливаю ход событий первого года войны, ищу ошибки, чтобы извлечь опыт. А чтобы жене и дочери не мешать, сижу на кухне.

— Ну, сиди,— Дудкин-то смеется,— не падай!

Степан Иванович был немного контуженый, ранения у него были серьезные тоже. Вспылил. Он знал, что про него пустили сплетню, но по излишнему благородству, иногда и недопустимому, сплетням значения не придавал, а так и продолжал жить как на передовой. Вспылил Степан Иванович, сказал Дудкину лишнее, обидел. Тот с ним пошутил, можно сказать, благорасположение проявил, а Степан Иванович с ходу и завернул ему рога! Ну и тут же забыл об этом, через неделю уже лезет в кабинет к Дудкину, разговаривает, курит, а не замечает, что Дудкин на него уже смотрит косо. Степан-то Иванович под врагами всегда понимал людей внешних и вооруженных, в то время как Дудкин очень тонко понимал врагов и внутренних. И тут выходит дочь замуж.

Жили Кушнеровы далеко от райкома, тогда райком был в Нижнеталдинске, там, где теперь интернат. А Степан Иванович у реки жил, лодки держал, рыбак. Из-за рыбалки и приехал сюда. На свадьбе Степан Иванович выпил кем-то поднесенную рюмочку на радостях. Как же иначе, счастья не будет молодым. Возбужденный такой, веселый. А нельзя ему было пить-то, на голову действовало. Увели его какие-то люди из гостей, подышать на воздух, а там, видно, еще влили в него водки, когда он уже не понимал, что к чему, больной ведь человек-то!

Жена спрашивает: а где Степан Иванович? А, говорят, он загруз маленько да у кого-то ночевать остался, гуляли, дескать, ну и загруз, решили не тревожить, кто-то уложил, завтра придет. Жена и дочка говорят: ну конечно, мол, пусть спит отец, радость-то большая.

А утром понедельник, и на пороге райкома секретарь находит тело товарища Кушнерова Степана Ивановича, майора, спящим в истерзанном виде.

И как-то все случилось, совпало, что ни уборщица не потревожила спящего, ни ранний прохожий не набежал, да и как забился меж двух дверей райкома старый майор, когда он жил-то на набережной улице? Говорят, что за секретарем заехал Дудкин раным-рано.

8

— Значит, что же получается,— не вытерпел Балай,— Куклин был просто вор, как я понимаю, плохо ему пришлось. Кушнеров — солдатской честности человек, и ему плохо пришлось?

— Вот и выходит,— улыбнулся клубочками пара Баукин,— вот и получается! Место такое! Так что ты, пожалуй, и прав, что садиться в него не хочешь. Вся наша отрасль такая. Деньги липнут, где деньги — там зло, а у нас они под руками, деньги-то, живые.

— Надо, значит, что-то налаживать!

Баукин вскинул глазки на Балая, усмехнулся:

— Вот вы и налаживайте, вы молодежь!

— А вы в сторонку?

— Мы на пенсию, хороший мой, на пенсию. Ты думал, зря Баукин ушки на макушке — каждую бумажку в папочку? Вот и поопасся до пенсии. Не ширился, низко не летал, но и высоко не залетал, а в самый аккурат, посерединочке!

— Слушай, Баукин,— сверкнуло вдруг в уме Федора Евсеича.— А ведь ты и правду говоришь, а врешь! Ведь ты не прочь бы в директора! А? Попал? Дерзай!

Будто током ударило Баукина, по щекам у него судорога пробежала. Попал молодой охотовед, да только зачем попал? По глупости! Баукин такое вторжение в область интимных лелеянных чувств не простит!

Похмыкали, потоптались и разошлись.

Глава шестая

В БУРАНЕ

1

На Шунгулеше работал вечный двигатель: с просторов Ледовитого океана, через тундровые равнины, собирая и неся с собой снег и холод, по руслу скованного Шунгулеша шквалом двигался на юг полярный буран. Снег, который буран нес на юг, вернется летом холодной горной водой в океан. За несколько часов буран достиг Нижнеталдинска, и в полдень стало темно, как ночью. Сдавленный горами, ветер усиливал свою скорость, протекая по долинам, закручи-

вался в снежные смерчи и вихри. Но и разбитые на вихри и смерчи, огромные массы холодного воздуха сохраняли стремительное движение к югу, а сталкиваясь с горами, старались прорыть, разрушить их, бешено бросая в бой все новые и новые резервы. Полярная вьюга наждачными языками вылизывала предгорья. Воздушные точила миллионами тонн ледяных зерен стирали наст, казавшийся несколько часов назад под лучами доверчивого, почти весеннего солнца таким панцирно сверкающим и крепким, стачивали острые и мощные углы торосов на реке, полировали зеркала озер, натирали голые, обдутые ветром лбы угрюмых скал.

2

Гр. Ухалов возвращался из суда, где он только что был зарегистрирован как оскорбленный нецензурными угрозами в записках истец против гр. Тиунова С. С. Сначала у него был план зайти в контору промхоза, послушать, что говорят, поинтриговать, пустить шептуна, развлечься, но пурга переменила его настроение, теперь он хотел поскорее домой, в тепло. Двигался Панфилыч по ветру, и потому там, где он делал шаг, в ногах иногда происходил прыжок.

А Данилычу ветер был супротивный. Он вышел из больницы, когда погода быстро начала портиться, и теперь уже жалел, что поторопился.

Он сильно похудел и сразу почувствовал, что очень слаб от болезни. Пища ему не шла впрок, гнила у него внутри, распирала его газами, да и есть-то, собственно говоря, ничего уже нельзя было. Нельзя было много ходить, поднимать тяжелое, нервничать; поэтому он не разрешал себе производить в уме учеты и считать деньги, уходившие и приходившие, те, что можно было заработать в прошлом; он перестал думать, как думал прежде, о переезде из Задуваева, теперь можно было об этом не беспокоиться, само собой все решилось, как и всегда, помимо него решалось в его жизни сложением внешних обстоятельств — пенсию по инвалидности надо хлопотать. Доктор серьезно сказал — собирать документы и оформлять инвалидность. Пусть Домаха займется.

Сейчас он зайдет в контору, объявит там: «Все, ребяты, Ефим Данилыч Подземный больше вам не работник! Извиняйте!»

Доктор не пугал, но ничего хорошего у него не было за очками в очень больших глазах. Если станет еще немного хуже — ехать надо в область, вырезать желудок.

— Попили водочки?

— Сроду не любитель. В красный день календаря. На Седьмое гуляли, сын приехал потом, опять гуляли, чувствую, нехорошо, лежал у вас в больнице, вместо вас тут врачиха была. Ничего, подправила, спасибо ей. Одэбал немного, орехи вывозить, транспорт дали мне. Плохо чувствовал, теперь, значит, Новый год, куда денешься, вот и снова к вам попал. У меня по этой линии без художества, уж чего не любитель, того не любитель.

Данилыч оправдывался, как мальчик, не приготовивший уроков, ему казалось, что стоит убедить доктора, что он непьющий, а он ведь и в самом деле непьющий, и все станет на свои места, доктор поругает, даст лекарства — и все пройдет.

— Пантокрин принимали? Панты настаивали?

— Было дело, давно уже, правда,— смутился Данилыч.

— Не обязательно, конечно, не обязательно.— Доктор вздохнул, посмотрел в бумаги. Нужно было выписывать больного, направлять в область. Доктор написал направление, отдал его Данилычу и опять вздохнул. Не любил он таких больных, ему было мучительно стыдно поднимать на них глаза. Ждут, надеются, а что ты можешь? Что там могут, в области?! Бога нету, шабаш. Чудеса некому делать.— Советую не тянуть, ну и конечно, диета.

— Ни-ни.

3

Данилыч, понурив голову, пошел собирать в сумку из тумбочки все, что там накопилось за месяц лежания. Механически он думал, что пенсию ему определят поменьше ухаловской, но это было не обидно, он подумал и позабыл. Настойчиво он помнил о своей болезни; все казалось ему, что не случись Седьмое и Новый год, не погуляй он на праздники, не выпей этой водки больше привычной нормы, и пронесло бы, миновало бы. Легче было думать так, так получалась случайность, и с ней легче было примириться, чем с неотвратимой неизбежностью обстоятельств человеческой жизни вообще и гнездившейся в нем и развивавшейся болезни в частности.

От холода у него закружилась голова. Он взялся рукой за столб, рука легко поехала в тесных прежде плечах и рукавах одежды.

Пройдя квартал, а ему было что плыть в метели, он прислонился к заплоту. Плохо дело, паря...

Буран заметал видимость на пять шагов, а когда Данилыч вышел к реке, чтобы двигаться в контору и ждать там попутку в Задуваево, ветер со снегом кинулся уже прямо в лицо, ничем не сдерживаемый, разгулявшийся на просторе. Снег теперь был как мелко битое стекло, прорывался в свободную одежду, за воротник, на грудь, в рукава защищавших лицо рук. Кирзовая сумка на локте вертелась, стараясь оторваться, будто в рукава вцепилась и дергала некрупная собака.

Буран с большой скоростью тащил по руслу реки тысячетонный пласт снега. Проносясь по улицам и вдоль заплотов и стен домов, глядевших на реку, буран шуршал по бревнам, рвал ставни, ронял кирпичи труб, ломал сучья промерзших старых тополей.

Фигуру, надвинувшуюся на него с ветром, как бы родившуюся из белокипящей бездны, Данилыч увидел в двух шагах. Они состыковались, не узнав друг друга, и молча держались один за другого, чтобы противостоять этому вселенскому бурану, обрушившему на них в космическом вихре сметенный со всей планеты снег.

— Здорово, Петра! — шепотом крикнул Данилыч.

Панфилыч тоже разглядел его и молчал.

— Здорово-о! — прошептал Данилыч.

Панфилыч молчал.

— Болею я-то,— крикнул Данилыч, ледяной ветер охватил гнилые зубы, с болью сорвал и унес слова. Данилыч теперь не помнил вражды и пытался все докричаться до Панфилыча.

Панфилыч стоял молча, откидываясь спиной на упругий ветер, и отдирал от себя цеплявшиеся снова и снова руки Данилыча.

— Петра, умираю я-то!

Панфилыч оттолкнул Данилыча и прошел мимо него, исчез, подхваченный бураном.

— Петра-а! Умираю я-то! — изо всех сил крикнул Данилыч.

На миг в разрыве между снежными шквалами Панфилыч открылся весь и оказался рядом, появился как привидение,— стоял повернувшись вполоборота, прикрыв лицо собачьей рукавицей. Так он постоял и помолчал мгновение и снова исчез, навсегда расстался со старым своим приятелем-недругом Ефимом Данилычем Подземным.

Глава седьмая

У ПАНФИЛЫЧА

1

Дома у Петра Панфилыча Ухалова все как у других.

Он бы и построил большой дом, если было бы для кого, а так зачем? Калерочке не нужно. Ее и так в больницу предлагали взять при живых родителях, но не решились Панфилыч с Марковной, мало ли, больная девочка — своя.

Все как у других, те же фикусы и гераньки — горшки на блюдечках с отколотыми краями, пыльный зубчатый алоэ, распертый лекарственными соками. Венские стулья вдоль стен, швейная машина, плюшевый диван, зеркальный шкаф, зеркало утыкано фотографиями родственников, открытками кошечек и собачек, тут же бросится в глаза земноводное антиковое брюхо — Геракл с суковатой дубиной. Все, смешавшись, уживается вместе, не поясняя друг друга, но и не мешая одно другому. Нельзя не упомянуть пуховую перину (на которую много лет бил птиц Панфилыч и рубила головы гусям и уткам Марковна) на кровати с никелированными спинками. Печка обтерта плечами — тесновато ходить мимо нее, а может, просто попалась известь-пыловка, на скорую руку Марковна белила. Иконки картонные с фольгой, скатерть на столе камчатая, и над ней люстра с многочисленными висюльками. Стоит в доме большой радиоприемник, дорогой телевизор. Радиоприемник и всегда-то был, необходимость известная, а вот с телевизором дело другое. Панфилыч из Москвы привез, самый лучший по тем временам, но редко-редко что-нибудь складное мелькнет, помелькает и исчезнет. Антенна не достает, ретранслятор еще не построили. Первые дни собирались соседи, Марковна вроде конферанса вела разговоры, чаями поила, но по телевизору ничего нельзя было разобрать, мелькали строчки, пятна, и



слушали его как радио. Месяц послушали, надоело, решили, впрочем, что годится вещь, но надо подождать, чтобы видно было чего-нибудь, а там уж и самим покупать. Калерочка следила мелькание как завороженная, ждала часа, требовала включить, потом сама научилась, включала, сидела целыми вечерами неподвижно, под гипнозом.

2

Панфилыч думал, что повестку из суда принесли, когда в окно почтальон побарабанил, крикнул Марковне, чтобы отворила, а сам стал искать под диваном обрезанные валенки. Но это была не повестка из суда, а пенсия. Почтальонша, молодая, быстрая, чай пить отказалась, запахнула сумку и убежала.

На столе остались сто двадцать рублей десятками. Панфилыч долго смотрел на них. Радости не было. Надеялся — принесут пенсию, и кончится старая жизнь, начнется спокой.

Он давно уже мечтал о спокое, приглядывался к старикам. У хороших стариков такой покой в глазах, как на осеннем озере где-нибудь, когда тишина, солнце, вода прочистится, муть осядет, водоросли на дно опустятся, особая прозрачность, красота появляется. Ну, а там уж зима, заледенеет, конечно, снегами заметет. Всему свое время.

А нету спокою! От себя и на пенсию не убежишь, уж какой сделался за жизнь. Все.

Он велел Марковне убрать деньги и поплелся к себе на диван. Калерочка делала на столе бумажных человечков, а потом отрезала им поочередно руки, ноги, головы.

— Чо, отец, жить будем или в сберкассу идти с ними? — спросила Марковна, взяв деньги в руки.

— Неладно тебе? — буркнул Панфилыч.— Мешают?

— Злой-то какой, злой-то! — укоризненно закивала головой Марковна.— Смотришь, и жалко тебя, дурака. Пенсии не было — об пенсии переживал, принесли — снова переживаешь! Скажи ты мне, чо с тобой? Жена я тебе или чужой человек?

— Чему радоваться, старость это пришла.

— Бог с ней, мы молодости-то не видели, чего нам ее жалеть!

— Ну, хочешь, так гостей созови.

— От славно придумал! А то сидим раком по буеракам, людей не видим. Вставай-ка, отец, да иди приглашай, хоть на завтра, что ли. У меня ить свининка есть, килограмм шесть осталось, филея сохатиного намешаю. Но-ка, пенсионер, пошевеливайся!

Марковна легкой ногой повернулась и пошла в кухню; по дороге она спустила платок на плечи, причесала волосы и браво приколола гребень на бочок. Волосы ее, пышные и смолевые, и сейчас-то еще не поседели, с боков только тронулись — единственное, что осталось ей от былой красоты в утеху.

В субботу были гости с полудня.

По пьянке заговорил Панфилыч про три дороги: рыбалка — раз, пасека — два, охота — три. По какой из них тронуть неспешным пенсионным шагом?

А на крыльце у них с Мишей Ельменевым состоялся разговор. В следующую рыбалку они едут втроем — с Андрюшкой Пороховцевым договорился Михаил,— Панфилыча берут уху варить и рыбу помогать обрабатывать, таборным мужиком, стариковское дело, но на равный пай. Об осенней охоте предложил Михаил Панфилычу два удобных круга возле главного зимовья на ручье Талом, а жить как захочет, или сам будет в своем зимовье, или вместе с ними, молодыми, в Данилычевом бараке. Задуваевский участок точно переводят в Золотоношу, бараки бросают. Ну, кашу варить, само собой, тоже стариковское дело, да и понятно, теперь втроем с Андрюшкой дело не так будет стоять, как раньше.

Панфилыч обмяк, сгорбился, склонив голову, подумал, подумал и сказал, нового не выдумал:

— Старый волк, Миша, объедками сыт. Спасибо тебе на твое добро. Ноги будут ходить, тогда посмотрим. Линия у меня теперь другая получается.

— А то какой же из вас пасечник. Всю голову покусают. Они нервных не принимают,— сказал Михаил,— у них не как у людей.

— Вина хватит, нет ли? — спросил Панфилыч, имея в виду гостей, нестройно спевавшихся в тесной избе.

— Пара литров было бы в меру,— согласился Михаил.

— Возьми у Марковны деньги да сбегай-ка в магазин,— сказал Панфилыч и пошел отдавать распоряжения. Перешагивая порог в дом, он подержался за косяк, Михаил это заметил.

Глава восьмая

СЧАСТЬЕ ХОДИТ В ПОДШИТЫХ ВАЛЕНКАХ

1

Возле магазина уже с бутылками Михаил налетел на Фросю Цаплину. Он даже проскочил мимо, запаленный вином, но сразу вернулся и поднялся к ней, оскальзываясь, на крыльцо магазина. Она же стояла там и ждала.

— Гуляешь?

— А чо?

— Гуляй, гуляй, все прогуляешь.

— Чо это все?

— Избегаешь меня, так понимать?

— Чо мы прогуляем? Нам прогуливать нечего, у нас и так ничего нету.

Михаил действительно избегал встречаться с Фросей. Молодая девка, красивая, не пара. Мать-то ее, тетку Алевтину, Михаил знал давно, а с Фросей-то и познакомился по-настоящему на именинах у Зуйков в прошлом году. Она его вытянула танцевать. Он заметил, что она на него посматривает со своего конца стола, поддался, проводил до дому. Как-то встретила она его выпившего и сама прошлась с ним до моста, на виадук поднимались, стояли там. Рассказала про ребенка своего незаконного, Михаил же отмочил ей под пьяную руку, что вот, дескать, вроде того что два сапога пара, он вдовец, она мать-одиночка, а потом уже прятался от нее, помня и стыдясь этих слов. Он даже обнял ее тогда легонько, просто подержал в руках и отпустил. Какие уж тут игры, сын в шестом классе. На промысле он часто вспоминал о ней, так и сяк примеривал свою судьбу и ее, уверился, что расклад не тот, что никого он больше не сможет полюбить, как любил Пану, так что нечего девке и голову дурить, люди скажут, нашел себе малолетку попользоваться. Уж и так, бедная, попала в переплет, шагу не ступи, осудят, заедят.

2

Из магазина выходили и толкали их дверью. Знакомые здоровались любопытно. Михаил за себя не боялся, за нее. По шунгулешским обычаям, всегда женщина вино-

вата, а с мужчины спроса нет, разве колом в темноте вдоль хребта получишь, вот и вся мужская ответственность.

— Бобылем собираешься жить?

— Такая судьба!

— Запрягать тебя надо?

— Старый я для тебя, Фрося. Уж отойти и не мешать чужому счастью.

— Эко какое ты у меня счастье видишь?

— Будет! Будет еще, вон ты какая, проходу, наверное, нет.

— Вино пить не старый, а семью новую заводить — старый?

— Да кто пьет, кто пьет? У Петра Панфилыча гуляем, у Ухаловых, он и послал. Вон, видишь, сдачу несу с четвертной, ты смотри, видишь? Ну вот! Сам бы гулял, однако, со сдачей не пошел домой.

Михаил начал оправдываться насчет водки, и так толкнуло его в сердце старое, позабытое, мальчишеское, что у него и голос изменился. Ведь кто за водку ругает? Тот, кому не все равно, сопьешься ты или нет, кто право такое за собой чувствует. Мать ругала, Пана ругала, а больше никто не ругал. Некому было больше ругать.

— Замужем я не была, вот в чем дело. Не так, скажешь? — едва выговорила Фрося, какая уж тут игра! — Замужем не была, а ребенка завела. Думаешь, такая? Да?

Фрося крутанулась и заскочила в магазин, оставив Михаила на крыльце в полном смятении. Тут уж не шуры-муры, глубоко зацепила девка. Он было за ней хотел, да передумал, в магазине не поговоришь. Он сошел с крыльца, встал против магазина. Никуда не денется, весь день в магазине не просидит.

Весна кругом, снег идет весенний, на придавленный снег ложится, на мертвый, хрустит по живому-то. Уж точно, последние снега идут.

Во дворе магазина возчик заворачивал мерина, кулаком в рукавице толкал его в лопатку, задирал его желтозубую с сонно-усталыми глазами морду.

Улыбалась с крыльца жарко-румяная продавщица, жесткие курчавые волосы черные из-под серого пухового платка, блеск глаз, грудь под грязно-белым халатом высокая, концы платка в замерзших, пухлых красных руках. Возчик с деланно злобным ругательством завернул наконец мерина

в тесном дворе, намотал вожжи на оглоблю и пошел к крыльцу и улыбнулся чистыми светло-серыми глазами на любушку. Молодой снег хрустел под валенками, в смущении возчик переминался, не решаясь встать рядом с любушкой на крыльцо, чтобы пройти в темные магазинные сени, забитые ящиками; дышал горячо, парок вился над молодыми рыжими усами. Наслаждалась своей властью и она, да не смогла долее, повернулась и пошла, мелькая из-под халата капроновыми голяшками, скрылась в сенях, кинув по пути взгляд и на мерина и на Михаила, из тьмы сеней на возчика сверкнула глазами и улыбкой; и сбросил рукавицы с горячих рук на белый снег, и поднялся на крыльцо возчик холодный с лошадиным запахом, в сени...

Михаил даже подзадохнулся от увиденного, ясное море, ведь целовались эти-то!

А мерин поджал вислый зад, распустил деревеневшие мускулы, осел на правую заднюю, парил горячим крупом, клубочки пара пуская из влажных обындевевших ноздрей, куржаветь стал, касался при старчески печальных вздохах твердым протертым боком шлифованной оглобли, подвесил шею в жирной кошме хомута, опустил мослатую голову в ироническом нимбе верстово-полосатой дуги.

За кого она его считает?

Что можно против ребенка иметь?! А хоть трое! Прокормит. Ей же, дуре, не хочет поперек пути ставать. Гришата что скажет? Посмотрит, нахмурится? Вдруг не понравится ему? Мачеха ведь. Понять должен, отца пожалеть, сколь же маяться? Молодая только, возрастная была бы поприличнее. Жену, скажут, похоронил да за девками. Перед Паной неудобно.

Гришке мачеху привел, не сдержался, за-ради баловства. Даже пословица есть, не у мачехи рос, мол. Дескать, куском не попрекали. Ну, это раньше тоже. Не вернуть Пану-то, не вернуть, если бы за какие хребты, на край света, слово там волшебное, вода мертвая, живая. Мы-то здесь, а ее нету и не будет. Одному пропадать? Еще четыре-пять годочков, Гришка улетит, учиться будет. Смешные мечты, парняга, с сынишком на пару охотиться, уж, видно, в науку смотрит, раз математика, инженером будет, мосты строить, а ты же не потянесся за ним, нужен ты ему будешь.

Врешь, Михаил, на мальчишку, оправдываешься.

Фрося с кем-то разговаривала в магазине у окна. Набились там бабы. У Михаила в голове летели, цепляясь одна

за другую, мысли, размывали невидимые преграды, которыми он, как казалось, навсегда загородил себя от всех женщин, размывало и чувство вины перед памятью о жене.

Да ведь и ее жалко. Брошенка! Слово это извиняло и оправдывало. Пальтишко старенькое, валенки подшитые, совсем неславно. Мачеха! Какая это мачеха! Сердце-то у нее есть! Это уж видно, когда у человека сердце есть.

У нее девчонка, у меня Гришка. Вот, Гришата, сестренка тебе, не обижай. Да что о Гришке говорить, он ли обидит! Идти надо прямо к тетке Алевтине, так, мол, и так, не брошу, не обижу. Самостоятельный мужик, при деньгах человек, руки, ноги, голова при себе. Ну, староват, бывает больше разница, живут.

Фрося вышла не одна, с бабами. Дольше всех рядом с ней шла рукосуевская молодуха, заоглядывалась:

— Миша, что ли? Здравствуй, Миша!

— Здравствуй, Елена! — сказал Михаил сумрачно. Уж эта Ленка натрепется всем. Но Ленка не любопытничала, начала прощаться, да за угол, и нету ее.

Фрося тут и встала. Михаил подошел к ней вплотную и спросил:

— Набуровила три короба, а что к чему — не понять.

— Чего тут непонятного?

— Пойдешь если за меня — иди, но не попрекай, что старый там или водку пью. Ты меня знаешь, сколь я ее пью, кошкина норма. Ну, а детей делить не будем, все для них, понятно.

У Фроси улыбка сошла, глаза растерялись, смелость куда-то пропала. А Михаил говорил, говорил, размахивая руками, и остановиться ему было куда труднее, чем начать. Хмель прошел, папироса потухла.

Так они и шли дальше. Михаил говорил, а Фрося слушала и только вглядывалась в него. Возле цаплинского дома Михаил сказал:

— Иди, думай, с матерью посоветуйся, решай.

— Что ты меня уговариваешь; ты себя уговаривай. Я у мостика решила. Я тебе тогда сказала, а ты говоришь, мол, пара эти сапоги, да в разны стороны идут. А как встретимся, ты глаза прячешь. Соперницы боялась я, Миш!

— Чо я, по бабам хлещусь? Какие это могут быть соперницы?

— Гришу твоего я подглядела, показали мне, вон, мол, Мишин мальчишечка. Симпатичный, на тебя похожий, гла-

за общие. Я тебе слова не скажу,— заторопилась Фрося,— тебе знать, когда пить, когда не пить!

— Вот заладила! Говорю тебе, у Ухалова гуляют, а я вот им все вино несу, женился тут, можно сказать, пока вино несу! Ну, хочешь, слово дам, в рот не возьму больше!

— Ох, что мы говорим с тобой, Миша-а! — вдруг залилась краской Фрося. Она уже повесила сумку на калитку и теперь закрыла лицо розовыми варежками.— Ты иди, тебя ждут, наверное.

— Когда к теще являться?

— Приходи за мной вечером, погуляем, а, Миша?

— Не пожалеешь, что меня выбрала. Все, я сказал! Помни мои слова! — горячо прошептал Михаил, круто развернулся и большими шагами отправился на другой конец Нижнеталдинска, к Ухалову. Он хоть и протрезвел, а размахивал руками и разговаривал сам с собой как сильно выпивший.

3

Досидев у Ухалова до сумерек, Михаил к вину не притронулся, а только думал о том, что он скажет тетке Алевтине, как зайдет, как сядет, как скажет. Но вышло все не так, как он придумывал.

— Вот, мама, Миша Ельменев к нам пришел,— сказала Фрося,— я тебе говорила.

— Не помню, что ты мне говорила,— сказала Алевтина Сысоевна, выходя из маленькой комнаты.— Не помню. Да нынче родителев-то не особо слушают. Здравствуй-ка, Миша! Проходи вон в горницу. Собери на стол, Фросюшка.

— Да мы погулять хотели, мама,— громко засмеялась Фрося.

Алевтина Сысоевна поставила на стол водку. Михаил хотел сказать, что совсем больше не пьет, но потом решил, что будет несолидно, надо дождаться, когда нальют, и тогда. А когда налили, он выпил за общее здоровьичко, поставил рюмку на стол и, хрупнув огурчиком, вдруг сказал очень ловко:

— Отдавайте дочку, теть Алевтина!

— От те на,— засмеялась Алевтина Сысоевна,— кто же за женой потемну приходит? — Она еще продолжала посме-

иваться, как вдруг подмокли глаза.— Сызмальства тебя знаю, Миша, а не думала, что сыном назову!

Фрося ковыряла вилкой в тарелке и не поднимала лица.

В затянувшейся тишине медленно заплакал ребенок, Алевтина Сысоевна вскочила, хотела бежать, но Михаил поймал ее за руку и усадил за стол:

— Вы-то посидите, теть Алевтина, у ребенка мать есть, однако?

Фрося вспыхнула, убежала. Потом вышла из маленькой комнаты с ребенком, молча встала у двери. Михаил повернулся к ней, встал, подошел:

— Я так об детях думаю,— сказал, протягивая руки за девочкой. Говорил Михаил теперь веско, отчетисто, уверенно. Он и рюмку-то выпил, чтобы быть увереннее в своих трезвых мыслях.— Что если кто дите обидит — дак я ба с десяти шагов, с карабина. Без приговору!

Он разжал челюсти, опомнился, засмеялся, взял ребенка. Девочка смотрела на него сквозь прозрачные сонные слезинки и посапывала.

— Смотри-ка! Пошла, пошла к нему! Она чужих у нас боится! — воскликнула Алевтина Сысоевна и всплеснула руками.

А Михаил Ельменев приварил эти слова, победно улыбаясь:

— Дак кто же тут чужой? Одни свои!

Глава девятая

У ДАНИЛЫЧА

1

Дом у Ефима Данилыча Подземного не то чтобы большой, а утробистый, закоулистый, отгорожены комнаты и комнатки не достающими потолков заборками, пристроены сени и сенцы. Двор занят стайками и стаечками, да два амбара для хранения продукции. В амбарах сейчас бочки пустые, хомуты, упряжь, три тюка шерсти висят на крюках под крышами, скобяной хлам, сети старые, да веревок разных килограммов сто. Во дворе телеги, сани; лодка черным уже обтаявшим дном вверх. Двор окружен заплотом, огород плетнем, а от двора заборчиком, железной сеткой отделены

собаки от курей, свиньи от лошади, овечки от коровы с теленком.

С большого камня, с сопки за огородом, камень называется Дураков лоб, двор Данилыча своими налезающими одна на другую крышами напоминает семейство опят, только шапочки квадратные.

2

В доме тикают часы настенные и настольные, тишина, густой добрый запах основательной жизни. На диване и на двух стенках ковры, пол застелен чистыми половиками. На кухне порядок известный — печь русская, как паровоз в депо, шкаф резной с посудой; стол обширный, полки снизу доверху, глухой, задвинут в угол под два окна; одно окно на улицу хватает — под ним Данилычево место, другое во двор: и огород из него видать, и скот; за занавеской линялой, но всегда чистой,— умывальник ведерный, вроде церковного колокола, перевернутого с выпавшим языком, под ним таз цинковый двуручный на табуретке, под табуреткой ведро помойное; под печку лавка с четырьмя ведрами чистой воды под крышками. Ниже разбегаются чугуны, чугунки, корытца, ведра для скота, кастрюльки, миски, а уж совсем у порога, почти под вешалкой, как самый маленький солдат в строю — кошачья кормушка из консервной банки.

3

Раньше, в хорошие времена, Данилыч, если не считает по бумагам и счетам, если не читает какой-нибудь женский календарь с рецептами и выкройками, обязательно сидит на кухне, на своем месте у окна, слушает радио, что-нибудь жует или чай пьет в двенадцатый раз за день, разговаривает с Домной. Она уж всегда на кухне, сколько лет тому, как встала на пост у печки, и без выходных.

Сидит обычно Данилыч в белых шерстяных носках крючочной вязки, похлебывает чай. В спину солнышко пригревает. Пройдет кто по улице — Данилыч, покряхтывая, разворачивается на расшатанной табуретке, низко гнет голову в отодвинутую занавеску, вставляет в гераньки свою лысину и глядит на улицу, увенчанный венком из живых цветов; если же прохожий остановится, то окажется с Дани-

лычем лицом к лицу, целоваться можно. Постоит так озадаченный прохожий, поздоровается, получит ответ и дальше пойдет. Иной раз автоколонна пройдет с товаром на Дальний Север, иной раз тягачи провезут фермы высоковольтной передачи или экскаваторный ковш с дом величиной, чаще всех лесовозы, разваливаясь уже, кажется, прямо на глазах, протянут свежие хлысты; вездеходы пронесутся обрезентованные — ракетные! — нас не обманешь, да мы и не скажем; танки прогремят, разбрасывая куски асфальта и камни,— эх, мать честная! — от танков тоже дрогнет сердце Данилыча молодостью, удалью, вспомнятся ученья в Забайкалье, где четыре года ждал японцев, но, слава богу, не дождался, домой вернулся.

На востоке далеко бывал Данилыч, на запад же — шагу не сделал. Дальше Шунгулеша нога Данилыча в эту сторону не ступила ни разу, никогда его не тянуло.

Вразнобой, неустанно считают часы время, непрерывно текущее в запашистом норном покое дома, а часы не электросчетчик, жучка не поставишь, ход не замедлишь иголкой, часы не контролер из Электроэнерго, не обманешь, с проводов времени безмерного неучтенного крючками не украдешь.

Отчего бы часы так настойчиво стучали?

От болезни.

Болеет Данилыч в спальне, спит теперь один, бессонными ночами жена мешает, давит, да и ей выспаться надо.

Иногда, если получше, Данилыч встает и убредает на кухню, но там ему не сидится на любимом месте, то кажется — дует в спину, то ноги некуда девать. Всю жизнь просидел с поджатыми ногами, терпел, не мешал ему стол, а теперь мешает. А слышал ли он раньше, как пахнет в избе стиркой, упревающими целый день помоями, замечал ли корыто с болтушкой для свиней? Не замечал, перешагивал, не слышал. Теперь вот все слышит, и очень ему это, бывшее прежде родным и незаметным, мешает. Даже потолки давят его в доме, вроде сближаются они с полами, и дышать уже не дают. Весь-то ему дом подземновский тяжелый. От болезни это, здоровому ничего не заметно, кроме радости!

Если уж в своем гнезде соскучал человек — плохо дело, паря!

Изо дня в день хуже Данилычу, в областной больнице не смогли помочь, и, казалось бы, после этого нет уже на земле ничего, за что зацепиться человеку на краю пропасти, уж вроде все покатилось и понеслось, только махнуть ру-

кой — а, пропадай все пропадом, гори синим пламенем, только бы скорее!

Но только — чу!

Проскрипели быстрые крепкие ноги под окном, громыхнули щеколды-задвижки, заныли обледенелые ступени, в сенях грохнула тесовая дверь, избяная, на войлоках, мягко и грузно толкнулась — Костик пришел!

Лампа на кухне зажглась, по потолкам полосы света разбежались. Заслонку из печи вынул, ужинать садится. Домаха поднялась, пошла сквозь сон в кухню сказать, что пирожки на сковородке, как бы дите не забыло, да понюхать заоднем, нет ли запаху от дитя, не выпивши ли.

— Ложись, мама, я сам. Отец-то как? — шепотком.

— Да он же не жалуется. Ох-хо-хошеньки. Ешь да ложися. Бегаш ково-то, бегаш! Женись-ка вот лучше, и вся недолга, кобелюешь, поди, девкам головы крутишь.

— Ложись, мама.

Если Данилыч поворочается в знак того, что не спит, Костя подойдет спросит:

— Ну чо, батя, как дела?

— Ничо, сынок, — ответит Данилыч.

А лягут все, затихнут — тут и главная мука мученическая, между здравыми мыслями, страхом, и ужасом, снами, болью, дремотой, обрывками воспоминаний и точным чувством близкого будущего, неотвратимого и неизбежного.

Глава десятая

РЕВИЗИЯ

Весна в Задуваевой.

Солнце греет и сушит бревна домов, обветренные пористые плахи заплотов, от дерева струится легкий теплый пар, снег стал серым, зернистым, шилистым от заструг.

Прошел слух, что шеленковские внуки загнали двух сохатых возле самого Задуваева, а мясо вытащили на тракт и продали, так что испектору Фатееву бесполезно идти и искать, и он же с шеленковскими внуками встречается и разговаривает как ни в чем не бывало, будто никаких лосей не было. Те посмеиваются, хулиганистые ребята. Инспектор же сказал им пословицу: повадился, дескать, кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. А что сделаешь, слово к делу не пришьешь.

Костя Подземный принял магазин.

Пришел к отцу в комнату, сел.

— Ну, вот и ладно. Добрый путь, как говорится.— Данилычу хотелось открыть сыну какую-то тайну, которую он в себе чувствовал, которую можно познать, только проживши трудную, некрасивую, полную опасностей жизнь деревенского торгового работника, хотелось оградить сына, чтобы он выслушал бы завет, да так бы и шел дальше — молодой и кудрявый, чтобы не гнули его заботы, чтобы не было у него страха.

Но вместо того чтобы сказать эту тайну, Данилыч усмехнулся:

— Усушка, утруска, бой, мышье яденье...

Радио гремело на тонкой заборке в кухне. Арию Бориса Годунова исполнял по-русски иностранный певец. «Достиг я высшей власти!» — лился великолепным мягким черным бархатом слегка подрезанный диапазоном репродуктора лучший бас мира.

Царства бывают разные. Годунов оставлял большое, Данилыч маленькое. Купчишку Годунова судьба выбросила на берег Москвы-реки, Ефима Подземного — на шунгулешские дикие берега, но и тот и другой трепетали страстью, и тот и другой страшились за сыновей-наследников. Может, кто-то посмеялся, дав вместо царства участок Данилычу в шунгулешской тайге? Ну, а человеку особенно смеяться не приходится, цена страстям не в цене объекта. У Данилыча только подотчет меньше, чем у Годунова.

— Документы-то покажи,— сказал Данилыч. Он еще раз заметил, как изменился, ослаб и запал у него голос.— Ведомости, квитанции.

Костя усмехнулся покровительственно, но послушно встал, принес портфельчик. Данилыч потянулся за очками, заложил их подрагивающие дужки за уши, в провалившиеся ямки за ушами ушли крючочки.

— Почитаю, почитаю, чем сын володеет.

— Зарплатой сын володеет, а это, батя, государственное.

— В твои годы доверили. Я в твои годы о заведовании не мечтал, к складам бы подпустили. Ну, подотчеты-то у меня побольше случались. Вот когда у меня два участка-то зараз было. Это когда же? Лет двадцать тому? Чуть не с полрайона пушнину принимали. Пистолет мне выдали, ка-

рабин, понятно, заряженный. Сяду это в кошевку — ну, думаю, набегут ребяты, ограбят. Мешок с деньгами, два тюка соболей — купец!

Сверху была приколота квитанция на получение с Задуваевского отделения выручки в количестве 2 022 рубля, красивая синица под номером 757.2215 ЖЯ. Данилыч вдумчиво и неотрывно прочитал квитанцию, начиная с бланковых надписей:

— Государственный Банк Союза ССР... Гляну, гляну документы. Молода детина, а меня на отчетности не проведешь. Инвентаризационная ведомость на семнадцатое марта...

— Дак ты все читать будешь? Я лучше спать лягу,— усмехнулся Костя.

— Ну-ка, мать, пошла черта имать! Домаха! Покорми директора магазина! — тихонько покричал Данилыч.

Домна стояла тут же в дверях, прислонившись к косяку, мяла в руках занавеску и с жалостью смотрела на исхудалого старика в постели. Ушла Домна на кухню, ушел и Костя, а Данилыч, позапыхиваясь, но вдохновенно продолжал читать вслух.

Не понимал, конечно, Костя, не знавший в жизни горя, тревог и страху, выросший в тепле отцовских воскрылий, на пуху материнской нежности, значения тех бумаг с сухим перечнем товаров, которые он скрепил подписью материально ответственного лица. Данилыч же глубоким взглядом видел в них контур того магнита, к которому с постоянной неубывающей энергией устремляются силовые линии каждого рубля, добытого тяжелым трудом в прилежащих к Задуваевой шунгулешских тайгах.

Легко было сыну посмеяться над отцом.

— Денег семьсот шестьдесят восемь. Товаров одна тысяча шестьсот сорок три. Коп. сорок восемь. Тара — сто семь. Коп. девяносто. Подпись материально ответственного лица: Подземный! Не разберешь сразу-то. Директорская подпись, урожденная, сложная.

Ведомость была разбита по графам: номер, наименование товара, артикул, единицы измерения, количество, цена и сумма. Так и читал Данилыч по всей строке, а не по одним наименованиям, как скользнул бы чужой взгляд. Каждая страница имела штамп с номером товара, которым открывалась, и номером товара, которым закончена, и стояли подписи членов комиссии. На каждой странице выводился итог — подбитая сумма.

Поэма ведомости звучала так:
№ 1. Полотно штапельное 4212 м 10,2 1—95 19—89.
№ 2. Тик матрасовочный 328 м 16 1—33 21—28.

Таков был ритм и размер стиха, ассоциировавшийся в восприятии с тенями, цветом, запахом магазина, шелестящим звуком разрываемого тика матрасовочного, сухим кастаньетным стуком и танцем косточек на блестящих нотных прутьях счетов. Сюжет поэмы пересказывался следующими словами:

Полотно штапельное, вольта, тик матрасовочный, полотно штапельное, гардинное полотно, фланель, клеенка, подвязочная резина, лента атласная, костюм детский суконный, брюки детские разм. 38, куртка рабочая х/б, брюки рабочие разм. 48, шапка-ушанка, платок штапельный, косынка штапельная, скатерть разм. 135 на 135, сорочка мужская, нитки «Конь», карандаш «Пионер», щетка одежная, иглы швейные. Итого 278 руб. 94 коп.

Иглы машинные, футляр к зубной щетке, бритва «Весна», бритва «Труд», кисть для бритья, нитки экстра, часы будильник, зеркало настольное, нитки мулине, чернильница ученическая, сумка с инструментом велосипедным, порошок чернильный, вешалка одежная, блокнот для рисования, стакан граненый, гребень частый, расческа мужская, сумка хозяйственная (дермат.), сумка дамская, сапоги резиновые разм. 33, ботинки детские разм. 19. Итого 78 руб. 43 коп.

Чувяки женские, ведро оцинкованное, папиросы «Звезда», сигареты махорочные, чулки детские, носки мужские разм. 27, детские разм. 22, чулки женские разм. 25, спички зажигат., сапоги кирзовые, мальчиковые, мужские, махорка курительная, утятница, омуль в томатном соусе, варенье яблочное, ножницы портновские, перец красный, шнурки ботиночные, компот абрикосовый, слива, ложка чайная, лампа кер. настольная. Итого 321 руб. 97 коп.

Лампа настольная, бидон алюминиевый, нож столовый, чай грузинский 1 с., тарелка глуб. фарфоровая, сепаратор «Урал», канистры 10 шт., топор-молоток, напильник трехгранный, замок висячий, без ключей, коса литовка, лопата совковая, мыло банное, топор плотницкий, вино «Мадрасель», валенки детские черн., платок головной п/ш, ботинки мужские, телогрейка, матрас ватный, деготь чистый. Итого 298 руб. 52 коп.

Мыло хозяйственное, вино «Нежинская рябина», водка особая моск., простая 40 гр., килька в томатном соусе, свиная тушенка, бочки оцинкованные, пуговицы для костюма,

бельевые, разные, ванна оцинкованная, соль рас., печенье «шахматное», сахар. песок, раф. пил. сахар-рафинад, карамель фр.-яг. смесь, колосники, дверки поддувальные, подтопочные, плита чугунная, винпосуда 0,5 0,25. Итого 644 руб. 73 коп.

Наименований 116. Общая сумма 1496 руб. 06 коп. Одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей шесть копеек.

Подписи:

Зотошин
Липунин
Подземный.

Пока Данилыч читал ведомость, в комнату незаметно вернулся Костя, а у двери опять встала Домна. Данилыч замолчал, с трудом переводя дыхание; если бы он умер во время чтения, то, должно быть, попал бы в рай, как умерший во время молитвы верующий, но подходящего магазина в раю, наверное, не нашлось бы для Данилыча, ибо не торгуют там и не покупают.

— Все правильно,— сказал Костя.

— Всяко бывает, я тебе скажу,— отдышался Данилыч.— Принимал я ларек, помнишь, мать, когда деньги менялись? Ну вот, приколки женские были с пластмассовой головкой. Штука старыми двадцать копеек, ну, копейки и перенесли копейками, получилось «пачка — два рубля»! В десятикратном размере. Мне так сдали, не заметил, я так принял, так и торгую. Бабы сердются, а я торгую. Документ не опровергнешь, ходи потом, разбирайся, чья правда. А в Ямах, помнишь? Завезли мне тысячу пар калош! По копейке ли, по две ли, кажись, продавал. Учитель стал имя печку топить. Самые большие номера повыбрал, хитрец, сорок шестые, пятые, до сорок первого, да и перестал покупать. А больше никто не покупал, так и уехал он от нас, а калоши остались. Дымоходы забивает сажей, не разбежишься особенно топить. Ну, ему-то что, на квартире жил.

Костя засмеялся.

— Ты не смейся, люди к тебе придут с трудовой копейкой, а ты должен имя товар предоставить. Знаешь, сколь силы в рубле? Так вот! А в документе все отражается, глянешь и видишь, все отчего куда тянет, ведь живое все! Масло у тебя подсолнечное есть? Нету! Да и бочек под него одна, тебе одну и сменят, а бабы подсолнечное масло требуют. А помнишь, мать, как у меня ящик печенья висел на ревизии?

— Пустой-то?

— Но! Ящик целый: печать цела, уголки целы, по документу там печенье, а фактически его мыши съели. Ничего не знаю, ящик не открывал, печенье не торговал. Так и пиши! Так и написал ревизор. Или соль на дворе у меня, семь тонн насыпью. А дож к тому времени прошел. Ревизор посмотрел — сколь у тебя соли тут? А вот, смотри в документ, семь тонн. Так ведь дож прошел — значит, размыло, несоленая она теперь! Соль-то, может, и размыло, а документ не размыло! Документ, он в столе лежал. Написано пером, как говорится, не вырубишь топором. Так и пиши мне, что у меня семь тонн на балансе. Так и записал.

— Эх, батя, все-то как ты говоришь, усушка, утруска, бой, мышье яденье!

— Опять смеешься? Отец жизнь прожил!

— Да нет, ну что ты, батя! Ты же знаешь, я тебя уважаю. Да и у нас эта статья действует.Ты вот выздоравливай скорее, однако залеживасся!

— Но-о! Это другой разговор, милые вы мои, другой, миленькие! — Данилыч посмотрел на жену и сына ясным взором и улыбнулся.— За таким сыном не пропадешь, Домаха! А я уж, видно, с полой водой...

Так оно и вышло, только до полой воды не дотянул Данилыч, не удалась ему маленькая хитрость, и хоронили его с последними весенними снегами в мерзлую землю. Хотя она и летом мерзлая, сибирская-то земля, немного сверху теплой, для жизни всего на ней сущего, а чуть ниже — там уже мерзлота, вечная.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Андрей Васильевич Скалон

РОВНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ НА ТОМ БЕРЕГУ

М., «Советский писатель», 1983, 360 стр.
План выпуска 1983 г. № 145

Редактор *О. С. Ляуэр*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *И. М. Минская*

Корректоры *С. Б. Блауштейн* и *Г. И. Ольвовская*

ИБ № 3684

Сдано в набор 30.11.82. Подписано к печати 20.04.83. А 04072. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,90. Уч.-изд. л. 19,68. Тираж 100 000 экз. Заказ № 918. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109



1 р. 30 к.


АНДРЕЙ СКАЛОН